РУССКИЙ СЕВЕР

КРАСОТА КРАЯ В РАССКАЗАХ ПИСАТЕЛЕЙ



- История и современность
- Невероятная природа
- Северный быт и нравы
- Лица и характеры

Русский Север. Красота края в рассказах писателей

Александр Грин, Александр Энгельмейер, В. Немирович-Данченко, Константин Случевский, Михаил Пришвин, Павел Кренёв, Юрий Казаков

Аннотация
П.Г. Кренев. Русский Север. Красота края в рассказах писателей
Родной наш Север
Василий Немирович-Данченко. Беломорье и Соловки
Вместо предисловия. Соловецкое подворье
Пароход «Вера»
Море
Острова
Монастырь. Гостиница. Святое озеро
Каналы, леса и дороги
Поездка на Секирную гору. Савватьевская пустынь. Секирный скит. Еще рассказ об осаде. Вид с высоты. У строителя в келье
Поездка в Макарьевскую пустынь

Анзеры
Последние часы в монастыре
В каюте, на палубе и дома
Константин Случевский. По Северо-Западу России. Глава из книги
Соловецкий монастырь
Александр Энгельмейер. По русскому и скандинавскому северу. Путевые воспоминания
По России. Вступление
От Вологды до Архангельска
Архангельск
Соловецкие острова
От Архангельска до Варде
Михаил Пришвин. За волшебным колобком
Предисловие автора
Лес
Красные Горы
Море
У Марьи Моревны
По обещанию
По морю на лодке к Святым островам
Солнечные ночи
Кандалакша
Река Нива и озеро Имандра
По Имандре
Олений остров

Анархическая колония. Северный орех
Александр Грин
Река. Рассказ
I
II
III
Медвежья охота
I
II
III
IV
Юрий Казаков. Северный дневник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Павел Кренев. Беляк и Пятнышко. Повесть
Иллюстрации

Аннотация

Русский Север испокон веков вдохновлял писателей. И не случайно: необъятные просторы, омываемые северными морями, чистые озера, синие реки, величественные леса, полные грибов и ягод, птиц и зверей, не оставляли равнодушными никого. Русский Север воистину представляет целую гамму совершенной живописности и неописуемой гармонии. Будучи пытливыми исследователями Русского Севера, писатели понимали: об этом крае нужно рассказывать, полюбив его всей душой, чтобы все знали и помнили: Север – бесценное достояние нашей страны, в котором за тысячелетия накоплены гигантские богатства, и материальные, и духовные. На страницах этой книги мы встретимся с исконным Русским Севером. Покажем его через воспоминания «русского Дюма» Василия Немировича-Данченко, путевые заметки Александра Энгельмейера, повесть одного из самых ярких знатоков края Михаила Пришвина, рассказы Александра Грина, очерки Константина Случевского,

произведения Юрия Казакова и нашего современника Павла Кренева.</p>



П.Г. Кренев
Русский Север. Красота края в рассказах писателей

© М.М. Пришвин, наследники, 2024
© Ю.П. Казаков, 2024
© П.Г. Кренев, составление, предисловие, текст, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024

Родной наш Север

Не передать то ощущение безграничности пространства, которое возникает при прочтении классиков, пишущих о Русском Севере. Бесконечные просторы, омываемые с «полуночной стороны» гигантскими, дышащими прохладой водами под названием Северный Ледовитый океан, его заливами, в народе именуемыми северными морями… Голубые пятна озер, синие ленты рек, несущих плавные воды. Огромные массивы леса, полные грибов и ягод, птиц и зверей…

Это мои родные места! Мой отчий край, Родина! Беломорский берег, река Белая, моя деревня… Здесь я во вполне «зрелом» пятилетнем возрасте самостоятельно выудил первого своего ерша размером в полтора спичечных коробка и с превеликой гордостью принес домой. А там как раз готовилась уха из свежих, только что пойманных отцом морских рыб — трески, наваги, камбалы… Отец забрал у меня ерша и в присутствии семьи с торжественным видом погрузил его в суп… Потом, когда уху ела вся семья, меня неимоверно нахваливали:

— Только поглядите, ушка-та ершиком отдават! Всех рыбин перебиват ершишше твой! — говорили мне и папа, и мама, и бабушка Агафья, и даже старшая сестра Лида, всегда ехидная, когда речь заходила обо мне, тоже со всеми соглашалась. — Вот уж уважил ты народ, Павлушко!

Много было у меня радости с тем замечательным ершом, потому как я верил всем восторгам. Наивный был человек. Так нас воспитывали.

Книга перед вами — сборник произведений русских классиков о северных краях и их народе, печатающийся в сокращении. Она раскрывает местную природу в ее естественной красоте, показывая живые картины северной русской провинции.

Авторы сборника — известные отечественные писатели XIX–XX веков. Все они, будучи пытливыми и старательными исследователями Русского Севера, хорошо понимали: об этом крае нужно писать так, чтобы все знали и помнили, что Север — это огромное, бесценное достояние нашей страны, в котором за тысячелетия накоплены гигантские богатства, и материальные, и духовные.

Предшествовавшие нам радетели-патриоты неустанно продвигали и доносили до нас основ-

ной завет: в грядущих войнах победит тот, кто будет лучше всех оснащен, обучен и подготовлен, чтобы сражаться за Родину. И российский Север бережно сохранил для нас сокровенные запасы, чтобы в предстоящих боях мы не ударили в грязь лицом и победили!

Каждый автор этого сборника предлагает свой уникальный взгляд на родные края. Очень непохожи они друг на друга: из разных эпох, с разным социальным статусом и, порой, противоположными взглядами на окружающую действительность. По-разному сложились их судьбы… При этом характерно и даже удивительно: все они патриоты России, ее дети, желающие ей процветания, посвятившие творчество родному Северу, воспевшие и прославившие его. И это естественно, ведь писать об этих краях невозможно, если ты не полюбил их всей душой, если сердце твое не исстрадалось по разрушенным судьбам людей, изгнанных с теплых обжитых углов и загнанных в места таежные, промерзшие, проклятые только лишь потому, что люди эти остались верны своим идеалам, вере и любви. Много кануло в безвестность людей, не изменивших самим себе. Однако Север впитал в себя и сохранил все имена и все изломы последних

окаянных веков. Все они в его крепкой памяти.

Один из авторов сборника — полузабытый, в свое время яркий прозаик**Василий Иванович Немирович-Данченко** (1844–1936), написавший более 200 книг. Старший брат одного из создателей Московского Художественного театра Владимира Немировича-Данченко. За блестящий писательский талант прозаика, Василия Ивановича называли «Русским Дюма». Страстный путешественник, он множество раз бывал на Севере России. Его отличает глубина взгляда, что хорошо заметно в воспоминаниях «Беломорье и Соловки». Писатель с удивительной точностью, бережно, в трогательных деталях описывает природу Белого моря и его берегов, образы поморов, глубинную жизнь Соловецкого монастыря, судьбы монахов.

Для меня, например, ценны повествования о жизни в монастыре поморских мальчишек, отправленных с беломорских побережий для работы в нем «по обету». В раннем детстве дважды сталкивался я и разговаривал с односельчанами-стариками, которых в юности отправляли в монастырь на работы для погашения долга перед Соловецкой обителью.

Все писатели, побывавшие на Соловках, с

разными эмоциями, но в целом восторженно вспоминают сцены купания в Святом озере, что находится у подножия монастырской крепостной стены. Я тоже испытал холод этого водоема и могу по своему опыту сказать: купаться в нем больше двух минут невозможно, но очень уж радостно. Теперь жду новой оказии, чтобы окунуться еще раз в прозрачные, ледяные, но святые воды Соловецкой обители.

Прекрасное впечатление оставляют воспоминания другого блестящего литератора — путешественника**Александра Клементьевича Энгельмейера** (1854–1919). Этот молодой, богатый рязанский помещик и ученый в 1898–1899 годах совершил путешествие по Северу России, после чего написал об этом книгу «По русскому и скандинавскому Северу». Изложенные прекрасным литературным языком путевые заметки, дают полную картину мест пребывания автора, портретов собеседников, пейзажей, характеров, бесед с окружающими людьми… Мы становимся соучастниками происходящих событий и как бы попадаем в ту, давно ушедшую реальность. Это придает своеобразный шарм воспоминаниям Энгельмейера, а представленные им точные ретрографические образы Архангельска, его при-

городов, Мудьюга, Колы и многих других мест, будят ностальгические воспоминания.

Правда, есть в рассказах Энгельмейера особенности, не вполне, на мой взгляд, симпатичные: его воспоминания подаются как бы свысока, с позиции молодого барина, несколько надменно озирающего картины северной русской природы и быта.

Это удивительно, но и**Александра Степановича Грина** (настоящая фамилия Гриневский; 1880–1932), поляка по национальности, также в некоторой степени можно отнести к северянам. Ведь около двух лет он провел на Севере в политической ссылке (1910–1912) и не раз вспоминал проведенное там время. Существуют обоснованные предположения, что некоторые сюжеты, включенные в канву его произведений, взяты из реальной жизни архангельских поморов, которые он наблюдал в селении Пинега, в деревне Кегостров и в Архангельске — в местах, где Александр Степанович вынужденно пребывал.

В наш сборник вошли два его рассказа «Медвежья охота» и «Река», повествование которых исполнено добротным, образным языком. В первом произведении приведено много свидетельств того, что Грин, пребывая на Севере, в

деталях изучил особенности русской охоты на медведей. Однако в рассказе главное внимание уделяется вспыхнувшей любви главного героя к молодой русской женщине, что также подано с определенной долей интриги. А второй рассказ посвящен несчастному случаю, происшедшему на воде и обстоятельствам вокруг этого.

Меня, как литератора, много читавшего Александра Грина, не перестает занимать его последовательное стремление не давать в своих произведениях расширенную и понятную для читателей их концовку. Это как бы отдается на читательский откуп: мол, понимайте как хотите, что я хотел этим сказать. Не уверен, что такой подход правильный. Хотя не стоит, наверное, полемизировать с классиком, ведь на то он и классик, чтобы писать, как считает нужным!

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954), вероятно, один самых ярких знатоков северной природы, особенностей края, образа жизни населения, флоры и фауны. По берегам северных морей им исхожены тысячи километров. Впечатления писателя об этих походах во многом изложены в замечательной повести «За волшебным колобком». Это писательский отчет о походах по поморским местам, и встречах с местными. Для

меня они дороги тем, что Пришвин жил на берегу Белого моря в доме моих предков, в «зажиточном поморском доме» Поздеевых. И там же решал вопросы справедливого дележа семужьих тонь между двумя деревнями — Лопшеньгой (моя деревня) и Дураковым (соседняя). Эту историю я хорошо знал с раннего детства. Она от том, как случайно пришедшего в Лопшеньгу писателя Пришвина приняли за депутата Государственной Думы, а он не смел признаться, что это не так, и был вынужден «делить деревенское имущество с монастырским» от имени государства.

Константин Константинович Случевский (псевдоним Серафим Неженатый; 1837–1904). Этот человек внешне напоминает аристократа высшей пробы. Немудрено: закончил кадетский корпус, академию Генерального штаба, входил в царскую свиту…

Написанная им серия очерков «По Северу России» — результат поездок в свите брата царя — великого князя Владимира Александровича в 1884–1885 годах по северным и северо-западным губерниям России. Стоит отметить глубочайшую скрупулезность и дотошность, с которой Случевский изучал инспектируемые районы, как тщательно и старательно подходил к описанию

всего полезного, что могло бы впоследствии послужить добрую службу царской короне, как старался он ничего не пропустить в работе государевых лиц и в крестьянском труде. Между тем он был одним из лучших российских поэтов и прозаиков… В его заметках столько полезного, что я советовал бы современным государственным мужам заняться изучением наследия этого замечательного российского деятеля, патриота и писателя.

Еще один замечательный автор сборника**Юрий Павлович Казаков** (1927–1982) — был и остается одним из лучших наших прозаиков, который постоянно, каждый год, выезжал к своим друзьям-поморам и всякий раз останавливался на краю нашей Лопшеньги, в доме Василия и Миропии Репиных. Много общался с моими земляками, что-то всегда записывал… Со мной он не разговаривал, потому как я был тогда еще мал, учился в Ленинградском суворовском училище, да я и не знал, и не понимал тогда, кто такой Юрий Павлович Казаков… Эх, сейчас бы те года… Уж я бы с ним нашел общие темы. Рассказал бы, с каким успехом провели мы с администрацией Приморского района и сотрудниками администрации Архангельской области в Лопшеньге

два литературно-музыкальных фестиваля его имени…

А вообще была у меня с ним встреча, только я не понял тогда, что разговаривал со знаменитым писателем. Тогда я учился и, находясь на каникулах в родной деревне (лето 1967-го), солнечным утром пошел на работу к отцу, который руководил местным рыбным заводом. На впадении в море Каменского ручья встретил я крупного мужчину, который что-то варил на костре в котелке и улыбался мне. Я поздоровался с ним. Вообще, это в деревне принято: здороваться со всеми, даже с незнакомыми людьми.

— Вкусная у вас картошечка, — сказал мне незнакомый человек.

Вот и весь разговор. А отец мой сказал мне: это какой-то писатель по фамилии Казаков, регулярно приезжающий в нашу деревню. Он дружит с рыбаками и регулярно выпивает с ними «чарочку».

— Хороший мужик, говорят, — сообщил он мне, — очень любит картошку в морской воде варить да потреблять.

Ну кто не любит такую картошечку? Все любят, и я сам с удовольствием кушаю ее. Вкусная она, соли сыпать не надо… А сейчас почитайте его

«Северный дневник» в нашем сборнике. Думаю, всем нам будет полезно с ним познакомиться поближе.

…Тысячи лет незыблемо стоит на крайних рубежах нашей страны прославленный, седой Север-батюшка, помогает России, чем может. Однако и ему нужна наша поддержка. Мы привели лишь немногие свидетельства того, как передовая российская интеллигенция заботливо подставляла плечо великому другу Северу, стремилась своевременно изучать вопросы, перед ним стоящие, и умело отвечать на них. Теперь, в новых условиях, неминуемо вырастают все новые и новые заботы, требующие постоянного вмешательства лучших наших современников. Этим сборником мы вносим свой посильный вклад в благородное дело развития северных регионов. Давайте вместе продолжать его на благо Родины!

Павел Кренев

Василий Немирович-Данченко. Беломорье и Соловки

Вместо предисловия. Соловецкое подворье

Наступал июль месяц. Море в этот период было особенно тихо и покойно. Нам пророчили самую благополучную поездку в Соловки. Судя по рассказам, в июле не бывает ни качек, ни бурь. Белое море гладко, как зеркало…

Прежде посещения монастыря мы хотели ознакомиться с его подворьями. Таких в Архангельске два; одно, большое, находится на набережной реки Двины, у самого Гостиного двора. Оно выстроено в два корпуса, двумя этажами на улицу и тремя во двор. Повсюду тут виден хозяйский расчет. Нижний этаж занят лавками и кладовыми, которых до 100. В них сложены грузы железа, керосина и пр. предметы. Каждая лавка сдается по найму на год от 50 и до 100 рублей. В конце здания — в том же нижнем этаже — помещается и часовня Соловецкого монастыря, весьма непредставительная, но доставляющая обители кружечного сбору ежегодно более 3000 рублей. При нашем входе перед нами поднялся высокий худощавый монах, на попечение которого

возложена исключительно часовня. Это истощенное, бледное, аскетическое лицо поразило нас своим контрастом с только что оставленным шумным потоком жизни людного рынка. Там все говорило о настоящем дне, здесь все обнаруживало искание града грядущего и отрицание града, здесь пребывающего. От этих старинных сумрачных икон, от этой тяжелой сводчатой комнаты веяло невыносимою, тоскливою борьбою живой человеческой души со всеми ее земными радостями и привязанностями; лица образов сурово смотрели из-за золоченых рам своих, и только кроткий, улыбающийся лик Богоматери, с Божественным Младенцем на руках, навевал чудное спокойствие на верующее сердце. А во взгляде этого ребенка и теперь уже светился тихий, ласковый, умиляющий призыв: «Приидите сюда, вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы». Низко склонились всклоченные головы крестьян-богомольцев…

О, ты — горний, грядущий Иерусалим! Не одно нестрадавшее, облитое кровью сердце бьется великою верою в твое пришествие. Не один грустный взгляд измученного устремляется в синюю, бездонную высь, следит за серебристо-белыми ее облаками, словно испытуя, где сверкают стены

этого града, где сияют купола его, где зыблются и шепчут, зеленеют и цветут благоуханные сады Эдема…

Мы вошли во двор подворья. Весь второй этаж четырехугольника занят квартирами, отдающимися внаем от 200 р. в год и выше. Как нам говорили — это одни из лучших квартир в городе. Высокие, большие комнаты, светлые окна, чистые входы — хоть бы и в столицу. На дворе разбрелись богомольцы самых разнообразных типов. Вот высокий, угловатый вятчанин-хлебопашец, вот причмокивающий красивый шенкурец, тут целая толпа пермяков, а там олончане, словно чему-то удивляющиеся, чего-то непонимающие. Между ними сновали бабы, растерянные, суетливые…

Тут в первый раз мне кинулось в глаза различие между монахами Троицко-Сергиевской лавры и Соловецкого монастыря. Когда я ездил в первую, меня в подворье встретил монах в рясе лионского бархата, с золотою часовою цепочкой на груди и кольцами на руках. Тут же все попадавшиеся навстречу монахи носили толстого черного сукна рясы и грубые крестьянские сапоги…

— Можно осмотреть, где помещаются богомольцы?

— А, пожалуйте, вот по той лесенке!

Мы поднялись — и вошли. Большие, выбеленные комнаты, с нарами посередине. Все чисто. Воздух свеж, вентиляция устроена хорошо. Кучка богомольцев галдела о каких-то пошехонских старушках, делающих чудеса на Иванов день. В углу слепой пел песню об Алексии — Божием человеке. Гнусливый, носовой напев смешивался с густым храпом спавшего на нарах судорабочего. В другой комнате — были женщины. Тут, как и следовало ожидать, стоял гвалт неописанный…

— Много ль у вас богомольцев скопляется одновременно? — спросил я, уже выйдя из подворья, у подвернувшегося мне монаха.

— Человек по 900 бывает!

— И все крестьяне?

— Крестьяне!

— Из каких больше губерний?

— Вятской, Пермской, Олонецкой, Вологодской, Новгородской, да почти со всей России идут сюда. Как начнется судоходство, народ и валит. Теперь еще поотошло. Все же в год тысяч двадцать пять перебывает, до тридцати доходит… Вы тоже к нам?

— Да.

— Поезжайте; есть где поместиться. У нас места

святые! Афон Русский — наши Соловки!

Итак, в Русский Афон!

Пароход «Вера»

Мы отправились из Архангельска в Соловки летом 1872 года на монастырском пароходе «Вера». Солнце в городе пекло немилосердно. Все обещало спокойное плавание. На небе ни облачка, флаги на мачтах судов неподвижно повисли. Двина была зеркальная. Ни малейшей ряби…

Первые полчаса мы знакомились с пароходом.

Тут все поражало нас удивлением. Командир парохода, рулевой, машинист, матросы — весь экипаж его состоял из монахов. Странно было видеть моряков в клобуках, точно и быстро исполнявших распоряжения своего капитана — небольшого, худощавого инока, зорко оглядывавшего окрестности. Не слышно было приказаний вовсе. Движения его руки определяли каждый шаг корабля, превосходно выполнявшего эту безмолвную команду. Высоко, на главной мачте парохода, сверкал ярким, режущим глаза блеском вызолоченный крест вместо флага. Вот на него опустилась, словно серебряная, чайка и, отдохнув с распростертыми крыльями одно мгновенье, она ринулась в недосягаемую высоту так быстро, что у нас невольно захватывало дыхание, когда мы

следили за ее полетом. Резкий, словно плачущий, крик ее донесся оттуда.

Палуба была вся загромождена богомольцами.

Всех пассажиров пароход вез около 450 человек.

Это — прекрасное винтовое судно, купленное монастырем за бесценок и крестьянами-монахами переделанное для Белого моря. Легкий на ходу, быстрый пароход «Вера» совершенно приспособлен к этим капризным и опасным водам.

Мы втроем присели у самого края кормы на круге свернутого каната и невольно загляделись на широко расстилающуюся позади даль, окаймлявшую зеленовато-серый простор Двинского лимана.

Направо и налево даль ограничивалась низменными, пустынными, зелеными берегами. Только изредка убогое село сползало к самой реке. Кое-где, словно в воздухе, висели белые колоколенки и купола деревенских церквей.

Порою из однообразной массы лесных вершин, едва-едва заметных в отдалении, виднелись туманные линии еще более далеких рощ, точно окутанных голубым флером. Песчаные промежи, сверкая золотыми извивами, тянулись вдоль зеленой каймы то узкими, как острие, чертами,

то широкими, как ярко блестящие щиты, отмелями. С парохода на них можно было разглядеть черные точки вверх дном опрокинутых карбасов; вблизи их копошились и ползали в разных направлениях еще меньшие точки.

Кое-где вдоль береговой линии, будто крылья чаек, мелькали паруса. Они, казалось, вовсе не подвигались вперед.

В самом центре зеленой каймы, там, где правая и левая сторона ее почти смыкались перед нами, висел в голубом прозрачном воздухе белый город; как мелкие искры блистали, меняя постоянно направление своих лучей, купола церквей и соборов. С каждым движением парохода то выдвигались белые линии набережной, то вырезывались белые силуэты колоколен. Город поднимался над рекою все выше и выше. Казалось, между ним и уровнем воды легла смутная, мглистая полоса… она все ширилась и ширилась… искра за искрой пропадала над нею; белая линия суживалась и сокращалась… Вот и все погасло, только одна точка еще лучится, когда вглядишься в эту даль. Одна слабая точка, да и та, кажется, высоко в небе. И она потухла, и зеленые берега сомкнулись перед нами.

А впереди были облака, вода и небо.

На самом краю его, как неведомый, чудный гористый край, постоянно меняя свои очертания, вздымалась серебряная, матово-серебряная, с золотисто-голубыми тонами полоса облаков… Воображение дорисовывало между этими фантастическими вершинами призрачных гор — глубокие, лесистые долины, на тихих берегах белые города, маленькие, все потонувшие в зелени. Так и манило туда, туда, далеко — в эти поэтические пустыни.

А капитан-монах опасливо глядел на эту все выраставшую из-за моря кайму. Зоркие глаза его как будто высматривали что-то грозившее пароходу. Не бурю ли?

Что за дело! Пока еще лазурь уходившего в недосягаемую высь неба была безмятежна, упругие волны смиренно лизали бока парохода, бесконечный простор дышал красою мира и покоя.

Откуда-то с берега ветром донесло как будто звуки пастушьего рожка… Да, это они. Целый рой воспоминаний, красок, образов, голосов словно вспыхнул в памяти. Так разом поднимается вверх встревоженный рой пчел. Какою-то прелестью уединения веяло от этих звуков… Мы, словно зачарованные, внимали им. И тихая грусть незримо-неслышимо проникала в сердце…

А берега казались все ниже и ниже, концы их направо и налево все отходили от нас, сливаясь с серым простором лимана…

Море

Утром, на другой день по отплытии из Архангельска, когда я вышел на палубу парохода, во все стороны передо мною расстилалась необозримая даль серовато-свинцового моря, усеянного оперенными гребнями медленно катившихся валов. На небе еще ползали клочья рассеянных ветром туч. Свежий попутничек надувал парус. Тяжело пыхтела паровая машина, и черный дым, словно развернутое знамя, плавно расстилался в воздухе, пропитанном влагой…

На передней части парохода стоит ветхий деньми старец. Волоса его, редкие, серебристые, развевает ветер, лохмотья плохо защищают тело, впалая грудь чуть дышит, но взгляд его неотступно прикован к горизонту. Что он там видит — в этом безграничном просторе влаги, сливающемся с еще более безграничным простором неба? Вот он снимает шапку и медленно творит крестное знамение. Он молится. Для него это море — громадный храм, в туманной дали которого там, где-то на востоке, возносится незримый, неведомый алтарь.

Да, море действительно храм. И рев бури, и

свист ветра, и громовые раскаты над ним — это только отголоски, отрывочно доносящиеся к нам звуки некоторых труб его органа, дивно гремящего там, в недоступной, недосягаемой высоте — великий, прекрасно охватывающий все небо и землю гимн.

Вот сквозь клочья серых туч прорвался и заблистал на высоте широкий ослепительный луч солнца — и под ним озолотилась целая полоса медленно колыхающихся волн… Вот новые тучи закрыли его.

Божество незримо, но присутствие его здесь чувствуется повсюду…

Острова

Впереди засинели какие-то смутные очертания…

А острова все вырастали. Неопределенно синеющие массы становились зеленоватыми. Края их очерчивались все резче и резче; из неопределенных облачных форм они принимали ясные контуры. Что-то, словно искра, сверкало там, лучась и точно колыхаясь в синеве неба.

— Это — купол, братцы; святой соловецкий купол!

— Краса! — заметил угловатый олончанин стоявшей с ним рядом страннице.

Вот зеленоватая кайма стала еще гуще. Напряженный взгляд различал уже верхушки высоких сосен.

Прямо с островов неслась к нам с резкими, словно приветственными криками громадная стая чаек. Точно сотни серебряных платков развевались в воздухе. Чайки кружились близ парохода, забегали вперед и вновь отставали. Одна из них, описав громадный круг, смело уцепилась за крест грот-мачты, другая, словно камень, упала на палубу и, точно у себя дома, заходила между бого-

мольцами. Третья очутилась на руле парохода и стала чистить носом под широко распущенными крыльями.

— Чудеса это, брат!

— Птица и та от угодничков — встречает странничков Христовых… Тут не просто дело… Ишь, она, что собака, к людям ластится!

— И сподобил же Господь увидеть…

А чаек все прибывало и прибывало. Вблизи показались в воде какие-то круглые, словно нырявшие, головы. Они вместе с волнами то поднимались, то опускались. Их было целое стадо, юровье, как называют здесь.

— Глядь, робя, морская зверя проявилась. Нерпой прозывается.

— Поди, человека дюже жрет?

— Не… Он кроткий, за это ему от Господа два века жизни положено.

— А вон белые головы-то… Это белек… молодая нерпа… дите малое, неразумное.

— Тсс!.. Сколь много чудес у Господа…

На корме монахи пели молитвы. Волны все становились меньше и меньше. Солнечный свет льется мягкими полосами на крупные вековые сосны утесистых берегов. Море приняло зеленовато-голубой, почти прозрачный цвет. Громадные

валуны и скалы кое-где лежат посреди тихих, никаким волнением не возмущаемых вод. А верхушки этих оторванных обломков острова уже зазеленели, и жалкая пока травка узорчатыми гирляндами спускается вниз по серым поверхностям гранита к целым массам водорослей, оцепившим внизу эти глыбы.

Пароход тихо плывет вдоль берега, словно в бесконечной панораме развертывающего перед нами свои чудные картины. То желтые, песчаные отмели, то зеленые откосы, то утесы, вертикально обрывающиеся вниз… А там, позади них, что за ширь лесная, что за глушь тенистая.

Но вот один поворот, и «Вера» входит в зеленую бух-ту, в глубине которой, словно грациозный призрак волшебного вешнего сна, поднимается белостенный монастырь с высокими круглыми башнями, массою церквей, зеленые купола и золотые кресты которых легко и полувоздушно рисуются на синеве безоблачного неба.

Все словно замерли. Не слышно и дыхания… доносится только крик морских чаек.

Все глаза устремлены на это место поклонения… Все словно ждут чуда и боятся пропустить его. Тихо приближается пароход к обители, которая все ярче и выше поднимается перед нами из

голубых волн спокойного моря.

«Ныне отпущаеши раба Твоего с миром, яко видеста очи мои спасение твое»! — шепчет рядом со мною старик и опускается на колени, поникая седою, как лунь, головою.

И сколько голов опустилось в эту минуту, сколько рук творило крестное знамение!..

Монастырь. Гостиница. Святое озеро

Невыразимо прелестен этот зеленый берег. Какое-то радостное чувство охватывало все, когда я спускался с пароходного трапа на плиты набережной. Прямо поднимались старинные, из громадных валунов сооруженные, стены. Это — постройка циклопов. Несколько башен, высоких, с остроконечными павильонами на верхушках, были сложены из тех же колоссальных камней. На высоте, в стенах и башнях чернели узкие щели бойниц… Древностию, целыми столетиями веяло отсюда. Тут все было так же, как во времена первых царей московских. Некоторые сооружения напоминали эпоху Господина Великого Новгорода… От каждого камня веяло былиною, каждая пядь земли попиралась героями нашей ветхозаветной истории. И теперь настолько же массивны и недоступны эти стены. Только вокруг обители все веет новою жизнью; громадное, трехэтажное здание гостиницы, доки, разводные мосты, искусственная гавань, набережная, подъемные машины, деревянное здание странноприимного дома, разрушенного английскими ядрами, следы которых и на мона-

стырских стенах отмечены черными кружками; только небольшие белые часовенки на лугу перед обителью производят неприятное впечатление. Эти карточные, прямолинейные будочки рядом с каменными громадами, пережившими целые столетия и поражающими до сих пор своим величием, так и веют буржуазным вкусом нашего века, проникшим даже и в эту аскетическую обитель, схоронившуюся в беломорской глуши от всего живого и движущегося.

Из-за этих стен, созданных как будто самою природою, золотятся кресты церквей, и мягко рисуются их зеленые купола. Рядом с монастырем тянется здание лесопильного завода, а кругом всю эту площадь обступил зеленый, свежий, весь проникнутый изумрудным блеском, тенистою дремой и влажным покоем лес. Так и манило туда.

Но что поразило нас более всего — это чайки. Их тут было несколько десятков тысяч, по крайней мере. Крик их не умолкал ни на минуту. Их еще серые птенцы неуклюже бегали в траве у самых стен монастыря и гостиницы — каждый выводок в своем, точно определенном участке. Тут, в центрах этих участков, матки высиживали яйца, нахально кидаясь к богомольцам за подачкою.

Чайка сама шла в руки.

— Господи! Да они наших кур смирнее…

— От Бога им поведено обитель стеречь!

— Столько ли еще чудес тут повидаешь… Главное, чтоб с чистым сердцем!

Наконец, нас позвали в гостиницу, содержимую очень хорошо монастырем. Это красивое трехэтажное здание. Через просторные сени мы вступили в коридор, посредине которого была большая комната, куда нас всех пригласили. Тут каждый, прежде чем получить нумер, должен был записать, сколько и каких именно молебнов ему требуется; при этом уплачиваются и деньги по установленной таксе…

Комнаты среднего этажа оклеены обоями, остальные просто выбелены. Везде диван, стулья, стол и кровать с матрацами. Более ничего не полагается. Разумеется, тотчас же по прибытии богомольцы потребовали самоваров. В каждом коридоре, в комнате иеромонаха, заведывающего им, имеется несколько громадных, вделанных в стену самоваров, откуда кипяток разливается в большие чайники на потребу странникам…

Вид из окон гостиницы на монастырь и бухту — великолепен. Особенную прелесть придают ему прозрачность воздуха, туманная кайма

отдаленных лесов и необыкновенная, почти южная, синева неба… Чудный уголок выбрали себе соловецкие монахи. Тут бы хотелось видеть многолюдное население со звонким смехом детей, резвящихся в зелени лугов, с улыбками и песнями красивых женщин, с косарями не в клобуках и рясах.

— Что теперь, братцы, делать следует?

— Отец иеромонах, куда теперь?

— Теперь первым делом в Святое озеро — купаться!

— Святое?.. Чудодействует, значит?

— Великая от него сила и в недугах исцеление!

И целая ватага вышла из гостиницы. Я последовал за ними.

Окаймленное лесом Святое озеро — почти черного цвета. Одною своей стороной оно примыкает к стенам обители. На нем устроены две купальни — мужская и женская. Мы вошли… Кто-то заговорил; его остановили.

— Не знаешь, кое это место? Тут, может, кольки святых купалось?..

Воцарилось общее молчание. Все разделись.

— Крестись, робя… Главное, с верою… Господи, благослови… Нну — вали, шут с тобой! — И темные тела грузно плюхнули в воду. Все плескались

серьезно, точно исполняя религиозный обряд. Один взял в пригоршень воды и благоговейно выпил ее, другой крестился по груди в воде, третий читал молитву. Вода была далеко не чиста. Мутная, но мягкая…

Освеженные, мы вышли, и тотчас же нам кинулся в глаза синий, темно-синий и какой-то блестящий на этот раз морской простор, ласково охватывающий этот остров. Прямо перед монастырем из зеркальной глади поднимались небольшие островки и утесы, увенчанные часовнями и елями.

Каналы, леса и дороги

Монахи умеют пользоваться местностью.

По склону, едва заметному, некогда бежал ручей из одного внутреннего озера в другое. Тонкая струя воды — и только. Казалось, она ни к чему и не пригодна. Какой-то послушник расчистил берег ручья, углубил его ложе и выровнял его: незначительный исток обратился в узенький канал.

Я поднялся вверх по его течению; монастырь и тут не упустил случая воспользоваться силою воды и устроил в одном месте точильню, на другом пункте водоподъемную машину. Точильня состояла из большого во́рота, движимого водою… Ворот стоит вертикально. Его дугу охватывали ремни, которые затем, перекрещиваясь, разделялись на два, к каждому из них было прикреплено большое точильное колесо. Вследствие движения воды в канале ворот вращался и в свою очередь посредством ремня вертел два точильных колеса. Перед последними устроены были скамьи, на которых при нас сидели точившие косы и топоры монахи. Механизм до крайности прост, удобен и выгоден. В день такая точильня может выточить

более 300 кос, 450 топоров и сколько хотите ножей. Ее одной достаточно на город средней руки. Над точильнею — дом, чисто содержимый и весьма опрятный. Зимою, когда канава замерзает, ворот приводится в движение механическою силой. Эта точильня — изобретение крестьянина, прожившего здесь год и, кажется, оставшегося в монастыре навсегда.

Солнечный свет мягко обливает зеленую мураву сухого луга. Безоблачное небо синело над нами, напоминая необыкновенно прозрачною лазурью своей дальний юг. По окраинам словно замерли гигантские сосны и белые березы, протянув недвижные ветви в свет и тепло яркого летнего дня. Мы шли все вверх по течению канала.

Новое здание, каменное, большое — это водоподъемная машина.

Мы вошли. Род сарая; посредине несложным механизмом вода подымалась вверх на высоту четырех аршин, лошадь с бочкою подъезжала под кран, которым заканчивался желоб, и струя отвесно падала сверху. И легко, и просто, и удобно. А главное — сокращает рабочую силу, заменяя ее механической. В сарай влетела чайка и спокойно села на край желоба.

— Кто это строил у вас?

— Монах один… Из крестьян. Хорошо придумал!

— Да, хорошо!

— Все от угодников. Их заступлением; не оставляют обители — дом свой… Потому здесь вси труждающиеся и обремененные. Шелков да бархатов, как в иных прочих монастырях, не носим!

Действительно, соловецкий монах всегда и везде является в одной и той же рясе из толстого и грубого сукна. Простое холщовое белье крестьянского покроя, сапоги-бахилы из нерпичьей кожи — одинаковы у всех, у наместника и у простого послушника. Черные, грубые мантии дополняют костюм. Роскоши нигде не заметно.

И какой здоровый, коренастый народ — соловецкие монахи! Все это люди сильные, незнакомые с недугами. Оригинальную картину представляет здешний инок, когда с засученными по локоть рукавами, клобуком на затылке и подобранной спереди рясой он большими шагами выступает, с крестьянской перевалкой и приседаниями, по двору обители. Это тот же самый хлебопашец, только переодетый в рясу. С одним из таких подвижников мы отправились в лес.

По обе стороны дороги лежали громадные валуны. За ними недвижно стояли лесные гиганты.

Оттуда веяло свежестью и прохладой. Мы вошли в эту тенистую глушь. Высоко над нами переплетались могучие ветви, мягкий дерн устилал все промежутки между деревьями. Что это были за прямые стволы! Порою из-под почвы выступала острым краем серая масса гранита. Кое-где целые скалы торчали в глуши, плотно охваченные молодою порослью. Земля была холмиста. На верхушках пригорков поднимались купы сосен, протягивая далеко на юг свои ветви. Северная сторона этих великанов была обнажена. Деревья, росшие внизу, распростирали во все стороны одинаково свои сучья. Их не достигал грозный северный ветер. И какие чудные озера были разбросаны в глуши этих лесов, чистые, прозрачные, как кристалл. Невольно приходило в голову сравнение их с красавицей, лениво раскинувшейся в зеленой ложбине. Кругом нее стоят ревнивые сосны — а она нежится в лучах яркого солнца, отражая в бездонной глубине своих чудных очей и это синее небо, и эти жемчужные тучки!.. Тут все дышит идиллией, все навевает блаженные грезы, все говорит о далеком милом крае, где нам было так хорошо, весело и отрадно, о прекрасном, бесконечно прекрасном крае, где царствует вечная весна, о светлом крае воспоминаний, имя

которому — юность!..

Побродив с час по лесу, мы опять вышли на дорогу, ведущую назад к монастырю. Соловецкие дороги замечательно хороши. Прямые, плотно убитые щебнем, достаточно широкие, они во всех направлениях перерезывают острова, свидетельствуя о предусмотрительной энергии монахов. Как любил я бродить по ним, когда спадет полуденный зной и тихая прохлада веет из лесу, с зеркального простора озер, с синеющего безбрежного моря… Да, это прекрасный уголок земли, лучшая часть нашего далекого Севера. К сожалению, теперь здесь нельзя остаться даже на лето больному, потому что острова Соловецкие принадлежат монастырю и там негде жить постороннему.

«Рай — наши Соловки!» — говорят монахи.

«Господь своим инокам предоставил их, чтоб здесь на земле еще видели, что будет даровано праведникам там, на том свете».

«Одно плохо, хлеба не родит наша пустынь блаженная!» — дополняли третьи, более практичные…

Поездка на Секирную гору. Савватьевская пустынь. Секирный скит. Еще рассказ об осаде. Вид с высоты. У строителя в келье

«Соловецкие острова — венец, а Секирная и Голгофа — адаманты[1] венца сего, — говорили мне монахи об этих местностях. — Одно важное лицо посетило их в 1870 г., так сказывало, что таких местов по всей земле нет»…

Всего нас отправилось на Секирную гору до тридцати богомольцев; поезд, как видите, вытянулся довольно длинный. Дешевизна сообщений в Соловках — невероятна. До Секирной горы и обратно 16+16 верст. Разумеется, при этом необходимо принять в соображение, что монастырь пользуется своими сенокосами, трудом даровых ямщиков, и самые лошади не куплены им, а пожертвованы крестьянством северного края.

Как только мы выехали на лесную дорогу, глаза стали разбегаться во все стороны. Пейзажи один прелестнее другого развертывались перед нами, как будто в волшебной панораме. Не успеешь

---

[1] Примечания: 1

Адаманты — алмазы. –*Прим. автора.*

вглядеться в один, как вдруг перед вами раскинется еще более красивый, под светом этого яркого, солнечного дня. Дорога тянулась по горам. Она пробита на их откосах: часто налево перед вами возносится крутая, заросшая гигантским лесом, стена, а направо обрывается вниз такая же щетинистая стремнина. Сосны, одна величавее другой, вырастали на каждом повороте дороги. То словно канделябры, они разделялись у самой вершины на три или на четыре прямых и параллельных стволу отрасли, также стройно возносящиеся ввысь. Другие, точно в лазури неба, раскидывали свои ветви, и какая внушающая благоговение тишина стояла под этими сводами! Что за чудная глушь, какой здоровый несравненный воздух!.. А озера! Не могу еще не остановиться на них. Я бывал в Финляндии, южной Германии, в Альпах, но не видел таких чудных озер, при крайне незначительной длине и ширине их. Особенно врезалось в мою память одно. Длинное и узкое, извиваясь, легло оно в изумрудных берегах. Небольшой лесок словно опрокинулся в его глубину. На нем только один островок — но какой! Его и не видно: глаз замечает только три высокие сосны, как будто выросшие из самой середины этих серебристо-голубых вод. Но живописные линии берега,

кучи валунов, поросших уже травою, отражение жемчужных тучек, спокойное, словно все из расплавленного металла, зеркало вод — нужно видеть самому. Никакое перо не даст понятия о чудной красоте соловецких пейзажей. В другом месте вид распадается на два художественных момента. Дорога взлетела на самый гребень горы… Тут сосны реже. Сквозь них налево синеет неизмеримая яркая даль моря, а направо между стволами серебрится несколько постепенно пропадающих в отдалении озер, словно окутанных легкою, придающею им таинственную прелесть дымкой. Но верх красоты и совершенства — Белое озеро. Стоишь и не насмотришься. Затаиваешь дыхание, точно боишься, чтобы волшебный призрак не исчез из глаз. Представьте себе зеленую котловину, на дно которой брошен серебряный щит. В нем отразились все берега — и какие берега! В нем опрокинулись и маленькие, то лесистые, то покрытые травою грациозные островки. Нельзя выразить так глубоко охватывающего вас впечатления. Эти переливы света и тени, эти нежные мягкие краски, эти изящные линии не имеют ничего себе подобного.

Все эти озера — рыбные. У берега часто словно замерла в воде темная лодочка. Спуститесь вниз,

к самому берегу, и вы увидите, как в кристальной влаге недвижно висят, пошевеливая лишь изредка плавниками и жмуря розовые глаза, лини, караси и другие обитатели этого поэтического дворца. Одно, что поражает здесь, — это отсутствие птичьего гомона, пения и стрекота… Это — спящая царевна. Какой витязь пробудит ее к жизни?

Таким образом, оставив экипаж, то сбегая с горы, то подымаясь на откосы, я добрался до Савватьевской пустыни. Скит святого Савватия не очень красив. Просто казарма. Тут монахами разбиты изящные цветники; клумбы редких для севера растений сверкают яркими кистями пышных и благоухающих цветов, из открытых дверей церкви доносилось сюда молитвенное пение…

Пока служились молебны, я прилег в траве на берегу большого озера. Что это был за мирный уголок! Тоже много островов. На одном из них в свою очередь — микроскопическое, словно алмаз, вправленный в зеленую эмаль, озерко. Далеко-далеко, за другим берегом, синеют леса, пропадая там, где-то, на юге. Последнюю черту их трудно отличить от дымчатой полосы облаков, выступивших на краю неба…

Лежа тут на траве, посреди цветов, я невольно

грезил о далеком детстве. И целый рой картин, одна ярче другой, воскресал в памяти, и сладкая, светлая грусть прокрадывалась в сердце… Хорошо, очень хорошо было здесь. Беру на свою совесть советовать каждому решиться на далекий путь, чтобы побывать на островах Соловецких, да только не три дня, а недели две-три…

Уже желтовато-розовые тона кое-где окрасили края облаков, когда я поднялся опять.

Не ожидая спутников, я пошел вперед по дороге. Долго пришлось бродить по полянам, и, наконец, на одном повороте я стал как вкопанный.

Передо мною, несколько вдали, высокая гора.

Дорога прямою колеей взвивается на нее; лес направо и налево раздвинулся и образовал гигантскую аллею, доходящую до самой вершины горы, и там, на крайней точке, на высоте воздушной, словно вися в лазури недосягаемого неба, сияет Секирный скит, заканчиваясь легким, необыкновенно красивым абрисом колокольни, — все это до того призрачно, все это словно плавает в пространстве: кажется, дунет ветер и разом унесет это обаятельное видение.

Что поражает более всего — это неожиданность таких художественных моментов. Идешь, ничего не ожидая, и вдруг перед тобою раскинется такая

картина, что в первую минуту не сообразишь, где ты, что с тобою; не мираж ли этот величавый, воздушный силуэт монастыря, повисший в вышине голубого неба?

На Секирную гору взбираться трудно. Лошади догнали меня внизу, и тут все сошли с дрожек. Все едва полезли ввысь…

Наконец мы взобрались на Секирную гору. Новые красоты, новые очарования!..

Разговор сошел на осаду Соловецкого монастыря англичанами, и я опять имел случай убедиться, как крепко держатся здесь предания об этом событии. Монах мой говорил о нем необыкновенно быстро, размахивая руками и как будто вновь переживая все случайности той эпохи.

— Подошел неприятель, и оробели, обмерли все мы. Батюшки, думаем, что мы робить станем, как он в нас палить начнет? У него ружье, у него мортир-пушка. Расшибет он нас, думаем. Кто плачет, кто в щель забился и сидит, не дышит, потому как неприятеля не бояться — на то он и прозывается враг. Ах ты Боже мой — все-то истомились да измучились… А военные корабли все ближе да ближе. Только и собрал нас архимандрит Александр и говорит: ежели что — не сдаваться, потому Россея и прочее такое. Пусть

враг что хочет делает, а вы стойте… Боже мой… Сейчас солдат вперед поставил!

— А у вас и солдаты были?

— Какие солдаты! Они только солдатами назывались. Анвалиты были. Десять анвалитов при нашем остроге жили, кто хромой, кто безрукий, кто безногий. Ружья у них не палят. Они их заместо палок носили. У кого и ружья не было. Ну, Александр и говорит: «Братцы, выручай, потому как вы христолюбивое воинство, и церковь вас в молитвах своих поминает и не забудет, ежели враг окровянит вас таперече… Помните, говорит, что святыню защищаете!» Мы слушаем — беда. Все помрем — думаем. Вот хорошо; немало это прошло — с парохода аглицкого лодка. Страсть!

— Ну, а пушки ведь и у вас были?

— Какие пушки! С кораблей Петра Великого. Пушченки самые необходительные… Вот с аглецкой лодки епутата требуют!

— Парламентера, верно?

— Его, его самого… У нас в это время в тюрьме полковник один сидел. По-аглецки хорошо говорить умел. И предложил он нам, что пойдет в епутаты. Нас и возьми сомнение. Как изменит? Ведь он рестант. Господь знает, <что> на душе у него. Долго мы об этом говорили и порешили,

чтобы он на берег с солдатиком шел, а солдату приказ был дан, что ежели только тот изменит — сейчас штыком приколи, — рестанта этого. Ну, хорошо…

— Да как же бы понял солдат? Ведь те бы по-английски говорили!

— Ах, братец мой, пусть его говорит, но ежели, то есть, рестант бежать задумает — тут ему и капут. Ну, только полковник и пошел. На палочку белый плат навязал, и начали они говорить промежду собой. Англичане приказывают: подавайте ключи от монастыря, — кто у вас тут комендант? Сейчас архимандрит Александр выходит. Я, говорит, этой крепости комендант и все могу, мне власть дана… Ну, те требуют ключи! — Они не у меня, берите их сами. — У кого же? — У двух стариков! — У каких стариков? — У простеньких старичков, у Зосимы и Савватия, на раках лежат, на мощах — возьмите, если можете. Ну, те как прослышали про стариков наших и испужались. Сейчас назад, на пароход. И давай оттуда палить, спужавшись!.. Тут мы все и сели, потому он палит — страшно это очень. Ежели бы еще попалил — померли бы все, мы ведь люди мирные, не от мира сего!

— А если бы он согласился взять ключи с мо-

щей?

— С мо-ощей?.. — самодовольно протянул монах. — С мо-ощей? Бери, друг любезный. Бери у наших старичков. Они бы тебе показали силу свою… Сейчас бы корабли ко дну пошли, и праха от неприятелев бы не осталось, потому — святыня. Ни один бы не уцелел!

— А правда, что Александр сам на корабли к ним ездил?

— Врут; потому я тут был и хошь очень испужался, а все помню!

Из этих легендарных рассказов все-таки можно было убедиться, что многое вымышлено в крестьянских рассказах о защите Соловецкого монастыря, хотя замечательное мужество архимандрита Александра не подлежит сомнению. Так составляется легенда. Словоохотливый монах, вероятно, задержал бы меня долго, если бы я не изъявил желания взобраться на колокольню скита.

Все рассказы о видах отсюда оказались бледным, ничего не говорящим очерком великолепной действительности. Все четыре окна колокольни были рамками несравненных картин.

Весь Соловецкий остров раскидывался далеко внизу, со своими лесами, озерами, полянами,

церквами, скитами, часовнями и горами. Какие нежные переливы красок, какие мягкие изгибы линий! Тут темная зелень соснового леса, там изумрудный простор поемного луга, и повсюду серебряные щиты изящных озер! Эти — точно искры на зеленом бархате. Берега острова резко очерчивались перед глазами, как на карте, но каждый пункт их был отдельной изящной картиной. Там группа скал, обрыв, тут длинный мыс, поросший щетиною темного леса. Там зеленая отложина, нечувствительно сливающаяся с морем; тут последнее глубоко врезывается в землю, образуя в ней внутренние озера, едва заметными проливами связанные с громадным водяным простором. Сначала глаз был поражен только целым ансамблем этого чудного неописуемого ландшафта, но потом, мало-помалу, стали выделяться его детали. Эти золотящиеся лесные дороги — они, словно змеи, извиваются в чаще, то пропадая в ней, то вновь выбегая прихотливыми линиями. Вот белые церкви. Они рассеяны повсюду. Как малы и как изящны они отсюда. Вот по лесам блестят и лучатся золотые искры. Всмотритесь — это кресты затерявшихся в глуши часовен. Вот на зеленой бархатной лужайке раскинулось стадо оленей. Глаз едва различает их с этой высоты.

Но как хороши гребни этих холмов, этот чудный воздух, это безбрежное море кругом. Какая это точка лучится на самом краю пейзажа?

— Это гора Голгофа и скит Голгофский!

Засияла розовая заря. Сотни озер, раскинутых внизу, вспыхнули разом. Глаз нельзя было отвести от них: точно со всех концов запылали бесчисленные костры, по всем лесам, полям и лугам острова. Вершины леса были тоже охвачены этим нежным сиянием. Море вокруг райского уголка сияло пурпуром, золотом и лазурью. Казалось, небо укрыто жемчужными тучками, море с его неугомонными волнами и земля с ее божественными дарами оспаривали пальму первенства друг у друга… Вокруг всего острова лежала тоже огнистая полоса… Белые церковки стали розовыми, пурпурными, золотыми… Кто бы ни стал поэтом лицом к лицу с такою идеальною красавицей, какова эта неотразимо прекрасная природа!

По одной из дорог ползет муравей-лошадь. Она тоже горит, как золотая искра… Вот она скрылась за лесом. Вот в одном озере шевелится черная точка. Это челнок. Кто сидит в нем — не видно, но точка движется и пропадает в черном заливе…

Нельзя было насмотреться.

Из противоположных окон видно только море. Тут Секирная гора почти отвесно обрывается вниз. Пурпурно-золотой простор движется перед вами. Вы не видите волн, но замечаете только волнение. А там — точно в огнистом венце — подымается группа островов «Кузова». А еще дальше — туманное пятно и несколько искр. Оно словно висит в голубом небе. Это кемский берег и Кемь. Иногда, говорят, она вся видна отсюда — за 60 верст расстояния.

Какой чудный летний приют можно было бы создать здесь, где теперь живут только семеро монахов, равнодушных к этой сияющей, ослепительной красоте!

Мы уже собирались уезжать, как нас пригласил к себе строитель скита…

Мы всходили на секирный маяк, но тотчас же сошли вниз. Нужна была привычка. Гора и без него высока, а на ней это сооружение — высоты ужасной. Голова кружилась, все мешалось перед глазами.

Уже на возвратном пути с Секирной горы я узнал, что в числе монахов этого скита находится фотограф Сорокин, которому новый архимандрит запретил заниматься фотографией, находя ее неприличной для монаха. Не мешало бы

только знать, что один из наших митрополитов, признанный святым, занимался химией и в области ее производил специальные исследования. Теперь Сорокина теснят, и его удерживает в монастыре только то, что тут же пострижены два его брата, а мать — инокиня Холмогорского женского монастыря. Фотографа смиряют разными способами, то посылая его на работы, то уединяя в скиты, где всего-навсего живут 4–7 монахов.

А пейзажи Соловецкого острова действительно заслуживают фотографических снимков.

Возвращаясь домой, в гостиницу, мы вновь любовались теми же чудными картинами, но уже при розовом освещении заката, трепетавшем и в листве берез, и в струях озер, и в туманной дали лесной чащи, и в мураве поемного луга. А внизу, в глубине горных долин, уже курился пар, окутывая могучие стволы сосен серыми однообразными клубами. Грустное чувство охватывало душу, когда мы думали о скором отъезде отсюда.

Каждый холм, каждая гора здесь увенчаны часовнями, зеленые купола и золотые кресты которых мягко рисуются среди окружающего их пейзажа.

На половине пути — часовня с вырытым в ней колодцем. Вода здесь холодна, как лед. Тут

останавливаются и отдыхают странники. Место чрезвычайно красиво, особенно когда на пролегающих скатах раскинутся пестрые толпы богомольцев, и слышится отовсюду говор разноязычной толпы…

Поездка в Макарьевскую пустынь

Светлый день. Яркое солнце так и обливает трудно выносимым зноем леса и озера Соловецкого острова и зеркальную гладь застоявшегося в чудном покое моря. Что ни бухта, то картина, что ни поворот дороги, то новые восклицания восторга и изумления.

Опять мы едем лесным путем, опять направо и налево раскидывается царство могучих лесных великанов. Там и сям сквозят озера. Одни из них совсем ушли в тень высоких деревьев, другие так и лучатся резким, ослепляющим глаза светом. К этой природе не приглядишься.

Новый луч — и все изменяется перед вашими глазами; новая перебегающая тень случайного облачка, и опять иное выражение… Точно лицо красавицы, живое, подвижное, постоянно меняющееся перед вами… Вот ее глаза сверкают ослепительным блеском, губы полуоткрыты, вся она облита ярким румянцем… Грудь колышется высоко… Голова откинута назад… Еще мгновение — и глаза потемнели, только в таинственной глубине их вспыхивают мимолетные зарницы, на бледном лице лежит выражение тихой грусти,

печальная улыбка не то сожаления, не то обманутой надежды замерла на устах… Как цветок, поблекший на стебле, она склонила свою головку… И вам самим становится грустно до первого солнечного луча, до первого вихря страсти и блаженства!

— Хорош ваш Соловецкий остров: приволье, краса!

— Ну, — отозвался монах, — какая такая краса? Что за земля, коли хлеба не родит? Горы все… То ли дело у нас, в Рязанской губернии — гладь. Ровнехонько — ни тебе холма, ни тебе горки. Хошь на коньках катайся. Вот это так краса. А тут — самое несообразное место! — И монах ожесточенно погнал лошадей, нахлестывая им бока.

— У нас еще лучше, — отозвался богомолец, — у нас рожь сам — 15 растет!

— Вот это краса! — согласился монах. — Как нивка золотая подымется, да колос с колосом почнут разговоры водить — сердце радуется. Хорошо место — реки у нас даже нет — а кругом море — чего уж безобразнее!

— Что у вас в Макарьевской пустыни?

— У нас там сады, огороды, парники, — все есть. Недавно был богомолец один из Питера, такой из себя значительный, словно енарал. Уж

он ахал тоже. Вот, говорит, место; коли б да это место поближе к столицам — больших бы денег каждый лоскут земли стоил. Камень, говорю ему. Это ничего, мы бы тут понастроили всего. А по этим озерам гулянья, чтоб… Известно, модники!

— По нашим местам, — вставил богомолец, — не дай Бог такой земли; что с ней поделаешь? Тут и соху, и борону изломаешь!

— Камень, известно камень. На нем не посеешь!..

Наконец трое наших дрожек подъехали к Макарьевской пустыне.

Это — прелестный уголок, затерянный среди лесистых гор в зеленой котловине. Кругом нее тишь и глушь. Мы взошли на балкон, устроенный на кровле часовни. Отсюда открывался пейзаж, так и просившийся на полотно. Прямо перед нами, одни выше других, вздымались гребни поросших соснами гор и за ними синевато-туманные полосы таких же далей. Все навевает на душу мирное спокойствие. Западавшие вглубь лесов тропинки звали в эту свежую чашу. Порою от случайно набежавшего облака леса уходили в тень, зато другие выступали ярко-зелеными пятнами. Изредка взгляд встречал небольшую поляну. На одной ясно рисовался силуэт отдыхавшего оленя.

Серебряная кайма озера едва-едва прорезывалась из-за леса налево.

Садовник-монах, из крестьян, предложил нам посмотреть оранжереи и парники.

Тут росли арбузы, дыни, огурцы и персики. Разумеется, все это в парниках. Печи были устроены с теплопроводами под почвой, на которой росли плодовые деревья. Таким образом, жар был равномерен. Этим устройством монастырь обязан тоже монаху-крестьянину.

Оранжереи с цветами прелестны. В распределении клумб обнаруживаются вкус и знание дела. Я долго был тут, внимательно рассматривая все подробности этого уголка. Это — полярная Италия, как ее метко назвал высокий посетитель…

— Много ли вас тут? — спросил я у монаха.

— Трое; я да двое работничков-богомольцев. Дело-то здесь маленькое. Порасширить бы его — да и того довольно. Фрухт только и идет, что для архимандрита и для почетных гостей!

— В Архангельск бы отправляли?

— Неужели же там нет своих парничков?

— Нет!

— А там бы лучше росло: теплее и климат способнее. У немцев, поди, есть в Архангельске все. Наши только, русские, подгадили!

Позади парников я взобрался на гору. Отсюда открывался чудный вид на потонувшие внизу леса и озера. Не хотелось верить, что мы на крайнем севере. И воздух, и небо, и земля — все напоминало юг Швейцарии. Только бы побольше животной жизни.

Пейзажи Соловков были бы еще живописнее, если это возможно, когда бы тут было побольше стад и птиц. Молчание в природе слишком сосредоточивает душу. Созерцания принимают нерадостный характер и переходят в мистицизм. Пение птиц, блеяние стад настроили бы душу на иной, более веселый лад. Даже и чайки внутри островов попадаются в одиночку, и то редко…

Анзеры

Анзеры, и особенно гора Голгофа, пользуются такою же славою, по поразительной красоте своих пейзажей, как и Секирная гора. Анзеры — большой и гористый, остров Соловецкого архипелага. Здесь находится скит, и кроме того, у берегов производятся рыбные ловли. В Анзеры нас отправилось около пятидесяти богомольцев…

Переходя от одной группы к другой, я не забывал и окрестных видов. Каких только здесь не было озер! Одно — словно сверкающая на солнце коса; другое — сплошь покрытое островами; третье — гладкое и чистое, как зеркало. Одни за другими сменялись волшебные картины. То обрыв — вы останавливаетесь и смотрите: под вами синеют верхушки деревьев, далеко уходит сочная понизь с лесами, озерами и скалами; то — с двух сторон сжимают дорогу крутые откосы зеленых гор. Вот море глубокою бухтою врезалось в землю; только узкий пролив соединяет ее с бесконечным водным простором. Бухту обступили высокие сосны и недвижно протянули над нею высокие своды.

Как там покойно, тихо и прохладно. Тут ловят монахи рыбу, здесь ими выстроен домик для рыболовов и поставлены вороты для вытаскивания неводов. Скоро мы подъехали к берегу, где кончался остров Соловецкий.

Версты за четыре синели Анзерские горы. На самой окраине берега изба, или, по-здешнему, келья перевозчиков. Мы все сели в два больших карбаса. Весла блеснули, и лодки прорезали покойную влагу. На этот раз пролив был спокоен, но здесь нередко случаются бури, опасные для маленьких судов, потому что у Анзерского берега находится большой сувой[2]. Даже и теперь, когда море было тихо, пределы сувоя очерчивались заметно, составляя совершенно правильный круг, в котором течение воды напоминало собою громадную спираль. Несмотря на самую безмятежную погоду, как только наш карбас вступил в пределы толчеи, его стало весьма заметно покачивать, и гребцы измучились, прежде чем достигли берега…

Таким образом пролетело время до того момента, когда на ясном небе, над большою лесистою горою обрисовался полувоздушный Голгофский

---

[2] Примечания: 2

Толчея, водоворот. –*Прим. автора.*

скит. Трудно определить, что изящнее — этот ли уголок или Секирная гора. Сравнения в области красоты, будь это красота женщины или природы, все равно, — невозможны. Все зависит от того, как в данный момент падают лучи, как легла тень; важно и предварительное настроение зрителя. Сказать откровенно, встречая постоянно прелестные пейзажи на этом сравнительно небольшом клочке земли, я до того пригляделся к ним, что они далеко уже не производили прежнего впечатления…

Тем не менее первое впечатление Голгофы прекрасно. Это мираж, мягко рисующийся в синеве неба… Когда смотришь в эту высь, так и кажется, что там человек должен оставить все земные помыслы и отдаться или мистическому созерцанию Божества, или изучению сокровеннейших тайн природы. Как жалко, мелко и ничтожно должно все казаться оттуда: и люди — такими маленькими, и сооружения их — такими незначительными. А этот упоительный горный воздух! Я сам испытал здесь его влияние. Он опьяняет человека. Грудь расширяется от восторга, кровь движется быстрее, усталости нет и в помине. Все выше и выше.

Когда мы ступили на Анзерский берег, общий

силуэт Голгофы заслонился другими, менее высокими горами. Тут уже озер меньше, но зато как прелестны здесь лесные дороги! Кажется, шел бы по ним без конца. А между тем — ни ярких цветов, ни певчих птиц. До чего должен быть очарователен пейзаж, если он заставляет забывать о скудости красок и звуков.

Тут многие купались в море. Вода до того пропитана солью, что последняя осаждается на бороде и на волосах. Она холодна как лед, но, когда выйдешь на берег, тело горит и сам чувствуешь себя как будто возродившимся. А сцены при купанье!..

Скоро мы нагнали баб, тараторивших впереди, как сороки. Рядом с нами, у самых ног, бежала куропатка.

— Господи! — восхищался крестьянин. — Это ли еще не чудеса? Дикая птица, а к человеку как собака льнет. Ну и монашики. Возвеличил их Бог, видимо. Это верно…

Дорога, наконец, пошла в гору. Она поднимается вокруг нее спиралью. Мы бодро подвигались вперед, и порою, как выходили на открытое место, словно заоблачный храм, светился над нами скит Голгофы. Несколько раз принимались отдыхать. Один юродивый странник полз вверх

на коленях. Крестьяне чуть не крестились на него. Странница, та не отступала от него ни на шаг. Остановится он — и та станет. Начнет он класть земные поклоны — и та сейчас же. Так до вершины горы.

Вид с колокольни Голгофского скита еще шире, величественнее и разнообразнее, чем с Секирной горы. Перед вами бесконечный простор синего моря, в которое врезались бесчисленные мысы соловецких берегов. Острова Анзеры, Соловки и Муксальма лежат далеко внизу под вами. Вы охватываете каждую подробность этой картины, ни на минуту не теряя общего ее впечатления. Это — замечательно целый в художественном отношении пейзаж. Горы, леса и озера — каждое имеет свой собственный оттенок. Бесконечное разнообразие этих оттенков привело бы в отчаяние живописца. А их переливы, их переходы одних в другие! Это целая поэма природы, и, глядя на нее, вы точно внимаете беспредельному миру чудных гармонических звуков. Под вами, внизу, словно частые стрелки, поднимаются верхушки темных, бархатистых елей; рядом с ними березовые рощи под горячими лучами солнца кажутся пятнами расплавленного золота. Но что сравнится со смешанным лесом сосен, елей и берез! Это

— невыразимая красота при таком освещении. А вдали Соловецкая обитель с ее часовнями, точно легкий призрак. Весь розовый, с искрами своих крестов, он ласкает взгляд туриста. Отдаление ослабляет все резкие контуры, остаются только нежные, мягко рисующиеся линии. Взгляните прямо под колокольню. У подножия горы Голгофы — озеро, это клочок голубого неба. На нем — точно щепка, всмотритесь — словно какая-то муха копошится на этой щепке. Это — плот, а на плоту монах, удящий рыбу. Каждая мелочь отсюда является совершенством, каждый штрих полон изящества и прелести. На самом краю горизонта лежит противоположная оконечность пейзажа — Секирная гора. Скит на ее вершине кажется белою искрой. Между нею и последнею чертою горы — полоса голубого неба, как будто этот монастырь, опускаясь с высоты, повис далеко над вершиною…

Оглянитесь в другую сторону — безбрежная лазурь моря. Вот на самом краю его что-то полощется, что-то мелькает. Чайка или парус? Всмотритесь. Ближе и ближе это ослепительно-белое крыло, и скоро перед вами тонко обрисуется большая поморская шкуна, рассекающая синеву моря. Вот еще несколько таких чаек. Все они

тянутся к Архангельску с мурманского берега.

— Белухи, белухи в море… — говорит около монах, указывая налево.

Я всматриваюсь и ничего не вижу.

— Да вон они…

Еще усилие, и тот же результат. Нужно приучить свой глаз к таким расстояниям; нужно постоянно жить среди такого бесконечного горизонта, чтобы в подобном отдалении отличить круглые очертания белых голов, ныряющих в синих волнах.

Как прекрасен должен быть этот вид в ясную лунную ночь! Да, первые подвижники Соловецкого монастыря, должно быть, не были похожи на нынешних монахов, ушедших в одну физическую работу. Пункты, выбранные для устройства скитов и часовен, обнаруживают в их строителях высокое чутье художественной красоты. Как не завидовать этой аскетической обители, отвоевавшей на севере лучшую жемчужину этого края — Соловецкие острова…

Когда мы сошли вниз, молебны были уже кончены. На скорую руку мы прошлись по кельям скита. Та же простота обстановки, та же бедность. Около лестницы, ведущей вверх, развешаны на стене морские карты. Они не напечатаны, но

сделаны монахом. Это работа одного моряка, успокоившегося после треволнений кругосветных плаваний в тихой и мирной пристани монастыря.

— Назад пора, чтобы поспеть ко времени! — рассуждают богомольцы.

— Пора, пора, братцы. Трапеза, поди, скоро будет!

И толпа, помолившись в последний раз, как волна, отвалила от скита и вся рассыпалась по горе.

Последние часы в монастыре

Пароход «Вера» уже разводил пары.

Жаль было оставлять эту чудную природу. Хотелось еще побродить в лесах и горах Соловецкого архипелага, посидеть на берегах его озер, на скалах у вечно шумящего лазоревого моря.

Тут даже отсутствие жизни, вероятно, благодаря новости и свежести впечатлений, чувствуется не особенно тяжело.

Перед отъездом еще раз хотелось окинуть последним взглядом эти чудные острова.

Я взобрался в купол собора, где в четырех башенках проделаны маленькие окошки.

В последний раз из лазури неба и из лазури моря выступали передо мною эти — то черные, то золотые — мысы… В последний раз из массы елей и сосен сверкали живописные взвивы серебряных озер. В последний раз звучал в ушах моих неугомонный крик чаек.

В монастыре загудели колокола.

Торжественные звуки разливались, как волны, на той вышине, где стоял я. Тонкая, дощатая перекладина подо мною дрожала. Колоколенка казалась висящею в воздухе. Жутко становилось

здесь. Чувство инстинктивного страха проникало в душу. А все-таки не было сил оторваться от этих прекрасных окрестностей. Вот солнце зашло за тучку. Из-за ее окраины льется золотая полоса света. Косо охватывает она березовую рощу, и каждое дерево ее, каждый листик золотится, словно насквозь пронизанный лучами. Вот целые снопы света разбросило направо и налево. Одни ушли в густую тьму соснового леса, и на золотом фоне ярко обрисовалась каждою своею ветвью громадная передовая сосна. Другие сплошь охватили серую скалу, и в массе темной зелени она кажется чеканенною глыбою золота. А эти часовни! При таком богатом освещении они теряют свой казенно-буржуазный вид. Вот что-то ослепительное лучится между деревьями, хотя его не видать, по крайней мере, трудно рассмотреть очертания светящегося предмета. Это — маленькое, все на минуту озаренное озеро. Вон по золотой полосе дороги лепится серая лошаденка с черным монахом; а там, вдалеке, на недвижном просторе моря?.. Там паруса за парусами и туманные, едва намеченные очертания поморских берегов.

Куда ни взглянешь, повсюду лазурь, золото и зелень.

Пора вниз. Богомольцы уже потянулись к пароходу. Вон целые группы серого крестьянского люда в последний раз кладут поклоны перед стенами гостеприимно приютившей их обители. Вот у пристани собрались монахи и что-то работают…

Когда я сошел вниз — трапеза была уже кончена. Остальные странники и странницы толпились на палубе парохода. Все с громадными кусками хлеба, данными им на дорогу; говорят, что выдавали и рыбу. Не знаю — не видал. Зато многие попались мне в новом платье и сапогах, безвозмездно выданных им из рухлядной лавки монастыря. У всех были ложки соловецкого изделия, финифтяные крестики и образки…

Шумный говор стоял на палубе… Отец Иван, командир «Веры», — уже на своем месте… Команда ждет… Первый свисток. Пора и мне занять место. Я уже направлялся к трапу, когда случайно заметил невдалеке молодого послушника-поэта. Он тоскливо глядел на сцену отъезда. Я еще раз подошел к нему пожать руку на прощанье. Он заметно смутился…

Едва я успел взбежать на трап, как дан был третий свисток, и пароход медленно отчалил от пристани.

В каюте, на палубе и дома

Наше обратное плавание было очаровательной прогулкой. Весь сияющий, голубой простор моря казался безграничным зеркалом, в центре которого тяжело пыхтел и дымил наш пароход. Солнце обливало горячим светом палубу с яркими группами расположившегося на ней народа. Золотые искры сверкали в воде. Лазурь голубого неба не омрачалась ни одним облачком…

Наступала ночь. Солнце садилось в одиннадцать часов. Я стоял на капитанском баке и наблюдал оттуда, как постепенно морской простор изменял свои цвета и оттенки. Из голубого он перешел в ярко-золотистый, потом в багровый, розовый, желтоватый, и, наконец, когда солнце село, море приняло свинцово-синий колорит. Мимо парохода проплывали белухи. Говорят, что здесь иногда приходится встречать и моржей. Мы нагнали несколько поморских шкун и одного неуклюжего ливерпульского угольщика… Становилось свежо. Я пошел в каюту…

Незадолго до приближения к Архангельску мы вышли на палубу.

На юго-востоке сверкали золотые искры — это

купола городских церквей и соборов.

Потом обрисовались какие-то смутные, беловатые линии; они развертывались, светились все ярче и ярче, и, наконец, уже отсюда можно было отличить контуры каменных зданий набережной. Скоро пароход причалил к пристани Соловецкого подворья, и мы разом окунулись в шум, суету и движение городского центра.

Детский смех, улыбка женщин, говор и блеск жизни — заставили позабыть разом все прелести действительно прекрасного, но окованного аскетизмом уголка. Только теперь, через год, передо мною выступили более рельефно выдающиеся черты этой оригинальной жизни, этого крестьянского царства.

На нашем севере Соловки — самое производительное, промышленное и, сравнительно с пространством островов, самое населенное место. Без всяких пособий от правительства, без субсидий оно создало такую экономическую мощь, которая становится еще значительнее, если подумать о том, что ею обитель обязана усилиям нескольких сотен простых и неграмотных крестьян.

— Это — наше царство! — говорят крестьяне-поклонники, направляющиеся туда.

Константин Случевский. По Северо-Западу России[3]
Глава из книги

[3] Примечания: 3

Случевский Константин. По Северо-Западу России. Т. 2. — СПб.: Изд-во А.Ф. Маркса, 1897.

Соловецкий монастырь

…Ровно через двенадцать часов, 16-го июня, утром подходили мы к нашему северному Феону. Утро было очень хорошее, и море едва-едва подергивалось легкою зыбью. Раньше других, вправо от нас, показался Анзерский остров, затем Муксалма и, наконец, прямо против нас большой Соловецкий и на нем обитель. Ближайшими островами, справа от нас, поднимаясь очень невысоко над водой своими гранитными глыбами, поросшими мелким кустарником и мхами, лежали в розовом сиянии утра небольшие Заячьи; между ними есть и Бабий остров, тот именно, на котором когда-то должны были останавливаться женщины, посещавшие монастырь; теперь поселяются они в монастырских гостиницах. Влево от клипера, верстах в тридцати, виднелись немецкие и русские Кузова и другие островки, совершенно изменявшие свои очертания благодаря сильному миражу. Эти миражи в тихую погоду здесь удивительны; все верхушки островов были приподняты на воздух и обрезаны точно столы, и напоминали как нельзя лучше горы Саксонской Швейцарии. Иногда выплывают

вдруг несуществующие острова, и тогда помор говорит: «Надысь на этом самом месте острова нам блазнили»; мираж приближает предметы, и тогда говорится: «Берег завременился, острова временят». Мы бросили якорь у Песьей Луды, в 31/2 верстах от монастыря, пройдя большой Заячий остров, обставленный значительным количеством крестов всякой величины. Великий Князь пересел на катер Соловецкого монастыря, немедленно подошедший к клиперу; на веслах сидело 12 гребцов-монахов; на руле — монах с медалью за спасение погибавших; отец-наместник приехал встретить Его Высочество от имени архимандрита. Едва катер отвалил от клипера, как послышались из монастыря пушечные салюты: то заговорили архидревние пушки монастырских стен; палили тоже монахи. Наш «Забияка» отвечал издали голосами более свежими, более могучими. Испуганные непривычною пальбой, кругом нас суетливо носились чайки, утки, всякие гафки и крифки, и, как совершенная противоположность их подвижности, глядели с окрестных гранитов многие, очень многие кресты; значительная часть крестов стояла на колодах. Обогнув последний мысок ближайшего островка, мы пошли прямо к пристани, лицом к

лицу к святым вратам обители. Над гранитною набережной, в недалеком расстоянии от берега, высились циклопические монастырские стены и три выходящие на эту сторону башни: флагмачтовая, арсенальная и предельная; между них, четко выделяясь высокою аркой, прикрывающею образ Нерукотворенного Спаса, обозначались Святые Ворота. За стенами, вплотную одна к другой, теснились церкви монастырские: Успения или Трапезная, Никольская, Троицкая — Зосимы и Савватия, Преображенский собор и крайнею вправо, немного в стороне, Больничная. Золоченых маковок нет — все они зеленые; с наружной стороны Святых Ворот пестрели тремя красками, расположенными шахматами, два массивных столба весьма сложной формы, напоминающие древнеиндийские храмы Эллоры; пестрые фрески глядели на нас поверх каменной монастырской ограды со стены собора. Вся набережная маленькой гавани была обрамлена народом, большею частью богомольцами; виднелись у берега два монастырские парохода «Вера» и «Соловецкий», имеющие, как и крепость, свой утвержденный флаг. Архимандрит Мелетий, в полном облачении, окруженный орнатами и архиерейскими регалиями, присвоенными соловецкому насто-

ятелю, с монашеством, хоругвями, певчими, встретил Великого Князя при самом выходе на берег. Его Высочество проследовал, вслед за духовенством, сквозь длинные ряды богомольцев-годовиков, одетых в белые полотняные опоясанные ремнями рубахи, в Преображенский собор, где, отслушав многолетие и поклонившись святыне, перешел немедленно в смежную с ним Троицкую церковь Зосимы и Савватия.

Здесь, подле мощей обоих Преподобных, лежащих в богатых раках, под роскошною двойною сенью, обвешенною поверх ярко-пунцовою шелковою материей, подобранною фестонами, в свете многих разноцветных лампад, Его Высочество отслушал литию, а затем перешел на приготовленное ему место вправо от алтаря, где и отстоял литургию. Это архимандритское служение литургии, в воскресный день, подле мощей соловецких Преподобных, в ярком солнечном освещении, при двух хорах певчих, было особенно торжественно. Оно совершено соборне архимандритом Мелетием со всею пышностию, установленною еще царем Алексием Михайловичем в 1651 году, то есть в шапке с палицею, ручным сулком, рипидами, осеняльными свечами и ковром. Петром I в 1702 году прибавлены

были мантия с поматами — скрижалями и посохом, как у архимандрита Чудова монастыря.

По окончании литургии Его Высочество зашел в помещение архимандрита и после краткого отдыха начал обозрение монастырских древностей и достопримечательностей, сопровождаемый повсюду отцом настоятелем. Обитель полна таких почтенных и поучительных воспоминаний, что волей-неволей приходится говорить о них подробнее.

Вся святыня, вся древность монастыря сосредоточена вокруг внутреннего двора обители, обращенного в сад; густо насаженные и обрезанные березки и рябины образуют куртины, окруженные деревянным заборчиком; дорожки между них уложены плитняком, и тут, на этих дорожках, где и день и ночь топчутся богомольцы, имеет место нечто исключительно редкое, характерное. Это — монастырские чайки. Они очень велики, с гуся, и почти совершенно белы. Они налетают с весной, с Благовещения, и расселяются по монастырю. Ко времени нашего приезда они только что вывели детенышей, называемых здесь чебары: гнезда их расположены вдоль дорожек, устланных плитняком; они видны и в зелени куртин, и вне монастыря по

холмикам и кочкам на самых торных местах, на крышах, подле стен. Гнезда эти в полном смысле слова лежат под ногами проходящих, вечно толкущихся тут людей, и их старательно обходят; нам довелось видеть не только что птенцов, но и самое появление их на свет из яиц, и чайка, уверенная в своей безопасности, только покрикивает, сидя в гнезде, и, подняв голову, любуется людьми, ее обступившими. Чайки, по отзыву монахов, отлетают по осени на север. Куда? Едва ли найдется где-либо на свете что-нибудь похожее на соловецких чаек. Крик их резок и неприятен, не умолкает ни днем, ни ночью; говорят, что они очень мстительны, и человеку, их обидевшему, приходится страдать очень оригинальным, но действительно неприятным способом. Каждая из чаек имеет свое гнездо и весной возвращается непременно к нему. От монастыря они корму не получают, но обилие пресных озер и морской воды с их фауной дает им полное обеспечение. На многих из монастырских деревянных поделок, на ложечках, перечницах и т. п. фигурирует изображение белой чайки с ее серенькими крыльями, желтым клювом и темноватым хвостом.

Соловецкие острова были когда-то необитаемы. «Богоизбранная двоица» — блаженные Герман и

Савватий — перенеслись чрез морские глубины в 1429 году и водрузили крест близ горы Секирной, отстоящей ныне от монастыря на 12 верст, имеющей на самой вершине, высшей точке островов, церковь, а на колокольне ее маяк. Шесть лет жили они тут. Жена одного корелянина, покусившегося завладеть островами, назначенными Богом под монастырь, была жестоко наказана прутьями ангелами во образе двух благообразных юношей, и муж с женой были удалены с острова. На месте наказания поставлена часовня и в ней соответствующее факту изображение: ангелы с розгами в руках приближаются к сидящей на земле женщине для исполнения наказания.

Во время отлучки с острова Германа Савватий, почувствовав приближение смерти, переехал на материю землю, где принял причащение и, «совлекшись бренного тела», скончался. Скоро вслед за тем Преподобный Зосима, третий и главнейший из соловецких подвижников, будучи еще юным, раздал свое имение нищим и, проведав от бывшего в то время в Сумах Германа о местоположении Соловок, способствовавшем уединению, достиг с Германом вдвоем, в 1436 году, острова и соорудил первую келью в двух верстах от нынешнего монастыря; в полуверсте от него поселился

Герман, и только позже и уже вместе явились они основателями первой церкви монастырской на том именно месте, где обитель стоит.

Когда обитель возникла, то Преподобный Зосима послал в Великий Новгород одного из братии за антиминсом и получил его. Отсюда завязались первые связи монастыря с древним Новгородом, и усердие богатых новгородцев не замедлило жертвовать монастырю участки земли с рыбными ловлями. При третьем настоятеле, Ионе, исходатайствована была от правителей Великого Новгорода, ото всех пяти концов его, грамота на вечное владение островами Соловецкими; бесценный документ этот, писанный полууставом и снабженный восемью вислыми свинцовыми печатями, хранится в монастырской ризнице. На документе, как это водилось, нет ни года, ни месяца, ни числа, но он совершенно свеж и нерушим на вид.

Только в 1452 году посвящен был в игумены Преподобный Зосима; для этого ездил он сам опять-таки в Новгород; в 1465 году, в тринадцатый год настоятельства, перенес он с берега нетленные мощи Преподобного Германа. Новгородская вольница, не раз наносившая ущербы обители, вынудила Зосиму еще раз поехать в Новгород. Все

решительно были милостивы к нему, кроме самой Марфы Борецкой. Она велела отогнать его от дома; «затворятся двери дома этого и пуст будет двор его», ответил Зосима. Позванный обратно раскаявшеюся в своей поспешности Марфой, Преподобный был угощен на богатом пиру. Молча сидел он и видит страшное видение: знатные посадники — Борецкий, Селунев, Арзубьев и другие трое — сидели без голов. По окончании пира Марфа вручила Зосиме вкладную крепость на владение участком земли на Корельском берегу. Представшее Преподобному видение и предсказание его о запустении двора Марфы Борецкой скоро исполнились: Иоанн III, взяв Новгород, сослал Марфу, а шестерых названных бояр казнил. Дарственная запись на Корельское побережье тоже хранится в монастыре. Скончался Зосима в 1478 году. Соляные варницы обители заведены им.

Особенно покровительствовал обители Иоанн Грозный во время игуменства Св. Филиппа, впоследствии знаменитого митрополита Московского. Василий Иоаннович пожаловал монастырю несудимую грамоту. Михаил Федорович дал ему право по всем исковым делам обращаться прямо в приказ большего дворца и освободил все

монастырские подворья по всей русской земле от постоя и повинностей. В 1765 году монастырь сделан ставропигиальным и состоит в непосредственном ведении Св. Синода, а не местного епархиального начальства. В 1865 году кончилось единоличное управление настоятеля и учрежден «собор» из шести человек. Настоятельствует в настоящее время архимандрит Мелетий; счетом это пятьдесят восьмое настоятельство.

Петр I был в монастыре дважды. В 1694 году, после опасного шторма у Унских Рогов, посетив Пертоминский монастырь, прибыл он 7 июня и оставался три дня; в 1702 году прибыл он 10 августа на тринадцати кораблях с царевичем Алексием и остановился между Анзерским и Муксаломским островами. 11 августа читал сам «Апостол» и обедал за братским столом, 12-го ездил по острову на коне, 15-го пел на клиросе и того же числа с флотом отправился к Нюхотской волости, чтоб идти на Повенец.

В 1844 году посетил монастырь великий князь Константин Николаевич, в 1858 году император Александр II и в 1870 году великий князь Алексий Александрович.

Монастырь расположен на большом Беломорском острове, имеющем около ста верст в

окружности. Кругом него раскинуто пять малых островов и рассеяно много мелких, безыменных. Остров Муксалма соединен с Беломорским длинною гатью, сложенною из громадных валунов; по ним вьется дорога, словно лента по морю, по синему морю; в двух местах гати перекинуты небольшие деревянные мосты, под которыми резко обозначаются течениями, смотря по времени дня, приливы и отливы моря. Расстояние Соловок от Кеми 60 верст, от Сумы — 120, от Онеги — 180, от Архангельска — 306 верст. Острова очень обильны пресною водой, на них считают до 300 озер.

Каналы и канавки, пересекающие остров, дело рук Филипповых, этого великого человека русской истории, вышедшего из Соловок. Они соединяют многие озера и осушают местность. Почти весь остров оброс лесом, причем характер леса неодинаков: в северной части, к Муксалме, он приземист, елочки мелки или безвременно сохнут и вымерзают, и обильно проступает карликовая береза-стланец с ее мелкими, жесткими, круглыми листиками и постоянною готовностью стлаться по земле; в южной части, к Секирной горе, лес рослый, строевой, и трава пестреет различными цветами. Чтоб убедиться в том, что

значит «дыхание Севера», стоит видеть север и юг небольшого Соловецкого острова.

Центральные здания монастыря, представляющиеся внушительною громадою, окружены, как известно, знаменитою стеной, сложенною в 1584 году монахом Трифоном, довольно искусным в военном деле. Стене этой как раз 300 лет от роду, и она непоколебима своими 10-аршинными камнями и 8 башнями; длина ее одна верста; в воротах помещены модели тех кораблей, на которых приезжал в монастырь Петр Великий. Его Высочество обошел кругом всю стену; она покрыта дощаною крышею; местами приходилось подниматься и опускаться; сквозь амбразуры и стрельницы блистало море с зеленеющими островами; в башнях стоят старые пушки, голос которых мы слыхали.

В стенах этих заключены, как в каменном кольце, святыни обители, десять храмов, главным из которых является, конечно, собор Преображения Господня, построенный Святым Филиппом в 1558–1566 годах. Иконостас его пятиярусный, с древними иконами, нижний ряд которых в богатых ризах, и над ним длинным поясом тянутся раскрытые створни. Фрески по стенам новые, незнаменитые. Кроме храмов стены монастыр-

ские обнимают пятнадцать отдельных корпусов: жилых, образовательных и хозяйственных; тут же несколько часовен, и вся эта сплоченная масса оживляется и денно и нощно православными молитвами иноков и богомольцев. Вечно шумит и бьется о твердыни монастырские Белое море, но черные иноки в храмах Благовещения, на Голгофе и на Секирной, совершают такое же неусыпное, как шум моря, бесконечное, неустанное чтение псалтири. Черными и белыми являются тут и бесконечные стаи пернатых, тоже чередующихся с точностью удивительною: едва прилетают в марте месяце чайки, вороны, обитавшие всю зиму, почти все исчезают куда-то бесследно, можно бы сказать непостижимо. И все это из году в год, без изменения.

Звон монастырских колоколов разносится далеко по морю, постоянно примешиваясь к его неумолкающему прибою; всех колоколов в центральной обители 42, на прочих островах и скитах еще 43. На особой низенькой колокольне, почему-то называемой здесь готическою, в центре садика висит колокол в 72 пуда весом, называемый «Благовестник»; он подает свой почтенный голос только в особых случаях, пожалован обители в 1860 году покойным императором Александром II

и отлит из украшений, которые имелись налицо при погребении императора Николая I. На нем, кроме изображений, три очень длинные надписи, повествующие о бомбардировании обители англичанами в 1854 году.

Чрезвычайно богата и отлично устроена просторная ризница монастырская. Целый ряд различных грамот виден был на столе к приходу Великого Князя; тут были и новгородские — Марфы Борецкой, и почти всех царей наших, начиная от Василия Шуйского и Годунова. Богатейших риз и стихарей не оглядеть; самая дорогая — царя Михаила Феодоровича; подарков Иоанна Грозного очень много; роскошны мечи Скопина-Шуйского и князя Пожарского; замечательна книга «Сад Спасения» (1811 года), в которой описано житие Зосимы и Савватия «зуграфным мастерством», и число изображений в ней, пестреющих водяными красками, неисчислимо. Очень богаты многие шитые образа, Евангелия, ладоницы, кубки. Тут же хранятся различные подвижнические вериги, ризы Филиппа и Зосимы и деревянные сосуды, служившие последнему при богослужении. Его Высочество очень долго и подробно осматривал все замечательности этой почти не имеющей соперницы ризницы.

Помимо святыни и жилых помещений иноков и богомольцев и трех больших гостиниц стены обнимают замечательный цикл различных учреждений и заведений, подобных которым в их совокупности и устройстве нет нигде. Они свидетельствуют о целом ряде столетий труда и выдержки и показывают нагляднее, чем что бы то ни было и где бы то ни было, чем и как шло наше монашество в дебри и пустыни, проповедуя и слово Божье, и развитие человека. Местные люди наглядно видели упорядочение, улучшение жизни и обращались к вере. Окруженный неприветным морем, открытый дыханию Севера, на голых скалах, при чахлой растительности, на краю тех стран, где царит двухмесячная ночь, а лето является только проблесками, монастырь создал жизнь и распространил ее. Поднимались и поднимаются голоса в пользу того, чтобы монастырь устроил монашеское общежитие на Новой Земле. Несомненно, что эта задача была бы очень трудна, но не невозможна при почтенных качествах монахов соловецких, отличающих их по сегодня от времен новгородских. Что зимою на Новой Земле жить можно — доказательство в опыте, произведенном в 1878 году, когда был командирован туда на зиму штабс-капитан Тягин

и с семьею своею прозимовал. Задача была бы и под силу, и под стать Соловецкому монастырю. В настоящее время на Новой Земле, в становище Малые Кармакулы, на средства казны построена спасательная станция; там же с 1879 года поселены семь семейств самоедов, а 19 июня 1881 года состоялось Высочайшее повеление о заселении Новой Земли с пособием от правительства деньгами 350 рублей, лесом на обзаведение и правом возвратиться на родину через пять лет, но желающих не явилось.

Его Высочество обошел две гостиницы и подробно расспрашивал богомольцев, откуда они, как и почему. Большинство приходит сюда по обету, иногда целыми семьями, и могут оставаться на монастырском иждивении три дня; чтобы гостить больше, надо спросить разрешения, которое обыкновенно и дается. Значительная часть странников из наших четырех северных губерний, но были и самарские. Несколько лет тому назад были богомольцы алеутские. Характерны так называемые годовики, или вкладчики, взрослые и дети, остающиеся в монастыре на год по обету и справляющие все работы: дети отдаются сюда родителями по обету же, и для них это пребывание очень полезно — это целая

школа грамотности и мастерства. Надо заметить, что в Соловках вся жизнь этих пришлых людей, вся обстановка совершенно приспособлена к народному быту и если не элегантна, зато сыта, тепла и совершенно по сердцу народу. Монахов в обители 300, послушников 100, годовиков 400, богомольцев было свыше 1500 человек, и все это питается монастырем. Под Успенским собором помещается пекарня с чудовищными двумя печами, из которых в каждой испекается сразу до 60 пудов, в одной 180 хлебов, в другой 150. Просфор выходит в день от 1500 до 2000. В кельях монахов, ведающих пекарню, температура превышает 20°, и они постоянно живут тут и совершенно довольны. Квасу готовится соответствующее хлебам количество.

Обитель, отрезываемая от материка зимними льдами почти на десять месяцев, должна была иметь в себе все необходимое для существования, и она это все имеет. Вот простой перечень ее устройств и учреждений: училище, школы — живописная, сетная, каменотесная, слесарная, малярная, бондарная, переплетная, портная, чеботарная, мастерская глиняной посуды, кожевня, лесопильня, кирпичный завод, чугунолитейная мастерская, кузница, доки. В Макарьевской пу-

стыни белят воск; имеется девять зданий при рыбных тонях и восемь изб при сенокосных пожнях, назначенных для породистого монастырского скота. На Анзерском острове устроена спасательная станция, в которую посылается атаман и 12 послушников. Монастырю принадлежат два парохода: «Вера» и «Соловецкий». По мысли профессора Вагнера думают устроить рыборазводный отдел и предполагают разводить стерлядь, треску и мойву. Монастырский скот рослый и красивый, голов около 100, обитает в семи верстах от обители, в Сергиевой пустыни на Муксалме, посещенной Его Высочеством на второй день его пребывания. Замечательно и совершенно необъяснимо, почему в зимнем помещении скот стоит без подстилки: недостаток соломы мог бы быть легко заменен вереском и мхами, как это делается местами в Швейцарии и Германии, и монастырь не лишался бы значительной части удобрения.

Помимо святыни и строений, находящихся в стенах монастыря, есть еще шесть церквей, два скита и 18 часовен, рассеянных по островам. Из часовен следует упомянуть о двух. Одна — «Чудопросфорная» — находится в 20 саженях от ворот, на том месте, где приезжие купцы обронили

просфору, собака хотела схватить ее, но пламя, исходившее из просфоры, мешало ей прикоснуться. Другая часовня, «Предтеченская», — в 400 саженях от монастыря, поставлена над воинами царя Алексея Михайловича, погибшими во время семилетней борьбы с мятежными монахами-раскольниками во время знаменитого соловецкого сидения.

Дольше, чем в других помещениях, оставался Великий Князь в живописной мастерской и в «рухлядне». В мастерской обратил Его Высочество свое внимание на молодого послушника, стоявшего над работой; самоучка, он несомненно обладает хорошим пошибом руки. «Рухлядня» — это необозримое собрание всяких предметов одежды, пополняющаяся постоянно как из монастырской швальни, так и от добровольных пожертвований. Она расположена в четырех ярусах, соединенных деревянными крутыми лестницами, и Великий Князь обошел их все. Чего, чего только нет в этом пестром соборе одеяний, и сколько продрогших и промокших покроют они! Здесь есть овчины и кожи собственной монастырской выделки. Моржевые ремни безупречны по достоинствам; ими опоясываются монахи, послушники и годовики.

Если в живописной мастерской было не особенно много работ, то очень характерною эпопеей монастырской живописи являются галереи, соединяющие церкви с жилищем архимандрита, и парадная лестница, ведущая к нему со двора. На лестнице в натуральную величину написан целый зверинец: слон большой и малый, бурый и белый медведи, лев, тиф, олень; яблонь, лимонное и апельсинное деревья, отягченные очень крупными плодами. В галерее вслед за целым рядом изображений Архангелов и Преподобных следуют иллюстрации к преданиям и бытописаниям церкви. Много места занимают изображения странствий Феодоры в преисподнюю; вы видите Лазаря и богатого, человека с бревном в глазу и другого со спицей, гору Афонскую, Триипостась, бичевание, несение Креста; вы видите явление игуменьи Афанасии, по смерти ее, в сопровождении двух ангелов: она посетила свой монастырь, который ведала при жизни, чтобы уличить монахинь в том, что они вместо сорокадневного поминовения учинили только девятидневное; пред вами видение Пахалия, которому предстал огромный глубокий ров, наполненный преступными монахами; тут же сказание о последних монахах, ставших плотолюбцами, славолюбцами

и сребролюбцами; пред вами крест с распятым на нем иноком, изображающий подвиги и искушение монастырской жизни: слева от инока — в розовой юбке и соломенной шляпке — какая-то красавица, старающаяся соблазнить, но монах не смотрит на нее, так как он «со Христом сороспяхся». Очень типичны следующие изображения: в одном олицетворено «любите друг друга» — два ангела венчают один другого венцами и подают друг дружке руку; в другом изображение «духа христианина» — к одной ноге его привязана громадная бомба, притягивающая его к земле; в руке сердце, тянущее его к небу; в другой руке меч. Есть в галерее Иоанн Лествичник, Антоний, видящий, как дьяволы оплетают сетями землю, и т. д. Живопись исполнена в 30-х годах, никакой критики не выдерживает, но обильно снабжена подписями, и пред ними целый день толкутся богомольцы, странницы, идут объяснения, соображения, и сказывается великая набожность.

Полтора дня пробыл Великий Князь в Соловках. Трудно было осмотреть все, что следовало, но еще труднее описать все виденное.

Главные святыни Соловецкого монастыря — это святые, явленные, чудотворные иконы; мощи Святых Угодников и внушительные воспомина-

ния о главных представителях монастырского подвига и благочестия, здесь почивающих и почивавших, так или иначе связанных с судьбами монастыря.

Церкви монастырские изобилуют потемневшими от времени иконами, и многоярусные иконостасы их, в особенности пятиярусный Преображенского собора, дар Петра I, и приделы, и часовенки — все это щедро обвешано затуманивающимися от долгих годов ликами Святых. Ценные ризы из золота и серебра, многие осыпанные каменьями, обрамляют пожелтевшие и потемневшие изображения и трепетно искрятся в свете не угасающих никогда лампад и вечно возобновляющихся, тоже никогда не погасающих, дешевеньких свеч, поставленных на трудовую копейку, идущую сюда со всех концов России. Кто не знает Соловок, «святой остров Соловец», и откуда не шествуют к нему?

Главные иконы монастыря следующие: нерукотворенный образ Спасителя в святых вратах, висящий в них с начала XVII века, недоступный действию соленого воздуха; чудотворная икона Знамения Божьей Матери над западным входом в Преображенский собор, дважды пораненная английскими бомбами в 1854 году; на ризах ма-

леньких образков, продаваемых в монастырской лавке, тщательно прорезываются два кругленьких отверстия, обозначающих места поранения иконы; чудотворная икона «Сосновская», явившаяся Святому Филиппу во время его молитвы за печкой монастырской хлебопекарни.

Центральною усыпальницей главнейших представителей монастырского подвига, полною самых внушительных воспоминаний, должно считать непосредственно прислоненную к собору Троицко-Зосимо-Савватиевскую церковь и находящуюся под нею церковь Преподобного Германа. В богатых серебряных раках почивают Преподобные Зосима и Савватий, один подле другого. Из простых людей, приходящих сюда помолиться Угодникам, мало кто вспомнит, мало кто знает, каким выдающимся человеком был Преподобный Зосима, сделавший из Соловецкого монастыря то, что он есть, проживший в Соловках 42 года и имевший когда-то в Великом Новгороде встречи и разговоры с могущественною Марфой Борецкой и другими вечевыми людьми. От раки Святителя веет далекою историей нашей с 400-летнего расстояния. Резная деревянная сень оттеняет серебряные рельефные лики обоих подвижников; оба Преподобных в

поясных писаных изображениях сами созерцают эти металлические лики из двух соседних арок; три массивные древние лампады неугасаемо горят над ними; на больших подсвечниках пылают десятки постоянно возобновляемых свечей.

В находящейся под этою нижней церкви Святого Германа почивают под спудом святые мощи его. Собственно говоря, Святой Герман был первым в деле основания Соловок, так как он направился сюда с Преподобным Савватием, он направил Зосиму. Подле него, тоже под спудом, покоятся мощи Преподобного Иринарха; тут же подле почивали мощи Святого Филиппа до перенесения их в собор. Надгробные надписи, заметные кое-где, гласят о других почивших в безмятежном спокойствии.

Нет сомнения в том, что в длинном ряду памятей соловецких Святитель Филипп в его заслугах, страданиях, в его великой и бесстрастной стойкости пред Иоанном Грозным занимает первое место. Не монастырю только, но всей православной России знаком и дорог этот величавый, страдальческий облик. Филипп происходил из знатного боярского рода Колычевых и воспитывался в царском дворце в Москве. По тридцатому году оставил он царский двор и удалился в 1539

году в Соловки; через десять лет был он игуменом. Во всей истории русского монашества нет другого лица, ему подобного. Он был образцовым хозяином; дикие острова сделались благоустроенными; пользуясь своим богатством, Филипп рыл канавы, засыпал болота, создал пастбища, развел скот, устроил кожевенный завод и ввел выборное управление между монастырскими крестьянами. Если на Муксалме богат и обилен скотный двор, если по острову гуляют стадами лапландские олени, если созданы соляные варницы — всему этому причиной Филипп.

Шел восемнадцатый год игуменства Филиппа, когда царь Иоанн Грозный, обуянный всеми страстями, больной, жестокий, кровожадный, подозрительный, окруженный лютою опричниной, вспомнил о сверстнике своего детства Филиппе и призвал его на московскую митрополию. Слыхал соловецкий настоятель о том, кто такое Иоанн и против какой воли придется ему бороться, но, повинуясь царскому слову, прибыл в Москву и стал на митрополию. Кто не знает этих ярких страниц истории нашей, где противостояли друг другу лицом к лицу Иоанн и Филипп? Много ли подобных страниц в любой истории? «Благослови нас по нашему изволению», — говорит митрополиту

царь; Филипп не дает ему благословения. «Не я просил тебя о сане, — отвечает митрополит, — постыдись своей багряницы! Но могу повиноваться твоему велению паче Божьего». И кому говорит эти слова митрополит? Иоанну, в период злейшего развития его душевной болезни, говорит в церкви пред лицом всех опричников, из которых каждый — злодей!

Царь долгое время щадил смелого иерарха, но наконец назначил суд. Обвинение повели из далеких Соловок, потому что в Москве поводов не было; подкупили соловецкого игумна Паисия. Филипп был обвинен в волшебстве, разоблачен из святительства и, приговоренный к вечному заточению, поносно изгнан в Тверской Отроч монастырь. Здесь, 23 декабря 1569 года, был он задушен Малютой Скуратовым. Царь переказнил в отместку Филиппу многих Колычевых, и нет сомнения в том, что величавый Святитель был ему страшнее Курбского, говорившего далеко не правду, и ту только издалека.

В 1591 году, после того что наследник Иоаннов сослал лжесвидетельствовавшего на Филиппа игумна Паисия на Валаам, мощи Филипповы были перевезены в Соловецкий монастырь и положены в землю. Трогательным пением гимна,

на этот случай сочиненного, приветствовали монахи изможденное тело мученика; гимн начинается словами: «Не надо было бы тебе, о Святителю Филиппе, оставлять твое отечество!» В 1646 году повелением царя Алексея Михайловича мощи вскрыты и перенесены в Соловецкий собор, в 1652 году торжественно вынесены в Москву, а в Соловках оставлены только их части, лежащие в соборном храме в серебряной раке, вправо от алтаря.

Хотя память митрополита Филиппа и опустевшая усыпальница его имеют для посетителя преобладающее значение, но следует вспомнить и о другом деятеле, почивающем в ограде монастырской во дворе подле собора. Это Авраамий Палицын, келарь Троицкой лавры, один из самых выдающихся людей в годину лихолетия. Он был членом посольства, отправленного в Смоленск к Сигизмунду; во время движения к Москве Пожарского и Минина он с Дионисием, архимандритом Троицкой лавры, писал им грамоты и торопил прийти; Авраамий ездил в Ярославль для уничтожения раздоров и беспорядков в рати Пожарского, шедшей к Москве; он, наконец, был членом посольства, отправленного просить на престол молодого царя Михаила Федоровича.

Авраамий умер в 1647 году в Соловках, в которых недобровольно прожил семь лет. От Палицына осталось сочинение «Летопись о многих мятежах», за время обладания столицею поляками, — один из любопытнейших источников для исследования Смутного времени. Палицыны происходили от знатного рода новгородских выходцев, прибывших в Москву в XIV веке и носивших имя от родоначальника своего, прозванного Палицей.

Следует упомянуть, что будущий патриарх Никон принял здесь, в Соловках, иночество и прожил несколько лет. Также принял здесь пострижение и бывший царь Казанский Эдигер. Одна из надгробных надписей на монастырском дворе гласит, что тут покоится кошевой атаман сечи, Кольнишевский, сосланный сюда «на смирение» в 1776 году.

В одной из башен монастырской стены, называемой Успенскою, помещается очень любопытный арсенал монастыря, с большим количеством деревянных стрел, копий, алебард, бердышей, кольчуг, пищалей и пушек. Посещавший этот арсенал вспоминает исторические факты, в которых монастырская жизнь принимала военную окраску. Этими бердышами и алебардами во-

оружались монахи в XV и XVI столетиях против шведов; из этого арсенала взято было оружие во время раскольничьего мятежа в XVII столетии, против царских войск. Когда в 1854 году бомбардировали обитель англичане и монастырь вооружался против них, то в арсенале оказалось 20 пушек разного калибра, 381 пика, 648 бердышей, и все это пошло в ход и послужило для вооружения. Главный начальник края поручил тогда одному из офицеров, Бруннеру, осмотреть побережье Белого моря и Мурмана, строить и вооружать батареи, но только местными средствами. Таким образом, при помощи монахов и богомольцев построено было несколько батарей и в Соловках; для защиты скотного двора на Муксалме, на который зарились англичане, устроено было для действий против десанта нечто вроде конной артиллерии в три орудия, ездовыми которой были богомольцы, прислужники, а командование поручено монаху, бывшему фейерверкеру; командир этот, в монашеской одежде, командовал молодецки. Орудия из-за монастырской стены глядели грозно, но взяты они были с бору да с сосенки. Одна пушка, отлитая при царе Алексее Михайловиче, найдена была в бане, где заменяла каменку для получения пара; в других

орудиях была масса свищей и раковин; пришлось просверливать стволы. Вооружению монастыря помогали отставной коллежский асессор Соколов и отставной гвардии унтер-офицер Крылов. Следы бомбардировки имеются налицо в грудах бомб и ядер, в знаках на стенах и на иконах. Стреляли англичане плохо; лесистый островок заслонял монастырь, и большая часть бомб перелетала через и ложилась за ним в Святое озеро. В озере этом летние богомольцы считают долгом своим искупаться.

Следует напомнить несколько подробнее о раскольничьем мятеже, имевшем место в Соловках, так как это одна из любопытных страниц нашего Севера. Явное возмущение раскольничествовавших монахов началось при настоятеле Варфоломее и длилось ровно десять лет.

Огромное количество богомольцев посещают монастырь который уже век. Дней за десять до Троицына дня в Петербурге, на Калашниковой пристани, можно видеть отправление соловецких паломников. Пестрый народ этот помещается в одну, а нет — так и две соймы и двигается, буксируемый пароходом, вверх по Неве. Путь их рассчитан так, чтобы быть к Троицыну дню в Свирском монастыре, ко времени ежегодного

перенесения мощей Св. Александра Свирского из одного храма в другой. Оттуда Свирью и Онежским озером двигаются они на Повенец, чрез Олонецкий горный кряж, Масельгу, кто пешком, верхом, в телеге, а иногда по пескам на санях, приходят они к Сумскому посаду на Белом море, где ожидают их карбасы или пароходы Соловецкого монастыря.

120 верст, остающиеся им до обители, в сравнении с пройденным путем кажутся им, конечно, недалекими. Едва только завидят они в море мелькающую точкой святыню монастырскую, как приветствуют ее общим коленопреклонением и молитвой. Эта минута могла бы дать богатейший сюжет картине живописца.

Когда-то еще недавно Соловецкая обитель служила местом ссылки; сюда ежегодно командировалась особенная военная команда в составе одного офицера и 20 рядовых из архангелогородского местного батальона для различных служебных нарядов. Великий Князь произвел этой команде смотр и остался доволен молодецкою выправкой и удовлетворительным снаряжением и обмундированием.

Так как цель командирования ее для содержания караула при тюрьме утратила всякое

значение, за упразднением тюрьмы, то Его Высочество признал бесцельным дальнейшее пребывание команды на острове, и она возвращается к своему батальону. Архимандрит Мелетий, как комендант крепости сопровождая Великого Князя к команде, подал Его Высочеству почетный рапорт.

Первый день пребывания нашего в Соловках был посвящен замечательностям центральной обители, причем Великий Князь побывал решительно везде: в рухлядне, школе, в больнице, в мастерских, даже в тех кельях пекарей, в которых дышать жарко, даже в тех гостиницах, где неэлегантно; второй день был назначен на объезд и посещены: Живоносный источник, Сергиева пустынь на Муксалме, Секирная гора, Савватиева и Макарьевская пустыни и часовни. Дороги на острове очень хороши, и быстроходные монастырские лошадки мчали нас по ним очень весело. Лес южной части острова так зелен и красив, травы так густы и сочны, день был так тепл и ясен, что решительно не верилось близости Ледовитого океана. Но пройдет это короткое лето, и обитель покроется глубокими снегами, и отгородится она ото всего мира неприступными, навороченными осенним взводнем волн льди-

нами, станет тогда застывшая поверхность моря «ропачиста», и нет тогда с обителью сообщения, и отделена она от живых людей не меньше, чем умершие. Но прилетает в Благовещение чайка, час воскресения настает, и умершие возвращаются к жизни.

Глубоко светел и спокоен был вечер 17 июня, когда Его Высочество, отслушав у мощей Преподобных Зосимы и Савватия молебен, отслуженный соборне архимандритом Мелетием, и поклонившись со своими спутниками Святым Угодникам, под звуки всех колоколов монастырских, сквозь длинные ряды годовиков и народа, предшествуемый иконами и хоругвями, вдоль сыпавшихся цветов, ложившихся под ноги живым ковром, при духовном пении и криках «ура» сошел к пристани и отбыл на «Забияку». Всем чинам «Забияки» розданы были от архимандрита образки; утром на клипере монастырскою братиею отслужена была литургия. Мы снялись с якоря немедленно и взяли курс на запад, к городу Кеми.

Александр Энгельмейер. По русскому и скандинавскому северу Путевые воспоминания[4]

Посвящается Эмили Энгельмейер – моему лучшему спутнику в жизни.

[4] Примечания: 4

По русскому и скандинавскому северу. Путевые воспоминания. В 4-х частях. — М., 1902.

По России. Вступление

Я выехал от себя из деревни (Рязанской губернии) 10 июня 1898 года. План моего путешествия был таков: проехать по Сухоне и Северной Двине до Белого моря, там посетить Соловецкие острова, объехать морским путем наш Мурман, берега Норвегии, отчасти Швеции и Дании, затем вернуться северною Пруссиею домой, заехав в Поланген — прелестное морское купальное местечко в Курляндии.

12 июня я был уже в Вологде, путь до которой описывать не стану. Дорога эта слишком известна нашей публике. О красавице Волге тоже не буду распространяться. Ее приходится переезжать едущим на Вологду и Архангельск в Ярославле…

В Вологду я прибыл 12 июня вечером…

Оказалось, что завтра (совершенно случайно) отходит из Вологды в Архангельск небольшой пароход по имени «Луза» (название притока реки Юга)…

Ночь была душна. Несколько раз собиралась гроза. В квартире, затворенной на лето и накаляемой целыми неделями солнцем, где я остановился, было неимоверно жарко и удушливо,

несмотря на то, что я в ней тотчас же растворил настежь все окна.

«Ничего! Пусть! Это пока! Там, на севере, около прохладных океанов и морей отведу душу» — так думал я в те минуты.

От Вологды до Архангельска

Утром переехал на пароход «Лузу». Как отрадно сменить душные, пыльные вагоны и комнаты на пароход, с его свежестью и влагою вокруг!

На тот же пароход прибыла целая толпа вологодских семинаристов, уезжавших на вакации. Главная часть их состояла из окончивших уже свое ученье. Последние покидали семинарию совсем и направлялись домой, в разные концы нашего необъятного севера. На берегу было немало провожавших всю эту молодежь. Там виднелись и печальные женские лица.

Перед отходом парохода наш капитан пригласил всех помолиться. Пассажиры встали, сняли шляпы и начали креститься, повторяя несколько кратких слов за капитаном, испрашивавшим у Бога благословение на совершение предстоявшего нам пути.

Пароход стал тихо отчаливать от пристани. В эту торжественную минуту на капитанской рубке, где находилось немало пассажиров, а также и вся вышеозначенная партия семинаристов, раздалось дружное хоровое пение. Это запели звучными молодыми голосами юноши,

покидавшие, быть может, навсегда семинарию и город, где они воспитывались. Песня эта была торжественная благодарность Творцу, «который, как чадолюбивый отец, вскормил и воспитал их». Приблизительно подобные слова запомнились мне из того пения.

С берега махали шляпами и платками.

Все это вместе было чрезвычайно трогательно и торжественно. Пароход заработал колесами… и передо мною открылся огромный водяной путь, в несколько тысяч верст длиною…

Идем рекою Вологдою верст 35 до слияния с р. Сухоною. Кругом зеленое раздолье — леса и луга. Леса, впрочем, весьма молодые. Очевидно, и тут они не застаиваются подолгу на корню. Притом здесь полное преобладание лиственных пород. Хвойные замешиваются в них понемногу, лишь начиная верст за 75 от г. Вологды.

Вода в реке бурая, каковая бывает в боровых ручьях. Она хотя и не мутна, но напоминает цветом хвойную смолу.

Селения чрезвычайно редки и необширны. Первое село на берегу реки находится в 80 верстах от Вологды. Оно называется Нарем.

Тут мы взяли дров для парохода. Одна сажень, кажется квадратная, еловых, в 1 аршин длины

полена здесь стоит 1 р. 80 к.

Неприятно поражают соломенные крыши, которые и тут, в стране лесов, иногда попадаются.

Чрезвычайно мизерны на вид здешние ветряные мельницы. Это маленькие избушки, насаженные на конические деревянные срубы.

Впрочем, такие мельнички соответствуют тем немногочисленным и небольшим клочкам обработанной земли, которые тут виднеются там и сям среди лугов и лесных полян.

Глядя на эти зародыши хлебопашества, приходит на ум, что у человека заложена к земледелию какая-то необъяснимая, глубокая любовь, какое-то непреодолимое стремление, если даже и здесь, в этом раздолье и довольстве, он все-таки думает о нем…

Продовольствие на пароходе «Луза» было недорого. Подают часто свежую вкусную рыбу: нередко только что выловленную нельму и семгу.

Селения по берегам понемногу учащаются. Но все же между ними расстояния в десятки верст. Притом, они весьма невелики. По числу домов, хотя и прекрасных и просторных, они напоминают наши маленькие поселки.

Из немногочисленных птиц, встречаемых на

Сухоне, узнаю несколько видов куликов: чернышей, песочников и кулика-сороку. Попадаются различные чайки, утки и большие красивые гагары. Но вся эта птица встречается здесь чрезвычайно редко, сверх моего ожидания.

С движением нашим на север по лесам начинают преобладать хвойные. Из последних преимущественно ель. Чудный богатырь и красавец лесов, дуб становится все реже и невзрачнее. Грустным и задумчивым он кажется здесь, на чужбине, в своем одиночестве.

Капитан парохода, по-видимому, простолюдин, с самым элементарным образованием. Зато он чрезвычайно любезен и вежлив с пассажирами. Дай Бог, чтобы и все капитаны походили хоть немного на него в этом…

Да пошлет судьба вообще всякого преуспеяния всему нашему северному мореходству! Пора, пора проснуться всем тем богатейшим необъятным краям!

По временам останавливаемся у некоторых, более крупных сел, как например, у села Шуйского. Пароход приваливает к самому берегу. С него спускают длиннейшие трапы прямо на землю и грузят дрова. Публика в это время спешит сойти на песок, на траву и на землю, чтобы сменить под

ногами однообразное ощущение палубы…

Глядя на большие, просторные дома, на прекрасный скот, на рослых, здоровых и красивых людей — этих потомков новгородской вольницы, ее ушкуйников, которые, собственно, и заселили русский север, — с тягостным чувством вспоминаешь наши горемычные среднерусские селения, помещичьих, крепостнических районов, с их вымирающими, изможденными и отупелыми мужичонками, с их лилипутскою скотинишкою и т. д.

Дома здесь все двухэтажные. Низ занят холодным помещением, где держат провизию, рухлядь и скотину. Последняя зимою там спасается от вьюги и лесных зверей. Сараи и амбары тоже почти все двухэтажные…

Погода стоит великолепнейшая. Вечера поразительно хороши: совершенно как наши майские.

Пассажиры засиживаются поздно на капитанской вышке. Хороши вечерние зори после заката, когда река уподобляется зеркалу, в котором отражаются и небо, и берега с лесами и с селами.

Сегодня после заката я любовался игрою мелких соколов вверху, над рекою. Вероятно, это были дербники, судя по виду их. Они как будто бы наслаждались, купаясь и нежась в вечерней

прохладе. Что это не были невинные кобчики или пустельги, можно было догадаться уже по тому, что в тех частях реки, над которыми появлялись эти хищники, нельзя было заметить ни одной ласточки — их главной добычи. Хотя здесь ласточек вообще немало; в особенности часто попадается ласточка береговая, живущая в норках речных берегов.

Я указал кое-кому на любопытных маленьких пернатых хищников. Но из публики, мало знакомой с соколами вообще, думаю, немногие мне поверили в определении этих птиц.

Около некоторых селений, на берегу, близ воды виднеются строящиеся суда и барки. Все они весьма неуклюжего вида.

Несмотря на чудную июньскую погоду, пассажиры упорно и тщательно притворяют в общей каюте 2-го класса все окна…

Теряя всякий раз терпение в таких мучительных разговорах, я в отчаянии вылетел вон из каюты наверх, на мостик, и там уже наслаждался великолепным, благовонным воздухом северных лугов и лесов.

Особенно хорошо бывало там, наверху, в минуты позднего северного заката или вскоре после него. Ночи становились все светлее и светлее по

мере приближения к северу. Заря не погасала до самого рассвета…

Говорят, здесь, на реках, нередки такие туманы, что приходится останавливаться и пережидать их довольно долго. В такие минуты можно наскочить на какое-нибудь судно, хотя последние здесь чрезвычайно редки. Можно засесть и на мель и таким образом дожидаться иногда долго помощи со стороны другого, случайно плывущего мимо парохода.

14 июня

В 4 часа утра пароход наш причалил к пристани первого города на пути нашем. Это была Тотьма, находящаяся от Вологды более чем на 200 верст. Расположение городка красиво. Тотьма стоит на высоком левом берегу Сухоны. В ней около 3455 жителей. Есть несколько старинных церквей. В окрестностях — солеваренный завод. Есть свой монастырь и даже свои мощи (Феодосия Суморина). Тотьма была основана в 15 веке. Городок этот тоже претерпел многие судьбы нашей отечественной истории. Тут есть и Царев луг, и местечко Виселки, где батюшка Иван Васильевич творил над жителями свою отеческую расправу. Тут свирепствовали и его опричники. Тотьму громили и татары. Она принимала участие и в

смутный период. Сюда батюшка Петр I сослал Лопухина, брата царицы Евдокии, да и она сама попала после в здешний женский монастырь…

Мне вздумалось перейти в город оврагом, который выходит к реке. Но этот путь оказался неудобным, и я несколько позадержался, поглядывая вверх на прохожих, направлявшихся в Тотьму по мосту надо мною. Боясь однако опоздать к отходу парохода, я поспешил расстаться со своим оврагом и пустился тоже через мост в городок. Тут я повстречался с одним первоклассным пассажиром…

В Тотьме он осмотрел снаружи немногочисленные храмы и возвращался теперь на пароход…

От Тотьмы Сухона становится чрезвычайно красивой. Берега идут высокие и покрытые густыми, смешанными лесами. Последние попрежнему с преобладанием хвои, т. е. ели.

Течение реки делается весьма быстрым. Под водой множество порогов. Из реки торчат камни.

Недалеко от Тотьмы, ближе к правому берегу Сухоны, стоит в воде огромный валун, прозываемый Лось, на котором царь Петр I будто бы обедал в одно из своих путешествий к Белому морю.

Замечательный человек этот проехал и тут не раз, стремясь повсюду к своей любимой стихии

— к морю. Немало преданий об этом колоссе еще живы и тут, по многим местам нашего необъятного севера.

Кой-где на лесных полянках или по берегам реки попадаются красивые и рослые коровы с колокольцами на шее…

Утро было чудесное, безоблачное. Виды реки прекрасны и чрезвычайно живописны. Светлая лента воды блестела среди холмистых и лесистых берегов, отражая их в своих ровных струях. Иногда развертывались чудные перспективы верст на десять — на пятнадцать. Такие прямые плесы несколько напоминали великолепный Саймский канал. Только здесь эта панорама была величественнее…

В такие чудные минуты путешествия мне особенно остро чувствовалось сожаление о близких людях, которые в данную минуту не могли видеть всей этой красоты, всех этих чудных мест и вместо того теперь выносят все дрязги и хлопоты там, дома, в горячую рабочую пору.

А небо и леса отражаются в воде, будто и сами любуются собою. И горько, и грустно на душе! И чувствуешь не то угрызение, не то раскаяние, что не остался там делить житейские невзгоды…

Сухона весьма мелководна, особенно в конце

лета. Говорят даже, что уже теперь кончаются в ней хорошие рейсы. Далее пойдут простои на мелях. А дальше, к осени, езда будет совсем плоха. Да и вообще ходить тут могут лишь самые плоскодонные суда. Наша «Луза» сидит, например, в воде всего на 6 вершков, что и дает ей возможность приваливаться прямо к берегу, безо всякой пристани.

Проплывает «Луза» всего около 12 верст в час. Освещается она электричеством.

Капитан и вся команда носят ночью валенки, несмотря на лето, точно у нас в деревнях крестьяне.

В обрывах и вымоинах крутых берегов часто видны прослойки извести и гипса. Главная же масса — глинистые породы.

В одном селе, где забирали дрова на пароход, я разговорился с крестьянами и их детьми, собравшимися к пристани поглядеть на нас. Все это рослый, сытый и довольно красивый народ. Женщины стройны и с прекрасными зубами. Глядя на них, догадываешься, что среди них тут должны попадаться настоящие красавицы.

Я видел очень миловидную девочку, блондинку, лет двенадцати.

Красив и местный женский костюм, сохра-

нившийся, по-видимому, из старины. Между прочим, рубаха имеет довольно большой вырез на груди, вроде «a coeur» наших дам. Это очень идет к детям.

Из разговоров с крестьянами узнали, что дети их учатся в церковноприходских школах, которые кой-где и тут есть.

Понемногу лесная площадь, идущая вдоль берегов, сокращается. Появляются луга и даже небольшие обработанные нивки. Чаще виднеется жилье — этот враг лесов. Но пусть! Жилье здесь слишком еще редко. Оно здесь нужно, очень нужно. И без того вся проезжаемая нами богатая, привольная страна выглядит пустынною, безлюдною.

У всех пассажиров была одна и та же мысль, одно и то же соболезнование, именно о ненаселенности, о заброшенности этих громадных богатейших земель.

— Вот бы какие пустыни нужно заселять прежде всего! Вот бы какими необъятными странами нам заняться.

Такого рода разговоры не раз возникали между пассажирами. Сетовали, горевали и опять замолкали во своем истинно русском бессилии и смирении.

А край, по которому мы ехали, чем дальше, тем становился все привольнее и пустыннее…

Сегодня утром видел над лесом летающего сокола-сапсана. Его старался прогнать маленький сокол-дербник. Вероятно, там было гнездо последнего. И как ни мал он был в сравнении с могучим хищником, тем не менее его настойчивость, его смелость настолько тревожили сапсана, что тот полетел прочь.

Леса и горы раздольного севера вообще любимый приют многих видов великолепных, благородных соколов и кречетов.

Еще наши цари-охотники, как, например, Иоанн Грозный, в особенности же Алексей Михайлович, посылали сюда за ловчими птицами своих помытчиков.

Вот к вечеру развертывается перед нашими взорами самый знаменитый вид на реке Сухоне. Это именно пороги Опоки, близ села Порог. Тут извилистая река почти бурлит от подводных камней. Берега здесь достигают до 40 сажен высоты. Обрывистые, отвесные отломы их замечательны цветом и рисунком. Главная масса их красная, как кирпич, глина с белыми гипсовыми прослойками. Отвесы со своими трещинами и промывинами производят впечатление кирпич-

ных стен, каких-то крепостных брустверов.

Этими красивыми, опасными местами приходится плыть медленно и осторожно, в виду порогов. Любитель фотографий здесь может успеть наделать много интересных снимков.

Отсюда до Великого Устюга остается всего около 60 верст пути. Берега понижаются. Сама река становится шире и принимает уже физиономию наших крупных рек. В красоте и живописности она, однако, теряет.

Около 11 ч. светлой северной ночи мы увидали вдали знаменитый Устюг Великий. Весь он, с вереницею своих колоколен вдоль берега, отражался в тихой, зеркальной воде. А водяная площадь перед ним развертывалась весьма обширная; точно сама река здесь разлилась. Эту массу воды приносит сюда река Юг со своим притоком Лузою, образуя своим слиянием уже Малую Двину.

Почти через 32 часа доехали мы от Вологды до Великого Устюга. Когда наш пароходик «Луза» стал у пристани, мы должны были перейти на более крупное судно того же общества по прозвищу «Десятинный». Затем я пустился поскорее в город, чтобы немного оглядеть его перед сном. «Десятинный» должен был отойти рано утром.

Из всех наших пассажиров только один выразил желание со мною обойти город. Остальные или засели за чай, или улеглись спать на новом пароходе.

Мой теперешний спутник по городу мною был замечен еще на пароходе «Луза». Он и его товарищ, оба пассажиры первого класса, не походили на местную публику и выглядели культурными людьми.

Мы пустились с моим спутником быстро обходить безлюдный, погруженный в сон город.

Великий Устюг лежит на Сухоне за четыре версты до Малой Двины, которая образуется водами Сухоны и Юга. Основан он на Черном Прилуке в 1212 году и занимал в русской истории и в торговле видное место, почему и прозван, подобно Новгороду и Ростову, Великим.

Отсюда происходят родом Ерофей Хабаров — покоритель дальней Сибири, и св. Стефан — просветитель зырян в 14 веке. В 1613 году Устюг, под предводительством воеводы Пушкина, отразил набег поляков. Выдерживал он и набеги татар. В 16 веке, когда впервые был открыт этот путь, т. е. через Белое море и Ледовитый океан, за границу, тут завязались первые торговые сношения с Европой. Сухона посредством канала

герцога Александра Виртембергского соединила Великий Устюг с бассейном Волги и всем русским югом. Вычегда соединяет его с Азией. Здесь главные предметы торговли — хлеб, сало, лен, рогожа и т. п. Между прочим, тут работаются довольно известные в прежнее время железные шкатулки с секретными и звенящими замками и с «морозными» рисунками на отделке. В Устюге немало больших и маленьких церквей. Есть, конечно, и собор. Много видных каменных домов, магазинов и лабазов. В соборе есть и свои мощи некоего праведного (юродивого) Прокопия, пришельца, будто бы, из Германии! С его жизнью связано здесь и невероятное сказание о какой-то туче, разразившейся каменным дождем в окрестностях города. Словом, здесь есть и свое чудо. Есть свой чудотворный образ (Одигитрия). Есть мужской и женский монастырь на Соколиной Горе и т. д.

Мы оба спешно и быстро обходили город по тем улицам, которые нам казались повиднее и поинтереснее; доходили и до окраин города или оказывались вдруг в неприглядных закоулках.

В одном прибрежном овраге толпилась чрезвычайно подозрительная группа босяков, гревшихся у костра. Увидав нас, они обратились к нам с довольно красноречивым ухарством. Ясно было,

что это типичнейшая золотая рота.

Наконец, мы почувствовали немалую усталость и потребность сна. Пришлось направиться опять на свой пароход, чтобы вздремнуть немного до его отплытия, когда любопытство потянет опять на палубу, чтобы видеть картины интересного пути.

Оказалось, что наш «Десятинный», перемещаясь от одной пристани к другой, расположенной совсем рядом с первой, наткнулся на что-то и проломил себе бок под ватерлинией.

Нас уверили, что виною был камень на дне реки и что это все были пустяки. Однако «пустяки» чинили всю ночь. И все это немало замедлило отправлению парохода.

Думаю, подобным «пустякам» главная причина — малокультурность пароходного начальства и прислуги. Наш теперешний капитан, например, был на вид еще примитивнее, нежели предыдущий. Этот был в пиджаке и в сапогах по колено. На пароходе нашем находился и сам управляющий Северного пароходного общества. Этот был одет по-немецки, хотя и с простонародным оттенком. Видно было, что и образование этих добрых людей было соответственно их наружному виду. Впрочем, управляющий с пассажирами был

чрезвычайно любезен. Нельзя того же сказать об угрюмом и красноносом капитане в пиджаке.

Пароход «Десятинный» ходит только в хорошую погоду от Вологды до Архангельска. Теперь, за убылью воды, он уже не мог пробраться выше Устюга.

15 июня

Ниже, на 4 версты от Устюга, как я говорил, в Сухону изливаются воды р. Юга. С этого места река называется Малой Двиной. Юг несет с собою массу песку, чем страшно засоряет фарватер, образуя перемещающиеся мели и целые острова, разделяющие реку иногда на несколько рукавов.

Малая Двина имеет около 66 верст длины. Напоминает она собою Оку или даже Волгу в верховьях последней: ширь, низкие берега, луга, тальники, изредка небольшие леса вдали от воды. Только села еще реже и несравненно меньше волжских и окских. Есть и еще какие-то неуловимые отличия, которые только чувствуются.

Вот знаменитые мыс и село Котлас, куда проведена железная дорога от Перми через Вятку. На днях здесь был великий князь Сергей Александрович, на открытии этой дороги. Мы застали на берегу огромную деревянную арку, выстроенную для встречи великого князя. Пока пароход стоял

у пустой пристани, пассажиры поднялись на возвышенный берег, походили по нему, посидели наверху, на триумфальной арке, поглядели издали на село Котлас, на вокзал, находящийся довольно далеко от берега, на маневрировавший поезд, полюбовались с высоты этого берега на противоположный низменный берег и побрели на свой пароход. Скоро он поплыл дальше.

Во втором классе, в общей каюте ехал какой-то юноша, весьма молодой и скромный на вид. Когда он собирался пить чай, то непременно приглашал кого-нибудь из пассажиров к себе за самовар. Один раз и я попал на его чай. Мы разговорились. Оказалось, что юноша этот был сын местного богатого торговца рыбою.

Теперь он ездил по поручению отца и скупал живых стерлядей для отсылки их реками в пробуравленных барках (ради самосменяющейся воды) в города. Этим путем стерляди отсылаются отсюда, главным образом, в Петербург.

Тут же сидел с нами какой-то родственник вышеописанного юноши. Они рассказали мне, что стерлядь появилась в северных реках лишь после соединения их бассейнов с бассейном Волги каналом Александра Виртембергского. Первых вылавливаемых здесь стерлядей рыбаки бросали

как нечто неведомое и подозрительное. Волжская стерлядь, переселившись на север, стала еще лучше качеством. Теперь, конечно, ее здесь усиленно ловят, узнав ей цену. Притом ловля этой вкуснейшей и, как кажется, глупейшей рыбы донельзя проста, даже невероятна. Стоит лишь закинуть перемет, т. е. бечевку с многочисленными лесками и крючками, и притом непременно пустыми, как стерлядь начинает о них тереться (по-видимому, играя), пока не зацепится какою-нибудь частию тела. Иной раз рана бывает так серьезна, что бедная дурочка от нее погибает и не может даже считаться товаром, годным для столицы. А сколько уходит раненых стерлядей и пропадает совершенно бесполезно! Мой собеседник и амфитрион рассказал мне про одну такую погибшую на крюке рыбу, цена которой живой была бы, благодаря ее величине, не менее 100 рублей в Петербурге.

Истинно глупое животное! И истинно варварский способ ее ловли!

Вот справа, со стороны Уральского хребта, несет в Двину свои воды мощная река Вычегда. Она несколько отличается цветом от Двины, которая с этого места уже называется Северною.

Несмотря на большое прибавление воды из

Вычегды, мелей в Северной Двине не многим меньше, нежели это было до сих пор. Приходится зорко промерять воду шестом на носу парохода, чтобы не засесть. И без того по временам раздается шипение песчаного дна о кузов судна. Берега Северной Двины песчанисты и пустынны. Острова из наносного песку, поросшие тальком и травами, иногда так велики и многочисленны, что трудно угадать, где течет между ними главное русло реки.

Очевидно, что и эта могучая, величественная река подвергается грустной участи всех русских рек. Она тоже мелеет.

И все же такие громадные, многоводные реки, такое раздолье навевают мысли о величии нашего отечества в грядущем, если только оно когда-нибудь пробудится от своей летаргии.

Буфетная часть на пароходе «Десятинном», пожалуй, хуже, нежели на пароходе «Луза». Поэтому я еще раз порадовался, что имею при себе немного подсобной провизии.

Раз, после обеда, когда мы выходили на палубу, пароход наш, ни с того ни с сего, остановился среди реки и стал принимать на буксир три огромные крытые баржи с товаром.

Пассажиры поняли, какое грозит ходу судна

замедление от этого колоссального и непредвиденного груза. Я не вытерпел и стал укорять начальников. Эти слова от имени всей публики тотчас же подействовали на нашего любезного управляющего. Он извинился перед нами и распорядился отцепить несчастные, неповоротливые баржи с приунывшим на них народом.

В эту минуту появился на палубе спутник того пассажира, с которым я обозревал ночью Великий Устюг. Он сильно разгорячился, узнав, в чем дело. Назвав себя писателем Л., он начал грозить пароходному обществу печатью. Управляющий стал еще усиленнее извиняться. Баржи, впрочем, и без того уже остались неподвижными в одной из заводей реки, а мы продолжали свой путь.

Писатель Л., нарушивший свое инкогнито, один из любимейших народных юмористов. Он хорошо был знаком даже здешней пароходной публике. И его самоизобличение произвело на нашем судне немалую сенсацию.

Мой спутник по обходу Устюга, путешествующий вместе с г. Л., оказался тоже писателем-народником г. Б…

Остальные пассажиры нашего парохода были довольно бесцветного вида. Все почти эти люди, кроме двух писателей, направлялись в Соловец-

кий монастырь.

Маленький, писклявый юноша, любитель древних церквей, покинул нас, чтобы возвратиться в Петербург, еще в Устюге. Между прочим, он мне пожелал счастливо совершить мое путешествие, назвав меня «в некотором роде пионером».

16 июня

Берега Северной Двины по-прежнему низки и не представляют собою живописного интереса.

Мелководность ее несколько уменьшается с приближением к низовью.

Деревни и жилища нам встречаются чаще, нежели на Сухоне. Тип их тот же, что и там. Деревянные храмы тут, на севере, имеют совершенно своеобразную архитектуру, какую можно, помнится, найти в картинах В. Верещагина. Особенно оригинальны их многоярусные деревянные колокольни, каждый ярус у которых с зелеными полукругами или отливами вокруг, что напоминает, до некоторой степени, хвойные деревья.

Птиц по-прежнему здесь немного на этих обширных водах. Вероятно, в настоящую минуту большинство из них возится в разных затонах и болотах с птенцами. Изредка пролетит какая-нибудь чайка.

Во время остановок парохода у приречных

селений, пока забирают для машины дрова, публика обыкновенно выходит погулять, поговорить с туземцами или купить себе какой-нибудь провизии. Иногда удается на пристани получить чудную, недорогую свежую рыбу, которую можно на пароходе же и сварить (в кухне). Таким путем пропитывались отлично многие из пассажиров III класса.

Мне только не хотелось возиться со всем этим, но я вполне оправдывал третьеклассников. Они лакомились лучше нас, не брезговавших пароходной кухней только по неразборчивости и лени нашей. Раз как-то на глазах публики у одной пристани содержатель буфета купил свежей семги и стерляди…

Еще часов с 8 утра по обеим сторонам реки потянулись чрезвычайно интересные и красивые берега. То были невысокие утесы с вымоинами, с пещерами и глыбами. Все это был чистейший гипс, напоминающий своим видом дешевый мрамор. Сверху утесов лежал толстый слой почвы, на котором рос лес. В пещерах иногда перепархивали какие-то птицы. Быть может, то были совы — любительницы укромных мест.

Мы поразились, когда узнали, что такое необъятное добро, как гипс, валяющийся по обеим

берегам реки в неизмеримом количестве, не имеет здесь никакого сбыта.

У одной пристани, где мы вышли, чтобы выкупаться, мы вблизи осмотрели глыбы гипса, которые легко царапались и крошились даже в руках.

В воде оказалось 10 градусов Реомюра, и нам нельзя было долго наслаждаться купаньем.

Температура воздуха в тени была 19,5 градусов Реомюра.

Говорят, что тут по лесам попадается немало лиственницы. Как кедр есть истинный царь и краса хвойных лесов; так лиственница есть настоящая краса и царица в них. Как тот дает великолепный материал человеку, отдавая ему свою жизнь, плоть и кровь; так же красавица лиственница есть лучшее строевое дерево для жилищ и для кораблей. Но и последняя, как и драгоценный кедр, быстро исчезает из наших северных лесов. Пора серьезно подумать об их сбережении и восстановлении.

С парохода тщательно рассматривая состав местных лесов и вглядываясь в них вблизи при остановках и прогулках, я так и не разыскал ни одной лиственницы здесь.

Кедр же начинается, кажется, только с Ураль-

ского хребта и распространяется на восток. Его тут совсем нет.

После приблизительно двадцативерстного протяжения гипсовых утесов, берега Северной Двины опять делаются совершенно плоскими и неживописными.

Часов в 6 утра остановились у какой-то пристани грузить дрова. Кое-кто из нас вышел погулять по лесу. Наволочно, сыро и жарко. Перепадает дождь.

Я опять старался в лесу разыскать хоть одну лиственницу, но по-прежнему не нашел. С парохода иногда мне казалось, что я вижу ее в бинокль, но, быть может, и это было лишь заблуждение.

Тут я сорвал несколько местных цветов, следуя общей сентиментальности туристов, и даже послал из них два-три домой в письме.

С правой стороны показалась река Пинега, с ее гористыми и густолесыми берегами. Вот это уже поистине водный путь в лесную глушь с медведями, рысями и росомахами! Вот именно лесное и звериное царство!

Впрочем, недалеко от устья Пинеги на ней виднелись барки, нагруженные лесом. Видно и тут, в самом зверином царстве, человек тоже начал

расхищать лесные богатства. Впрочем, здесь, при этой подавляющей массе леса, на его расхищение почти не жаль и смотреть. Сознаешь, что если не убавится несколько площадь сплошных лесов, то невозможно будет зародиться здесь ни жилью, ни земледелию, ни вообще какой бы то ни было культуре.

Проехали деревню Усть-Пинегу и село Вавчугу, известное кораблестроением при Петре I.

Тут пришлось услыхать, что знаменитый о. Иоанн Кронштадтский родом с реки Пинеги, что он ежегодно ездит сюда, в свое родное село, на собственном пароходе.

Собственный пароход, о котором было говорено уже и в печати!..

Наконец, с левой стороны Северная Двина образует отдельное русло или, скорее, рукав, Курью, омывавший целую волость Куростровскую, родину нашего великого Ломоносова, с городом Холмогорами в ней. За дождем было еле возможно различить далеко стоящие от Северной Двины Холмогоры (помнится, верстах в 5). Они виднелись нам как сквозь туман или тюль. Однако, внимание наше невольно неслось неудержимо туда, к этой колыбели русского великана. Взоры всех приковывали к себе эти чуть видные Хол-

могоры.

Миновав рукав Курью, мы увидели маленький пароходик, засевший на мель. С разрешения пассажиров, которые почувствовали сожаление к беспомощному положению едущих на увязшем пароходике, наш «Десятинный» взял его на буксир и, шутя, совлек с мели на глубокий фарватер. Карлик-пароходик опять оживился и заплавал, точно выпущенная в воду рыбка.

Как повеселели два-три человека, ехавшие на нем!

Наконец, сегодня после третьих суток пути по рекам от Вологды, мы прибыли в полночь в знаменитый и известный всему миру торговлею (лесом и рыбой) Архангельск.

Проливной дождь, позднее время и почти полное отсутствие извозчиков на пристани «мирового города» вынудили большинство из нас остаться до утра на пароходе. Я был из числа этого большинства.

Г. Архангельск основан приблизительно в 1587 году. Теперь он имеет около 20 917 жителей. Площадь земли всей губернии его, величайшей в Европейской России, приближается к 754 744 кв. верстам или 78 500 000 десятинам. Эта площадь превышает каждое из остальных европейских

государств. Она в 1,5 раза больше Франции, например.

Город Архангельск расположен узкою полосою вдоль правого берега Северной Двины на много верст. Пароходные пристани находятся на этом же берегу. Вокзал железной дороги расположен на противоположном острове — Глуховском.

Сам город разделяется условно на три части. Первая часть — Верхний конец. Вторая часть, или Центр города. Третья часть, или Немецкая слобода, где живут преимущественно иностранцы. Далее к северу идет селение или слобода Соломбала.

Еще с реки бросается в глаза несколько крупных храмов с синими куполами и с золотыми звездами на них. Разумеется, между ними и собор. В нем хранится большой деревянный крест, чрезвычайно грубой и старой работы, самого Петра Великого, сделанный им в память своего избавления от бури в Унских Рогах (в Унской же Губе).

По набережной виднеется длинный бульвар и огромное здание таможни. В городе есть публичный музей, публичная библиотека, губернаторский дом, памятник Ломоносову, городской банк, окружной суд, домик Петра Великого и т. д.

Петр I то любил Архангельск, то теснил его в

пользу Петербурга. Екатерина II и Александр I старались поднять его. Александр II опять на него гневался за что-то. И так колебалась судьба этого важного города, пока опять наконец время не взяло свое и не начало восстановлять его. Теперь, с проведением железных дорог от Вологды и от Вятки до Котласа, его будущее обеспечено.

Архангельск

17 июня

Утром стали пассажиры собираться в город. Извозчиков на пристани оказалось еще меньше, нежели вчера, т. е. их теперь не было совсем. Пришлось двинуться пешком при помощи носильщиков. Пассажиры, направлявшиеся в Соловецкий монастырь, решили отправиться в одно из подворий этого монастыря, в каковых обыкновенно богомольцы здесь дожидаются рейсов на острова Соловецкие.

Нас уже предупреждали на пристани, что придется подождать дня два-три прежде, нежели удастся ехать в Соловки. Монастырский пароход только что ушел, а пароход товарищества Архангельско-Мурманского пароходства отойдет туда еще не скоро.

Пристань беломорских пароходов Архангельско-Мурманского общества находится рядом с пристанью, где остановился наш «Десятинный». (Это пристань Северного пароходного общества). Пароходы же океанские, того же вышеупомянутого Архангельско-Мурманского товарищества, имеют пристань уже в другой части города, в

той, которая называется Соломбалой. Там же находится пристань и монастырских пароходов и таковое же подворье № 2 для богомольцев.

Монастырское подворье № 1 находится около пристани малых пароходов, делающих рейсы в Соломбалу и обратно каждые 1/2 часа. В то время как мои спутники разбрелись по подворьям и по гостиницам, я застрял тут, на этой пристани, рассчитывая собрать кое-какие сведения о пароходах и подворьях. Ничего нужного, однако, не узнал. Здесь тоже ничего не знают точного об отходе парохода в Соловецк; тем более что монастырские пароходы правильных рейсов не придерживаются, а сообразуются лишь с накоплением пассажиров.

Вся эта неопределенность заставила меня направиться в гостиницу. Их всего две в Архангельске: «Троицкая» да «Золотой якорь». Есть еще «Беломорские мебелированные комнаты». Я остановился в лучшей из них — «Троицкой», где, кроме того, остановились и оба писателя.

С одним из них, г. Б., я пустился осматривать пешком город. Его спутник, г. Л., плохой пешеход, остался в гостинице за своими рукописями, собираясь после этого объехать город на извозчике. Этот литератор поражал меня своим трудолю-

бием. Он и на пароходах, и тут, в гостинице, большую часть времени проводил за писанием своих путевых заметок. Я даже задавал себе не раз вопрос: когда же он делал свои наблюдения для этих заметок?

Осматривая город, первым делом я справился в самой конторе Архангельско-Мурманского товарищества о пароходах, плавающих по Белому морю и по океану до Норвегии.

Оказалось, что только один рейс в неделю направляется прямо на Соловецкие острова, другие же их суда заходят туда, лишь обойдя прежде часть берегов Белого моря. Из архангельско-мурманских пароходов вообще заходили на Соловецкие острова лишь два парохода. Лучший из последних считается «Ольга». Кроме того, с Соловков необходимо вернуться обратно в Архангельск, чтобы пересесть на океанские пароходы. Поэтому мимоездом посетить Соловецкие острова, направляясь в Норвегию, было невозможно. Получалась теперь для меня непредвиденная потеря времени. Но оставить неосмотренными Соловки я не решался.

Эта же непроизводительная трата времени на неизбежное возвращение в Архангельск не дозволила мне объехать и берега Белого моря,

что представляет, по уверению бывавших там, чрезвычайно интересное путешествие. Последнее, конечно, взяло бы у меня минимум неделю.

Обходя город и знакомясь с его жизнью, мы решили, что все это далеко не так интересно, как можно бы ожидать. Впрочем, будущность Архангельска еще впереди. Начну свое описание этого города с гостиницы, где мы остановились («Троицкой»). Она невзрачна и невелика, впрочем, дешева и прилична. Там недурен ресторан с органом, играющим русские песни, «жестокие романсы» и прочее тому подобное. Обед из 4 вкусных и сытных блюд стоил дешево. Квас подают чудесный, вкусный и холодный, что было очень кстати в тогдашнюю жаркую погоду.

Есть в городе крохотная публичная библиотека. Там мы перечитали еще раз описание Соловков В. Немировича-Данченко, восторженные места которого придавали мне еще более охоты побывать на этих островах.

В музее, тоже миниатюрном, видели принадлежности местных промыслов, чучела рыб, птиц и животных, встречающихся в этих странах.

Из рыб здесь находится в спирту одна такая, которой до сих пор никто еще не мог определить! Кто же были эти определители?

Из птиц я обратил внимание на чучело норвежского кречета, названного на ярлычке почему-то балобаном. Уж не такого ли определителя нашла и вышеупомянутая неизвестная рыба?

Интересно чучело ястреба-тетеревятника слетка, т. е. экземпляра в поре первого года жизни. Фон оперения его был чрезвычайно светел. Не об этом ли виде писал старик С.Т. Аксаков в своей статье об ястребиной охоте? Были в коллекциях музея и чучела дербников, соколов сапсанов и более южных видов: пустельги, кобчика и сокола чеглока.

Мне сообщил сторож музея, что все эти чучела и определения их сделаны одним местным препаратором, неким г. Вальневым.

Памятник Ломоносова, о котором я уже говорил, представляет его совершенно раздетым и с подобием какой-то простыни на плечах, с маленьким крылатым гением, имеющим арфу в руках и стоящим у его ног на одной коленке. Памятник этот — произведение академика Мартоса; он совсем не привлекателен, чтобы не сказать больше.

В городе всего одна аптека, один книжный магазин. Оптика нет. Мне пришлось, например, чинить очки в каком-то универсальном мага-

зине.

Мои спутники-учителя, направлявшиеся, как я уже говорил выше, также на Соловецкие острова, еще с утра переехали с вещами прямо на ломовом извозчике в Соловецкое подворье в Соломбале. Теперь мы с писателем г. Б., расхаживая по городу, встретили их. Пошли все вместе обедать в нашу гостиницу. Вытащили из его номера писателя Л., который еще сидел за своими письменными работами, без жилета, перед вечным, остывшим самоваром.

Обедом в гостинице «Троицкой» все мы остались довольны. После обеда мы четверо, кроме плохого ходока г. Л., отправились в Соломбалу на перевозном пароходике.

Эти пароходики имеют на Соломбале особую пристань, близ Соловецкого подворья, к пристани которого им приставать будто бы монахи не дозволяют. В конторе билетов этих соломбальских пароходиков меня уверяли даже, что монахи не раз встречали их публику дубьем, если та осмеливалась только высадиться на монастырскую пристань. Однако при мне ничего подобного не случалось, хотя мы и не раз причаливали и к этой монастырской пристани.

Сойдя в Соломбале, мы первым делом посетили

Соловецкое подворье и комнату наших спутников-учителей. Потом обошли набережные и пристани, где видели один из двух океанских пароходов, именно лучший из них «Николай II». Осматривать его внутри почему-то не пожелали мои компаньоны. Пришлось это отложить до другого случая.

Находившись по улицам Соломбалы под чрезвычайно жарким, хотя уже и вечерним солнцем, мы стали думать о прохладе и питье. По совету прохожих и их указаниям, пошли мы в некую крохотную гостиницу «Англию», скорее же трактирчик.

Подходя к этому учреждению, мы встретили на улице несколько девочек лет 10–12, одна из них, блондиночка, была замечательной красоты. Чудные волнистые волосы обрамляли прелестное фарфоровое личико. Голубые прозрачные глазки глядели шаловливо и весело. Наши молодые люди отпустили несколько слишком откровенных похвал, когда я обратил их внимание на эту маленькую красотку. Та ничуть не сконфузилась. Видимо, похвалы были не внове ей.

Мы вошли в гостиницу, поиграли там на бильярде, выпили неимоверное количество квасу, вследствие нестерпимой жары, и пустились

осматривать Соломбалу и город.

Слобода или, скорее, предместье Соломбала отделяется от Архангельска речкою Кузнечихою и отстоит от центра города верст на 5.

Кто-то рассказал нашим молодым спутникам-учителям, что у речки Кузнечихи находятся притоны известного сорта. Так как они все время только и толковали, только и вспоминали, что трактиры и подобные учреждения, то и стали настаивать теперь на проверке вышеупомянутых слухов. Я возражал, указывая, что в подобной пригородной трущобе с полуразвалившимися избами нечего ни разыскивать, ни осматривать; я напоминал, что в городе мы еще не обошли всего; я говорил, что мы, наконец, с г. Б. семейные люди, и т. д. Ничто не помогало. Наши педагоги тянули нас настойчиво разыскивать «Le Logi del Abramo», как называют итальянцы подобные приюты. Г. Б. согласился на эти розыски ради изучения местных нравов. Я уступил с большою неохотою, не ожидая ничего интересного от ходьбы по грязной, убогой пригородной окраине.

Мои спутники скоро добились от прохожих требуемых указаний и нашли искомое. Это оказались жалкие полусгнившие избенки, впрочем, такие же, как и все остальные дома там. У окон

виднелись несчастные убогие девицы, зазывавшие нас и просившие угостить их «пивцом», «чикаладом» и т. д. Впечатление получалось ужасное, подавляющее.

Даже наши молодые чудаки почувствовали некоторое охлаждение к подобным прелестям. После этого мне, наконец, удалось отвлечь всю нашу компанию от дальнейшего разыскивания подобных «мест нетерпимости». Я посоветовал педагогам после, отдельно позаняться соответственными розысками где-нибудь в городе, но во всяком случае не в таких трущобах, откуда мы только что теперь выбрались.

К удивлению всех нас, потом оказалось, что на весь большой приморский город Архангельск ничего иного, кроме ужасной Кузнечихи, в смысле урегулированной проституции, не было.

Рассмотрев после всего вышеупомянутого поближе двух своих спутников учителей, я стал подзывать на Соловецкие острова усиленно и обоих писателей, тем более что оба они сожалели о скудости наблюдений, полученных ими в I классе от Петербурга до Архангельска. Но уговорить их продолжать путешествие до Соловков мне не удалось. Оба отговаривались необходимостью вернуться в столицу. И моими дальнейшими

спутниками остались двое вышеописанных педагога.

Расхаживая по Архангельску, мы заметили, что, несмотря на страшную июньскую жару, окна в домах были далеко не везде выставлены. В мыслях возникало подозрение в нелюбви архангельцев к свежему воздуху. Этим антигигиеничным образом жизни здешних жителей хотелось объяснить ту массу бесцветных, анемичных, часто усыпанных веснушками лиц, каковые встречаешь на каждом шагу в Архангельске. Особенно женские лица отличаются вышеописанными принадлежностями, хотя иногда черты их и привлекательны.

Домик Петра I (каковой, конечно, есть и здесь) — почти уже никуда не годная маленькая хибарка, над которою, в виде футляра, выстроен простой сарай. Помнится, у этого домика нет ни дверей, ни даже сторожа. И мы вошли в него и вышли опять совершенно свободно, не встретив там никого.

Осматривали, между прочим, и рыбный рынок. Там много интересного. Особое внимание обращает на себя рыба палтус (гигантская разновидность камбалы), которою можно иногда прикрыть целый обеденный стол. Интересна

зубатка с крапчатой кожей, годной для разных изделий и напоминающей шершавые кожи змей, ящериц и т. п. Видели рыбу, снаружи совершенно розовую, напоминающую видом окуня. К сожалению, названия не запомнил. Масса соленой и свежей семги красуется повсюду великолепными колерами своих чешуи и мяса. И, наконец, бесчисленные экземпляры известных во всем мире сельдей и трески наполняют все, что только лишь можно наполнить на рыбном рынке здесь.

Из местных предметов торговли, годных как сувениры с дороги, можно называть рога оленей и лосей, всевозможные звериные шкуры и изделия из них.

Из последних мне особенно понравились меховые пимы и туфли. Женские и детские туфли выглядят очень красиво. Впрочем, на хорошенькой ножке ведь все красиво, даже портянки и лапти, а безобразную ничем не украсишь, как бы ее ни украшать. Помню, видел раз, как даже крупные брильянты на туфле никак не могли украсить такую ступню.

Однако, каковы здесь ножки, мне убедиться не пришлось. Личики, как я уже сказал, не особенно-таки привлекательны.

18 июня

Писатель Л. оказывается большим любителем покушать и попить. Впрочем, он очень много пишет, не расставаясь целый день с самоваром. Писатель Б. сообщил о себе, что он работает в день лишь только три часа утром.

Сегодня дождь и прежняя жара. Сносно себя чувствуешь в чечунче лишь в пасмурные дни. В солнечные и такой костюм не помогает.

Ночи совершенно светлы, так что ни свечи, ни спички не нужны. Впрочем, незаходящего солнца в Архангельске не бывает.

Сегодня и я переселился в Соломбалу, в Соловецкое подворье, боясь опоздать как-нибудь на монастырский пароход, тем более, что наступил уже срок его возвращения из монастыря в Архангельск за новою партией пассажиров, быстро возраставшею в ожидании его в подворье.

В этой серой толпе богомольцев, стекающихся со всей России, немало уродов, калек и припадочных самых разнообразных видов. И все это несчастное, горемычное человеческое стадо верит твердо, что там, среди морских волн, на таинственных, удаленных от грешного мира островах, пройдут все их горести и печали.

Я поселился на подворье, в одной комнате с двумя знакомыми педагогами из Риги. Нашим

четвертым сожителем по комнате был какой-то рослый, худощавый старик в поношенном сюртуке. Это был секретарь судебного следователя, человек необыкновенно угрюмый и фанатичный. Он верил и в ад, и в бесов, и в чудеса и немало возмущался нашими либеральными разговорами; в особенности меня он, кажется, положительно возненавидел.

Не зная, что делать от скуки в ожидании отъезда на Соловки, мы приходили в дурное настроение все четверо и, точно нарочно, дразнили угрюмого, злого фанатика.

Время идет невообразимо скучно и медленно в монастырском подворье. Парохода нет как нет. По номерам носят без конца кипящие самовары — эту обыкновеннейшую утеху русского человека во всех его житейских невзгодах. Прислужники все монахообразны: они либо в монастырских синих посконных кафтанах, либо в подрясниках, какие бывают у служек. Волосы у них длинные. На голове скуфейки. Обращаясь к ним, их называют «отец» или «брат такой-то». Нам служил симпатичный и довольно красивый отец Николай.

От нечего делать мы трое порядком налегали на самовары и утруждали ими нашего о. Нико-

лая. За чаепитием именно и возникали у нас те разговоры, которые приводили в отчаяние и в озлобление нашего угрюмого фанатика, который с каким-то упорным изуверством верил и в провалы во ад, и в глаголание образов, и в разные другие чудеса.

Напившись чаю с семгой или с другими закусками, что обыкновенно здесь, в подворье, заменяет разные трапезы, так как никакого подобия трактира тут нет, мы обыкновенно шли куда глаза глядят. Иногда же ездили на пароходиках в «Троицкую» гостиницу, чтобы как следует пообедать. Ходили на окраины города или еще куда-нибудь убить время.

Город со всех сторон упирается в тундры и в леса, которые видны даже в конце его улиц. Местами к городу примыкают и чудесные лужайки с прекрасными травами, среди которых изредка и сиротливо проглядывают даже одинокие клевера, которые здесь — чужеземцы. Между прочим, мне удалось осмотреть подробнее упомянутый уже мною океанский пароход Архангельско-Мурманского товарищества «Николай II». Он действительно был великолепен. Особенно роскошно выглядело помещение I класса. II класс был также недурен. III, конечно, плоховат, хотя и

он также давал возможность укрыться в общей каюте от холода и ветра и полежать там на деревянной койке.

Жаль, что мне не представлялось возможности возвратиться из Соловков к отходу этого великолепного парохода в Норвегию. На мою долю, по расчетам, приходится рейс второго по качеству парохода того же общества, именно «Ломоносова».

Пошел от скуки еще раз в маленькую соломбальскую гостиницу «Англия», где мы вчера играли на бильярде, как я уже говорил. Там заказал свежей трески и еще чего-то, не помню. Меня поместили в верхних отдельных комнатах, где была и квартира самих содержателей гостиницы.

Там, наверху, было тихо и безлюдно. Несколько старых убогих газет не могли привлечь к себе моего внимания до той минуты, пока заказанная мной еда не появится на столе. И я предался грустным мечтаниям, расхаживая по пустым комнатам и коридору верхнего этажа.

Вдруг передо мною, как видение, промелькнула та прелестная малютка, о которой я уже говорил, — малютка, которую мы встретили вчера на улице, направляясь сюда в гостиницу играть

на бильярде. Она была теперь с распущенными кудрями и босиком. Глазенки ее плутовато и с любопытством глядели на незнакомца.

Я заговорил с милым ребенком. Она без застенчивости отвечала мне. Оказалось, что ее родители и были содержателями гостиницы «Англия».

Милый, прелестный ребенок! Как я бы расцеловал тебя всю — и ручки, и ножки твои!

Но вместо этого я спросил, как ее зовут. Оказалось — Улей. Спросил ее, учится ли она где. Оказалось, что учится в городском училище. Еще спросил я ее о чем-то, любуясь ею, как бы я стал любоваться случайно пролетавшим мимо прелестным мотыльком или очаровательной птичкой. Малютка, казалось, понимала отчасти восхищение перед нею задумчивого незнакомца. По крайней мере, ее умные глазенки блестели самодовольно и весело. «Бедная прелестная Уленька! Что-то с тобой будет со временем, — думалось мне. — Вырастешь ты, конечно, умницей и красавицей и в результате всего этого выйдешь замуж за какого-нибудь мелкого, полутемного торгаша или трактирщика, который будет пьянствовать и колотить тебя. Наконец, заест тебя проза пошлой, постылой жизни».

Как-то раз возвращался я из города в Соломба-

лу. На пароходике среди пассажиров III класса были какие-то два маленьких оборванца, измазанные в саже и, по-видимому, иззябшие. В этот день было пасмурно, и их закопченные лохмотья, конечно, не грели. Оказалось, что это два брата лет по 10. Ездят они ежедневно из Соломбалы в город с 6 часов утра, чтобы там обивать накипь пароходных котлов. Жара и грязь в котлах ужасные. Освещают свою работу эти маленькие труженики ручными керосинками. За ними всегда кто-нибудь наблюдает из старших, чтобы не случилось с ними какого-нибудь несчастья. За эту тяжелую работу детям платят по 50 коп. в день. Несмотря на все это, маленькая ватага, как рассказывали мне собеседники, ничуть не тяготятся таким делом. Нередко, под оглушительный стук молотков по черным внутренностям котлов, ребятки хохочут и поют.

Все это мне передавал старший из двух братишек. Он был некрасив, страшно черен от сажи и буквально в лохмотьях. Но, несмотря на все это, он был чрезвычайно симпатичен. Ответы его были умны, как у взрослого. Он, очевидно, порядком иззяб, и теперь старался согреться, припадая грудью и животом к котлу пароходика в трюме, скрывшись туда от ветра и дождя.

Невольно, по закону контраста, я вспомнил красотку Улю в ее обеспеченной жизни, и мне стало еще больше жаль маленького собеседника.

На прощанье я дал обоим мальчикам немного мелочи. Они меня за это поблагодарили рукопожатием. Это было так забавно и мило.

Между прочим, во всем Архангельске я не нашел ни одной купальни. Нечто подобное находится лишь перед таможней и принадлежит ей. Поэтому, удовлетворяя своей неутолимой потребности в купанье, я должен был кой-как и кой-где окунуться в Северную Дивну.

19 июня

В подворье толпа богомольцев все растет и становится все нетерпеливее. При одном появлении какого-нибудь дымящегося судна вдали уже все бросаются к окнам или на пристань в надежде на желанный монастырский пароход.

Надоело, надоело нам пребывание в подворье, среди нечистоты, клопов, сутолоки, невежества, суеверия, припадков и уродов.

Мы, сожители одной комнаты, начинаем тоже друг другу надоедать. Угрюмый, свирепый старик-фанатик, очевидно, теряет всякое терпение, слушая наши смелые разговоры. Он даже решается уехать раньше, именно с пароходом

Архангельско-Мурманского товарищества. Вероятно, хочет убежать от нас, от трех маловеров.

Наконец, появился давно желанный монастырский пароход по имени «Соловецкий», с золоченым крестом на передней мачте и битком набитый публикой. Толпа была так велика на палубе, что все судно накренилось на бок, когда пассажиры его подвинулись к борту в сторону пристани. На пристани у нас стояла тоже огромная встречная толпа.

Говорили в публике, что задержался пароход в пути туманом да еще порчею компаса.

Когда пассажиры сошли с судна, я да мои два компаньона отправились на его борт, чтобы оглядеть его. Грязь, сор, запах и вообще беспорядок были там поразительные. И я не без колебаний остался при прежнем намерении — ехать все-таки с этим пароходом, а не с мурманским. Только ради ближайшего ознакомления с Соловецким паломничеством мог я себя к этому теперь принудить. Как мурманский, так и монастырский пароход отойдет завтра. И это соблазнило многих из нас предпочесть более удобное и приятное путешествие на мурманском пароходе.

Из наших речных спутников остались дожидаться отхода «Соловецкого» лишь казанский

священник с женою, дьякон да двое старых москвичей-супругов.

Еще скучнее тянутся последние сутки в ожидании отхода судна.

От нечего делать наблюдаем омеление дна вокруг острова Моисеева, который находится перед нашими окнами на Северной Двине, шагах во ста от набережной подворья. Это обмеление происходит два раза в сутки и есть следствие приливов и отливов в Белом море, до которого отсюда верст 60. Переезжали в ялике и на самый остров Моисеев, где находится большая паровая лесопильня, каковых десятки по берегам на всех окраинах Архангельска. Там, на острове, я выкупался с лодки.

Это было очень кстати, так как температура воздуха в тот день, даже в 11 часов вечера, была еще 19 градусов Реомюра. В воде же все время градусов 12–13.

К моему удивлению, мне пришлось объяснить двум моим педагогам, почему на севере не заходит солнце. Положим, они были филологи, преподаватели, один — греческого, другой — русского языка, но все же трудно было предположить, что им потребуется подобное «маленькое толкование».

Как-то раз, гуляя в гавани океанских судов, я разговорился с капитаном и штурманом одного английского грузового парохода, который прибыл сюда и стал рядом с мурманским «Николаем II». (Мачты и трубы судов океанской пристани виднеются даже из окон подворья.) Оказалось, что весь уголь, которым здесь отапливаются наши и чужие морские пароходы, привозится из Англии подобными грузовыми пароходами (кажется, по преимуществу, из Гуля) как балласт. Здесь, в Архангельске, он стоит 13 коп. пуд. На его же место английские суда грузят лес для обратного пути.

Без угля невозможны морские рейсы, в особенности, по безлесным мурманским берегам. Да и вообще никакое топливо не может сравниться по компактности и интенсивности с углем. Его забирают в один раз на громадные рейсы. Дрова и нефть приходится забирать гораздо чаще. Лучший английский уголь зовется в продаже bock-head.

Когда я узнал, что Архангельско-Мурманское товарищество делает два рейса за лето на Новую Землю (в начале июля (10-го) и в конце августа), то пожалел не на шутку, что не включил и эту экскурсию в свое настоящее путешествие. Уверяют,

что пути туда всего 1,5 суток. Хотя бы и немного больше, зато была бы исполнена интереснейшая экскурсия, каковая потом, пожалуй, уже и не удастся в жизни…

20 июня

Наконец, сегодня с утра задымился пароход «Соловецкий». Его приготовляют и убирают. Значит, готовятся к отплытию. Может быть, он действительно пойдет сегодня, как нам обещали монахи — смотрители подворья. В 3 часа дня назначен отъезд. Говорят, однако, что этим обещаниям верить нельзя.

Погода захолодала и насупилась. На огромном корпусе морского ведомства выкинут черный флаг, предсказывающий бурную погоду на море. Пассажиры с тревогою посматривают на этот зловещий знак с балкона подворья.

Тем не менее все с нетерпением столпились у пароходной конторы в ожидании продажи билетов.

Я вошел в самую контору.

Оказалось, что монастырское начальство не брезгует даже принуждать пассажиров брать билеты более дорогих классов, нежели они сами того желают. Я долго спорил и насилу настоял на том, чтобы мне выдали билет II класса, хотя

сначала и отговаривались неимением таковых билетов в кассе. Мне всячески старались навязать билет I класса.

Ехать в III классе на монастырских пароходах человеку самому нетребовательному положительно покажется отвратительно. Хотя «Соловецкий» сам по себе и прекрасное судно, построенное в Финляндии, но запущено до невероятия. Поэтому в тесный II класс здесь набивается публики много и из той, что, при иных условиях, осталась бы в III. О картине же III класса, набитого битком и в трюме, и на палубе сотнями бедного, серого и убогого люда, и говорить нечего. Эта часть пассажиров находится здесь вполне в положении перевозимого скота, о котором никто нимало не заботится. Там сидели, стояли и валялись люди, кто как мог; под ногами пресмыкались припадочные и ползали дети.

Еще раз вспомнилось мне не без грусти об архангельско-мурманском пароходе. На этот раз отходил из них именно лучший — «Ольга», который теперь и прошел мимо наших глаз в 1 ч. дня.

Зато я теперь увидел, путешествуя на монастырском судне, многие мельчайшие стороны Соловецкого паломничества, которому ежегодно

подвергаются десятки тысяч русских простолюдинов.

Некоторых бедняков допускают к переезду бесплатно. Есть ведь и такие паломники, которые доходят пешком до Архангельска из южных частей России!

Наступило 3 часа дня. Наш пароход все еще стоит. Толпа богомольцев на берегу и на пароходе все растет. Повсюду грязь, убожество, суеверие и страдания!..

Тяжко и нехорошо на душе. И вся жизнь и само путешествие кажутся печальными и безотрадными, как безотрадны и печальны погода и сумрачная водная даль, которая расстилается теперь перед глазами.

Вот перед отходом парохода в домовой церкви подворья совершили напутственный молебен. Потом следует краткая молитва на самой палубе… И в путь!..

Не без ругани и не без угрюмых мин наш капитан-простолюдин отдавал приказания, когда мы отчаливали.

Командование его вниз, в машину передавалось по циферблату, которому там, внизу, соответствовал такой же другой циферблат. Звонок в этом приспособлении призывал маши-

нистов ко вниманию.

Соответственные передвижения стрелки на циферблатах капитанского мостика и в машинном трюме показывали: малый ход, вперед, полный ход, назад и т. д.

Сначала пароход обогнул островок Моисеев, потом вошел в рукав Северной Двины — Маймаксу и стал тихо пробираться между плотами и судами, которые тут снуют по фарватеру. По берегам потянулись без конца многочисленные лесопильни. У их пристаней стояли и грузились бесчисленные суда, они собрались сюда положительно со всего света. Тут были и немецкие, и итальянские, и английские и, кажется, даже испанские пароходы, грузившие лес, уже распиленный и обделанный на доски и на бруски.

Много-много этого леса развозится отсюда по всему свету.

Но вот река понемногу как будто очищается от построек и пристаней. Пошли берега и острова с лугами, болотами, тальниками и лесами.

Все эти места, как говорят, сущее эльдорадо скотоводства и охоты. Сена и дичи тут девать некуда!

Наконец, Северная Двина расширяется и развертывается в огромную водяную равнину. Это

не то ее устье, не то уже море. Здесь фарватер обозначается уже черными и красными маяками. Вот маяк Мудьюнский. Вот Северо-Двинский маяк, или простое судно на якоре. А вот еще маяк — Жижгинский.

Равнина вод все расширяется и раздается перед нами. На горизонте она уже давно слилась с небом. Там уже настоящее море с его раздольем. Начинается маленькая качка. Белое море выглядит угрюмой, печальной водяной пустыней там, на горизонте. Небо над ним еще печальнее, еще угрюмее…

Как я уже сказал, капитан парохода был угрюмый мореплаватель (из поморов). Тут еще был на пароходе эконом. Это был человек в монастырской скуфье. Субъект этот пристально и подозрительно вглядывался в каждого пассажира, точно разыскивал каких-нибудь мошенников среди них.

Прислуга на пароходе была тоже в монашеских шапках и кафтанах. Последнюю публика одолевала самоварами, так что один из слуг, мальчик, начал говорить пассажирам дерзости. Впрочем, это был совершенный новичок из деревни, каковых на службу монастырю отдают часто крестьяне, по обету или из бедности.

Ночь провели неудобно и беспокойно. Все с нетерпением ждали утра, т. е. прибытия и освобождения от парохода.

Пока позволю себе привести несколько элементарнейших сведений о Белом море. Такие отступления — неизбежное зло при описании всякого путешествия.

Белое море, собственно, — огромный залив Ледовитого океана. Окружено оно лесистыми и безлюдными берегами. Называются они так: берег по Канинскому полуострову зовется Канинский берег, от р. Мезени до Северной Двины идет Зимний берег, от Северной Двины до р. Онеги — Летний берег, от Онеги до реки Кеми — Поморский берег, далее до р. Кандалакши — Карельский берег, от р. Варзухи до мыса Святого Носа — Терский берег.

Границею Белого моря и океана считается прямая линия со Святого Носа на Канин Нос.

Вода в южных частях Белого моря, благодаря большим рекам, изливающимся в него, образующим огромные устья или заливы, довольно мутна. Чем дальше же на север, тем она прозрачнее и чище. У Святого Носа, например, т. е. на границе уже с океаном, она синевата и прозрачна в глубь футов на 35.

Соленость ее весьма значительна.

Приливы и отливы благодаря близости того же океана громадны и стремительны. У Трех Островов, например, высота уровня воды во время приливо-отливов достигает 20 с лишком футов. Благодаря таким сильным и бурным колебаниям уровня, течения в Белое море чрезвычайно сильны. У мыса Орлова таковое достигает, например, 4,5 узла в час (приблизительно около 6–7 верст).

Белое море сплошь не замерзает, и по нем поддерживается, хотя и скудно, сообщение почти круглый год. Вокруг островов, в особенности Соловецких, скопляются зимою огромные массы льда, которые временами прекращают туда доступ.

Белое море чрезвычайно важно для нас не только как сообщение с заморскими странами, но и само по себе, как место процветания многих замечательных промыслов. Берега его представляют богатейший запас лесной торговли, а воды его — неиссякаемую сокровищницу рыбного и звериного промыслов.

Здесь добывается громадное количество трески, наваги, сайды, сельди, камбалы, корюшки, семги, кумжи, зубчатки, палтуса, сорт камбалы и многих других.

Из птиц замечательны многие породы чаек,

чистик, свистун или кайра и драгоценная «гавка», или гага, которую здесь бабы бьют на гнездах ради их вкусных мяса и яиц и ради их ценного пуха.

Не правда ли, страшное вандальство, напоминающее владельца курицы с золотыми яйцами?

В Норвегии эту ценную птицу свято оберегают и пользуются ее пухом только из гнезд, когда гага уже выведет своих птенцов. Поэтому ценная птица эта в Норвегии и ручна, и многочисленна. У нас же она быстро убавляется в числе.

Из морских зверей в Белом море водится много тюленей нескольких видов. Водится также несколько видов дельфинов или китообразных, именно белуха, белое, как снег, животное, и хищная касатка. Касатка водится собственно в Ледовитом океане, где нападает не только на дельфинов, тюленей и т. п., но даже и на китов, собираясь для этого в стаи.

Все вышепоименованные морские звери составляют предметы промысла береговых жителей.

Начало судоходства или, точнее, торговли Белого моря с Европою относят к 1553 году, когда один английский корабль был занесен бурею в устья Северной Двины.

Тут же позволю себе привести некоторые, тоже самые неизбежные, данные относительно Соловецкого монастыря и принадлежащих ему островов.

Соловецкие острова составляют целый небольшой архипелаг. Самый большой из них — Соловецкий остров. На северо-восток от него — остров Анзерский. На юго-восток — два острова Муксалмы. На юго-запад — два Заяцких острова. Все эти острова гористы и лесисты. На них, кроме того, много болот и несколько сотен озер (почти до 500). Принадлежат они сполна монастырю по разным дарственным грамотам.

Основание монастыря на главном острове относят к 1429 году. Основателями его были преп. Зосима, Савватий и Герман. Первые двое пришли из Валаамского монастыря, а последний — из Тотьмы. Боярин Федор Колычев в 1537 году постригся здесь в монахи и наречен Филиппом.

Впоследствии он был здесь настоятелем и много способствовал процветанию и благоустройству обители. Некогда друг детства Иоанна Грозного, потом московский митрополит и, наконец, безжалостно загубленный мученик, он и мертвым вернулся на время сюда, пока его мощи не были, наконец, увезены окончательно в Москву.

В Анзерском скиту принял монашество в 1634 году московский священник Никита, впоследствии знаменитый патриарх Никон.

В 1667 году Соловецкий монастырь не хотел принять новых богослужебных книг, исправленных при Никоне и Алексее Михайловиче, и подвергся за это осаде, или «Соловецкому сидению».

Петр Великий три раза посетил знаменитый монастырь.

В 1854 году монастырь выдержал бомбардировку английских кораблей по случаю Крымской войны.

Император Александр II тоже был там один раз.

Сколько важных исторических личностей, явно или тайно, были сосланы либо заточены в Соловецкий монастырь, о том лишь знают его стены одне.

Кажется, ни одна обитель монашества, ни Афон, ни Троице-Сергиева, ни даже Киевская не могут сравниться по важности и чтимости в народе с Соловецкою.

Соловецкие острова

Утро было туманное и холодное. На палубу я вышел только в 6 часов. За туманом нельзя было заметить первого, появляющегося перед глазами едущих от Архангельска острова, именно Анзерского. Можно было только различить Заяцкие острова, мимо которых идет пароход, уже окончательно подъезжая к главному Соловецкому острову. Заяцкими зовутся они по имени одной породы тюленей, которых промышленники называют морским зайцем.

Но вот показался из тумана и самый большой остров Соловецкий (25 верст длины и 16 ширины). На нем у самого берега виднеются купола и храмы, обнесенные крепостною стеною. Солнце, всходя из-за монастырских стен, освещало мутную утреннюю картину и быстро разгоняло ночной туман. И картина эта вырисовывалась все отчетливее перед нашими глазами. Виднелся перед нами все яснее и яснее знаменитый остров, о котором слышишь столько рассказов в народе, и куда нередко обращается мысль и фантазия вообще русского человека.

Вот стали явственно видны контуры всей оби-

тели с ее белыми колокольнями под зелеными куполами и с ее серою крепостною стеною вокруг.

Вот видны у берега и разные другие постройки.

Это гостиницы, сараи, погреба и зоологическая станция. Вот наконец раскрылась перед нами и сама тихая пристань, облицованная камнем, или гавань Благополучия, как она здесь называется.

Пароход останавливается у самой главной монастырской гостиницы, Спасо-Преображенской, каменный белый корпус которой находится на левой стороне гавани, при входе с моря. Это здесь лучшая гостиница, предназначенная для самой чистой публики. Так как в нее толпилась и не самая чистая публика, то приезжих у входа сортировали монахи по наружному виду, задерживая для этого их без стеснения у запертых дверей.

Бедная, серая публика большею частию еще от пристани была уведена в две другие, второстепенные гостиницы, из которых одна виднелась на противоположном берегу гавани.

Вот, наконец, и нас, т. е. лучше одетых, стали осматривать и рассортировывать монахи. Из этой толпы, стоявшей в нетерпеливом ожидании у дверей запертой Спасо-Преображенской

гостиницы, отобрали опять овец от козлищ, из которых последних повели еще в другую, более скромную обитель, по сорту 2-й номер. После этого нас наконец впустили в прекрасное, светлое, просторное здание сорта 1-го.

Мне с двумя педагогами дали хороший номер окнами на гавань и на монастырь. Хотели было к нам втиснуть еще четвертого жильца, но нам удалось от него отделаться…

В нашем номере было четыре кровати или, скорее, дивана, с грубыми холщовыми простынями и наволоками на подушках. Все это выглядело довольно грязно и неизящно. Но что же было делать? зато монастырь содержит и кормит каждого прибывшего богомольца в продолжение трех суток, ожидая лишь за это добровольное с его стороны приношение в кружку.

Все, конечно, принялись тотчас же за самовары. Мы, разумеется, также. У всех приезжих была припасена с собою всякая, преимущественно рыбная, закуска. У нас тоже. По большей части даже за чаем все здесь едят семгу, стараясь ею налакомиться на будущее время. Впрочем, у меня с собою был и сыр, еще из Вологды. И тут я убедился, что это самая прочная и выгодная закуска в дальней дороге.

Объедки мы кидали в окна чайкам, тысячи которых уже встречали нас еще задолго до нашего въезда в пристань. Здесь же, в монастыре, они ходили под окнами гостиницы, еле уступая дорогу прохожим. Жадно хватали они объедки, даже кожу и кости от соленой рыбы, и уносили все это детенышам, которые лежали поодиночке или партиями на траве, тут и там. Соловецкие чайки — это самый обыкновенный сорт морских крупных чаек, белых с серо-пепельной спиной. Их здесь такая масса, что крик и помет их достаточно надоедают. Птицы эти не только не боятся людей, но еще вступают с ними в драку из-за детенышей.

Еще перед чаем я отыскал места для купания и потащил в воду с собою обоих педагогов.

Не знаю, купались ли остальные пассажиры в Святом озере за монастырем, как это тут принято. Мы с педагогами выкупались в прекрасной, чистой, соленой и холодной морской воде в одном близлежащем тихом заливчике. Температура в воде была 9 градусов Реомюра, а в воздухе 21 градус Реомюра в 8 часов утра.

После чая мы поспешили вон из гостиницы, для того чтобы начать поскорее осмотр выдающихся пунктов Соловецких островов.

Не буду пространно описывать столько раз описанного подробно знаменитого Соловецкого монастыря и его островов. Скажу лишь вкратце о главном, что здесь мне наиболее бросилось в глаза.

Через Святые Ворота крепостной стены богомольцы входят в монастырский двор. Здесь, у ворот находятся лавки с продажею образов и других предметов воспоминаний. Тут же продаются и изображения Соловков, но довольно плохие и дорогие. В святых воротах подвешены модели тех двух кораблей, на которых сюда приезжал Петр I.

В монастырском дворе чаек еще больше, нежели за оградой. Тут они со своими, уже крупными, но еще не летающими птенцами, похожими цветом и видом на стрепетов, положительно кишат под ногами.

Главный храм или собор называется Преображенский. Над западным входом его находится образ Знамения Божией Матери. Его зовут «Раненою», так как он пробит английскою гранатою.

Тут у дорожки сложена целая пирамида из неприятельских гранат. Над этою пирамидою выстроена маленькая колокольня «царская», с небольшим колоколом, подаренным обители

императором Александром II. Надпись над ядрами гласит о чудесном избавлении обители от «агарян», с прибавлением, что бомбардировкою не были ранены ни люди, ни животные, ни даже птицы и т. п. О бомбардировке этой можно узнать кое-что и от уцелевших здесь еще очевидцев.

В верхнюю, главную часть собора ведут лестницы и коридоры, сплошь расписанные примитивной живописью самого мистического и грубого характера. Тут ад, огонь, цепи, черти, черти и черти без числа и во всех видах. Помню — один даже изображен в виде неуклюжей барышни в розовом платье и в соломенной шляпке, стреляющей из лука в сердце какого-то мужчины. Вообще живопись тут донельзя наивна и неуклюжа. Перед подобными изображениями даже на лицах крестьян я подметил улыбку.

Главный храм, или собор, велик, с иконостасом в несколько ярусов (какие вообще бывают в старинных русских храмах). Смежная церковь — Троицкая, пристроена вплотную к собору. Она содержит в себе роскошную сень, или нишу с богатыми серебряными, вызолоченными раками пр. Зосимы и Савватия. Тут горит масса разноцветных лампад. Над раками находится тройной образ Иисуса, Иоанна Богослова и Божией Мате-

ри, называемый Деисусом…

Около рак, на особом отгороженном местечке слушает службу изможденный и, по-видимому, уже притупившийся ко всему окружающему схимник. Одежда его вся испещрена крестами и другими священными изображениями.

Сюда ясно доносится из соборного храма, отделенного от церкви с раками лишь одною дверью, некрасивое, грубое и даже довольно фальшивое пение монастырского хора.

Это ужасное пение поражает и даже оскорбляет слух непривычного. Никак не рассчитываешь его встретить здесь таким несовершенным, в то время как наше русское церковное пение столь прекрасно, столь своеобразно и имеет такой богатейший выбор чудесных произведений. Оказывается, что подобное плохое пение даже умышленно поддерживается в Соловецком, самом нашем простонародном, по преимуществу даже крестьянском, монастыре. Монаху, де, неприлично стремиться к искусному и красивому пению. Это-де не согласно с суровостью и простотою требований монашеского отречения.

Библиотека здешняя бедна и почти роздана вся. Она передана главным образом в Казанскую духовную академию. Осталось здесь лишь около

4000 рукописных и старопечатных книг.

И эти драгоценности здесь оказались ненужными: не к лицу они малограмотным здешним монахам, от которых тут требуется только грубый физический труд да беспрекословное послушание.

Под Троицкою церковью помещается церковь пр. Германа. Там находятся и мощи, под спудом, этого святого, который был сотрудником Зосимы и Савватия. Коридорами, размалеванными повсюду все тою же примитивною живописью во вкусе Апокалипсиса, проходят в ризницу и в библиотеку, о которой я только что говорил.

В ризнице немало драгоценностей и исторических предметов. Между прочим, тут находятся и вериги, которыми себя истязали разные местные праведники. Эти вериги охотно на себя надевают, хотя бы только на один миг, богомольцы из народа, пока они осматривают ризницу.

Отсюда недалеко коридорами и до огромной общей трапезной, где будем обедать по окончании обедни.

Внизу, под главными корпусами, находится хлебопекарня. В ней показывают камень, служивший некогда изголовьем св. Филиппу, который здесь когда-то и сам трудился за хлебами. Тут

находится образ «Запечной Божией Матери», явившийся ему во время его послушания в этой пекарне.

Наружи, у стены собора, находятся под особыми плитами две скромные и незаметные могилы. Одна из них содержит останки деятеля междуцарствия Авраама Палицына. Он был иноком Троицко-Сергиевой лавры и сподвижником Минина и Пожарского. Другая плита лежит над последним запорожским атаманом Кольнишевским, сосланным сюда в 1776 году за непокорность.

За оградою монастыря находится уже упомянутое Святое озеро, упирающееся в лес, покрывающий вообще почти весь этот и другие острова. Вода в озере темна (говорят, железистая) и не привлекательна вообще. Последнее станет весьма понятным, если вспомнить, что в находящихся тут купальнях омываются телеса миллионов богомольцев; кроме того, тут же моют и провизию, и белье. Представьте себе, что вода из этого-то озера проведена и в кухню, и в пекарню, и повсюду в жилье.

На берегу этого же Святого озера находится и монастырский лесопильный завод.

Переходя на другой берег залива, или гавани

Благополучия, минуешь сухой док, единственный тогда не только на всем беломорском, но и мурманском побережье. Тогда было так, да и теперь, кажется, то же. На той стороне гавани находится старая деревянная гостиница «Архангельская», простреленная английскими ядрами. Там же находится и биологическая станция.

Что касается монастырской ограды, то это настоящая крепостная стена, окружающая монастырь, — длиною в версту и шириною в несколько сажен. Тут, говорят, проходили монахи крестным ходом во время английской бомбардировки. Воспоминанием этого события служит образ, находящийся около стенной пробоины, и само ядро, пробившее ее, т. е. стену. Тут, на широкой монастырской стене, устроена и местная Оружейная палата — это целая храмина с разным старинным оружием, собранным в ней.

Соловецкий монастырь прежде был, до известной степени, и крепостью. В нем когда-то была и артиллерия, и даже стрельцы. Сами же настоятели обители считались прежде и комендантами крепости Соловецкой.

При монастыре, в его ограде, есть и неотъемлемая принадлежность всех крепостей — тюрьма. Это та страшная и знаменитая Соловецкая тюрь-

ма, о которой ходит столько фантастических сказаний и где томилось столько важных узников.

В тюрьмы пускают по особому от настоятеля разрешению. Мы удовольствовались лишь тем, что поглядели сквозь решетки в нижний этаж и его казематы. Вид этих страшных сводов, камер и темных коридоров был достаточно ужасен и при таком осмотре.

За последнее время тюрьмы Соловецкого монастыря служили заточением преступникам против веры, как то: сектантам, раскольникам, святотатам и т. п. Теперь они считаются упраздненными.

Но каково было наше удивление, когда мы узнали, что теперь в этих тюрьмах содержат каких-то двух несчастных сумасшедших монахов за то только, что они мнят себя высшими духовными лицами и всех благословляют…

Остается добавить, что у монастыря есть разные мастерские, необходимые для его хозяйства: портная, сапожная, швальня, столярная, купорная, сетевязальная и рухлядная — род кладовой с платьем и обувью для монахов и с предметами костюма и путешествия для приезжих. Тут можно купить и чемоданы, и сапоги, и портсигары, и

бумажники. Последнее все делается из тюленьей кожи.

Продаваемое здесь, однако, недешево. Впрочем, мне починили чемодан и выстирали белье, назначив за то и другое, «что я благословлю дать», как мне смиренно сказали принесшие эти мои вещи монахи.

В Соловецком монастыре монахов человек 200. Кроме того, разных послушников и добровольных работников, по обещанию, из религиозных убеждений, человек с 1000. За лето перебывает там тысяч до пятнадцати богомольцев.

Ценность монастырского имущества исчисляется несколькими миллионами. Ежегодный доход монастыря составляет тысяч двести рублей.

При монастыре есть школа грамотности, школа живописи, иконная и позолотная школы, или мастерские. Есть мукомольный завод, лесопильня, как говорено, и т. д.

После обедни, когда окончание ее возвестил трезвон, мы поспешили в трапезную, куда уже направлялись монахи и молящиеся. Мы порядком проголодались. Да и любопытство было возбуждено рассказами и описаниями монастырской еды. Особенно интересовались ею мои спутники,

педагоги, которые откуда-то наслышались о ней много хорошего.

Вообще оба эти молодые человека, выкупавшись, хотя и почти насильно, со мною в холодном море, почувствовали какое-то радостное настроение. Они всему теперь радовались и собирались даже пожить при монастыре, как на даче, и ради морского купания, недели две. Подобное пребывание здесь приезжих допускается иногда, с особого разрешения настоятеля.

Для моих обоих вышеупомянутых спутников оставался только неразрешимым один вопрос — это именно вопрос о доброкачественности монастырской еды.

Наконец мы вошли в довольно уже многолюдную трапезную. Монахи и богомольцы стояли тут толпами у своих столов. Все ожидали прихода настоятеля.

Огромная трапезная со сводами вся разрисована духовною живописью евангельского, апокалиптического и церковно-исторического содержания. Посредине трапезной находится громадной толщины колонна, которая поддерживает своды этого помещения. У этой-то колонны мы трое и заняли места за одним из нескольких длинных столов. Столов было еще много там, и,

как мы заметили, с разной сервировкой. Она была кое-где получше и почище, а кой-где и похуже, и погрязнее.

Пришел настоятель. Облекли его в особое одеяние. Помолились. Сели за столы. Настоятель поместился со старшими монахами за особый, остальные монахи сели за отдельные от богомольцев столы. Один монах взошел на возвышенный аналой и принялся читать Житие Святых.

Столы, как уже говорено, были накрыты различно, в смысле чистоты и парадности. Сообразно наружному виду, богомольцев сортировали несколько монахов и рассаживали по лицезрению за разную сервировку.

Мы трое выбрали себе стол средней парадности. Убранство нашего стола состояло из грубой скатерти и из длинных и довольно нечистых полотнищ холста, служивших для утирания губ, и разложенных пока прямо поверх приборов. Под этими холстами находились оловянные тарелки, простые ножи, вилки и алюминиевые ложки.

На каждые четыре прибора была поставлена ендова с довольно невкусным квасом. Оказывается, что и квас, сообразно разряду столов, подают здесь разного достоинства, как и самую еду. Даже

пшеничный хлеб подается не на все столы, вдобавку к ржаному хлебу.

Особенно ужаснуло меня то, что еду подают здесь в общих чашах, в которые все залезают своими ложками, т. е. едят из них сообща, как это делается у наших крестьян. По этому случаю я всякий раз торопился захватить себе на тарелку порцию кушанья, еще непочатого. А так как тарелка была у каждого из нас всего только одна для всей трапезы, то под конец на ней получилась такая melee parfaite, что только химическим анализом можно было бы угадать после обеда, что на этих тарелках перебывало. Квас тоже все хлебали из общей ендовы, каждый своей ложкой.

Такие неприглядные условия еды в монастырской трапезной тяжелы для мало-мальски культурного человека. Впрочем, избранным, как я уже говорил, подают и чище, и лучше. Я видел, как одному генералу лесного ведомства подали и чистую салфетку, и стеклянный стакан и т. п. Сама еда, несмотря на постное время, была весьма недурна. Меню обеда того дня было следующее: 1) соленые сельди, 2) ботвинья с рыбой, которую каждый сам приготовляет тут из общей ендовы и из поданных к столу ее составных частей, 3) похлебка из свежей сельди, 4) пшенная каша с

постным маслом.

От времени до времени по звонку врывается в трапезную толпа мальчишек, которые, громко стуча сапогами, разносят кушанья по столам. Серенькая публика большею частью сама ходит в кухню за едою.

Василий Немирович-Данченко говорит в своем описании Соловков, что будто бы мальчики в локонах, хорошенькие, как девочки, разносят кушанья по трапезной. Мы же видели только грязных, нечесаных, некрасивых, тупых на вид и убого одетых мальчишек в трапезной и вообще повсюду в монастыре, где эстетика и чистота, по-видимому, находится вообще в загоне. Особенно неприятно было видеть, когда по окончании нашей еды эти мальчишки бросились убирать со стола и начали класть тайком в необъятные свои карманы куски и крошки недоеденного и вообще уцелевшего хлеба. По-видимому, предмет особого вожделения представлял для них белый хлеб. Между тем шла торжественная послеобеденная молитва.

Глядя на такую красноречивую процедуру, невольно приходит на ум, что жизнь в Соловецкой обители не должна быть очень сытной для ее обитателей.

После обеда, который привел моих молодых путников в недоумение, хотя они преблагополучно кушали даже из общих чаш, мы пошли к запряженным линейкам, которые развозят путешественников по скитам, пустыням и другим здешним достойным видения местам.

Мы решили начать осмотр с самых дальних окрестностей. Поэтому избрали на этот раз линейку, отправлявшуюся к Анзерскому острову.

Дороги по островам везде чудесные. Проложены они по каменистым холмам, поросшим лесами. В котловинах и долинах множество озер, тундр и вообще болот. Немало здесь прекрасных покосов по луговинам.

По дорогам кой-где попадаются каменные церкви-часовни, обыкновенно знаменующие собою какие-нибудь события из местного прошлого. Линейка проезжает 15 верст до противоположного берега главного острова, где находится поселение, или становище Реболда. Тут живут монахи и рабочие, ради ловли тюленей, белух и т. п. Они же перевозят на баркасах через пятиверстный пролив, или Салму, на Анзерский остров.

День был жаркий, и мне стало очень тепло даже в моей чечунчовой паре.

В проливе, однако, дул сильный и свежий ве-

тер.

Из голубоватой, чистой и холодной воды высовывались кроткие, миловидные тюлени с головами мокрой собаки. Вдали показывались белые дельфины, или белухи.

Перевозчики Реболды рассказывали нам кое-что о ловле морских зверей, т. е. белух, тюленей и пр. Все это зверье здесь ловится рыболовными сетями. «Тюлень, говорили они, прост и попадается в невода легко. Попадется и затомится в сетях (это значит — захлебнется от невозможности вздохнуть воздухом). А который еще жив, того стукнешь по голове палкой. Он и готов. Слабы они на это».

Я не позавидовал такой охоте на миловидного, кроткого и смирного зверька.

Белухи здесь реже встречаются и еще реже попадаются. Перевозчики-промышленники при переезде и указали нам в проливе этих животных. Их сначала трудно было не смешать с морской пеной. Они лениво и медленно выныривали спинами, вероятно, прихватывая воздуха для дыхания и греясь на солнце. По временам какая-нибудь из белух выставляла из воды весь свой китообразный, горизонтально расположенный хвост. Тогда наши перевозчики уверяли, что она

пошла вглубь и уже не покажется. Они говорили, что такая же повадка и у китов.

На той стороне, т. е. уже приставши к Анзерскому острову, мы прошли 2 версты пешком, оставшиеся нам, до самого Анзерского скита. Известен этот скит тем, что здесь принял монашество московский священник Никита, будущий патриарх Никон. Находятся тут и мощи под спудом преподобного Елеазара, основателя этого скита. Скит собою ничего особенного не представляет. Это церковь, вокруг которой находятся жилища монахов и хозяйственные постройки. Словом, это целый маленький монастырь. Таковы приблизительно здесь и остальные скиты, иногда называемые пустынями.

Отсюда мы поехали дальше на других линейках, которые заспанные монахи долго и нехотя нам запрягали. Теперь мы направились в Голгофо-Распятский скит, до которого оставалось всего 4 версты. Скит этот помещается на горе, куда восходят по деревянной лестнице. С колокольни храма открывается великолепный вид на окрестность, на острова и на море. Лесистые холмы Анзерского острова, с его долинами и озерами представляют прелестную панораму. Бледная синева моря окаймляет живописную картину до

горизонта.

В Голгофо-Распятском скиту ведется самый строгий образ жизни в сравнении с остальными здешними скитами. Здесь идет чтение псалтыри день и ночь без перерыва. Мы застали такое чтение в здешнем храме. За аналоем стоял нестарый и даже неизможденный монах. Он с любопытством обернулся на нас, оторвавшись от своего угрюмого занятия.

На возвратном пути мы, несколько мужчин, решились выкупаться на берегу Анзерского острова, пока к лодкам подходили и подъезжали дамы и остальная публика. Температура воды была такова, что мы выбегали из нее, как ужаленные, лишь только пробовали в нее погрузиться. Такой нестерпимой и низкой температуры воды во время купанья я даже в Ледовитом океане после не испытывал.

Проезжая по лесам, между прочим, мы увидели близ дороги белую куропатку, которую никак не удавалось прогнать или даже спугнуть. На возвратном пути мы увидели лисиц, не убегавших от экипажа далее 10–15 шагов.

Как известно, на Соловецких островах строго запрещена ружейная охота. Зато ловля сетями, капканами и другими способами, практикуется

свободно там как промысел. Например, ловят тенетами и бьют на мясо (для вольнонаемных рабочих, которых тут очень много) даже и кротких и почти ручных северных оленей. Когда узнаешь все это, то всякая идиллия исчезает, и прославленная доверчивость диких обитателей священных островов легко объясняется лишь коварными и тайными способами их уничтожения. Бедные бессловесные не догадываются, что их тут губит все тот же страшнейший и безжалостный враг всего живого на земле — человек.

Жаль, что хоть здесь, в этих местах отречения и подвижничества, не процветает настоящее человечное покровительство и охранение животных! Это было бы так уместно, так прекрасно здесь. Между тем теперь взаимное доверие диких животных и человека только обманное, показное, какое-то театральное. Оно основано лишь на лжи и поддерживается на Соловках, конечно, ради воздействия на невежественную массу богомольцев.

Полной охраной и неприкосновенностью здесь всюду пользуются лишь глупые, докучливые крикуньи и пачкуньи — чайки. Они заселяют здесь и дворы, и задворки монастыря, и скитов, летают, кричат и пакостят даже на людей. От них

стоит изрядная вонь вокруг жилищ.

В поездку на Анзер мне пришлось познакомиться с тремя дамами из Вологды, знакомыми моих тамошних родных. Благодаря этому наши дальнейшие поездки по островам стали оживленнее.

Я говорю «наши», хотя мои педагоги тотчас же отстали от нашей компании, как только вологжанки в нее вступили. Очевидно, они предпочитали другой сорт дам. Впрочем, место педагогов в нашей маленькой компании заменил один господин из Казани. И дальнейшие обозревания окрестностей мы уже производили впятером.

Вообще настроение двух педагогов быстро понизилось после первой трапезы в монастыре, которая оказалась далеко не таковою, как они ожидали. И проекты их пожить на Соловецких островах ради дачного отдыха и купанья разлетелись как дым. Они окончательно и совсем приуныли, когда и монастырские пироги из рыбы (семги и палтуса), заказываемые в монашеской пекарне, оказались далеко не паштетами и даже не кулебяками.

22 июня

Сегодня ездили в Савватиеву пустынь на тех же линейках. Дорога опять прекрасная. Опять всюду

леса. К лошадям и к людям пристают крупные комары и овода. Последние чрезвычайно цветисты и красивы здесь. Над озерами и болотами иногда пролетают гаги, галары и утки. Голубей здесь почти нет. Несколько сизарей видно в главной Соловецкой обители. По скитам их совсем не заметно. Вероятно, среди лесов им не дают развестись сокола и ястреба, которых немало, конечно, там по горным ущельям.

Есть вороны, но довольно редки. Говорят, этих птиц отгоняют чайки, зная их как опасных врагов чужих яиц и птенцов. Вороны есть тоже около монастыря. Этих чайкам прогнать не под силу, хотя те и другие одного роста. Ворон слишком зол и силен.

Савватиева пустынь находится в 12 верстах от монастыря. Туда едут мимо знаменитой Секирной горы с длинной, многоярусной деревянной лестницей на ней, которая ведет вверх, к Вознесенскому скиту. Храм его стоит на самой вершины горы. Вид этой горы и скита, кажется, самый характерный среди соловецких видов. Однако, пока мы здесь не остановились, решив осмотреть прежде Савватиеву пустынь, которая находится немного далее.

Савватиева пустынь основана когда-то пр. Сав-

ватием и Германом. Здесь есть хорошая, большая церковь и двухэтажный корпус для монахов.

В корпусах и кельях всюду тишина. Кой-где бродят сонные, старые монахи, доживающие свой век. Молодые и сильные из них здесь повсюду работают и вообще при деле. Праздности и тунеядства на Соловецких островах, по-видимому, нет, как это существует в некоторых других монастырях.

Мы попросили напиться у одного дряхлого старца в темном коридоре келейного корпуса. Он уныло и еле внятно указал на жбан с квасом в углу, который находился там на табуретке для всеобщего употребления. На жбане висел ковшик. Немногие из нас, конечно, решились полакомиться этою подозрительною жижею.

Нашим дамам принесли по приказанию их знакомого, здешнего священника, квасу получше. Но в этом теплом и пресном напитке плавала моль. Я осмелился лишь прикоснуться губами к такому угощению, чтобы только не огорчить любезного батюшку.

На возвратном пути до Секирной горы (которая находится в 2 верстах от Савватиевой пустыни) наши вологодские спутницы сообщили нам, что вышеупомянутый батюшка сослан сюда на

покаяние за какую-то невыясненную светскую романтическую историю. Однако он уверял их сейчас, что будто бы обрел здесь душевный мир и успокоение.

«А если это успокоение было только лишь самообманом?» — приходило невольно в голову. Какой ужас быть погребенным заживо в этих лесных пустынях да еще с израненною в мире душою!

Да пошлет судьба, действительно, скорейшего успокоения и забвения этому злополучному, несчастному грешнику, если только это возможно!

С колокольни Вознесенского скита, который ютится, как уже говорено, на самой вершине Секирной горы, открывается и развертывается обширнейшая и, положительно, красивейшая здешняя панорама во все стороны, т. е. на главный остров и на остальные второстепенные острова. Отсюда видны бесчисленные озера главного острова, светящиеся в котловинах между гор, покрытых хвойными и лиственными лесами, из кущ каковых виднеются колокольни монастыря и других скитов. На колокольне Вознесенского скита, как самого высокого по положению своему из всех Соловецких скитов, находится маячный

ламповый фонарь, который виден в темные ночи далеко в море…

Чтобы сменить иногда унылые паломнические впечатления, я ходил отдохнуть на зоологическую станцию.

Там жили во время лета некий молодой профессор и человек шесть студентов из Петербурга. Вставали они не рано, т. е. почивали себе и здесь по-столичному. Нас они встречали дружелюбно. Показывали нам аквариумы, драги и другие принадлежности своих занятий. Мы видели там несколько интересных чучел местных птиц, моллюсков и рыб.

Особенно любопытны и новы были для нас два моллюска. Один — морская ворона, которую, впрочем, мы уже видели в воде пролива между Соловецким и Анзерским островами. Этот маленький черноватый моллюск имеет плавательные лопасти, которыми он машет в воде, напоминая несколько крылья вороны. Другой замечательный моллюск был морской ангел — розовое куклообразное существо, тоже с подобием крылышек. Оно величиною с семечко ясеня в своей оболочке, или вдвое больше самого большого ячменного зерна, т. е. раз в десять больше морской вороны, которая приблизительно

с чечевичный листок, т. е. линии в две длины. Вышеописанный морской ангел чрезвычайно хищен и жадно пожирает бедную морскую ворону даже здесь, в аквариумах. Обоих же этих моллюсков пожирают миллиардами величайшие гиганты земного шара — киты. Оба вышеупомянутые моллюска составляют даже главную пищу именно самых больших, т. е. незубастых китов.

Я получил на память со станции раковину.

Из моллюсков, водящихся еще в Белом море, довольно известна Littorina — мидия, известная съедобная ракушка; рачки с мягким телом, сидящие в витых раковинах, раковины петушки — с раком отшельником внутри, морские ежи, звезды и пр. и пр.

Из птиц мы обратили особое внимание на чучела гаги, фомки-разбойника — черной хищной небольшой чайки, обыкновенной чайки Соловков, кайры, или чистика, и некоторых других.

Из небольшой библиотеки, находящейся на станции, я получил для просмотра описание Соловецких островов некоего Федорова, который служил когда-то здесь монастырским доктором.

Это сочинение написано в весьма неблагоприятном для монастыря тоне. В Архангельске я не мог найти этой книги. Видно, ее туда не

допускают.

Вообще вышеупомянутая биологическая или зоологическая станция хотя и не роскошна, хотя она и не добывает особенно богатых материалов, но тем не менее это все же единственный культурный пункт среди соловецкой суровой и нерадостной жизни.

Ее основали здешний покойный настоятель Милетий и петербургский профессор Вагнер.

В то время, о котором здесь идет речь, станция испытывала на себе различные доказательства несочувствия. Например, ей не позволяли вывешивать флаг, как это практиковалось раньше и т. п. Новый настоятель, вышедший и сам из подпасков, как рассказывали, считался хорошим хозяином, начальником-практиком, но не поклонником науки. И недоброжелательство к ней и к биологической станции так и сквозило там во всех остальных людях[5].

Вечером того же дня удалось съездить на остров Муксалму, где находится монастырский скотный двор.

Интересна каменная гать, или плотина из сва-

---

[5] Примечания: 5

Как известно, биологическая станция уже более не существует на Соловецких островах. Она перенесена на Мурманский берег, именно в Александровский порт. *–Прим. автора.*

ленных вместе морских булыжников (валунов). Она имеет в длину около версты с лишком и сообщает остров Муксалму с главным островом Соловецкого архипелага.

На огромном скотном дворе острова Муксалма мы застали немало спящих монахов. Некоторые из них валялись прямо среди кринок и ведер молока. В стойлах было довольно сыро. На наши замечания о недостатке подстилки нам отвечали, что соломы нет, так как хлеба на островах не сеют. Мы указывали возражавшим на лесную и тундровую подстилку, которая находится вокруг в изобилии.

В эту минуту монастырское стадо подходило с пастбища домой. Все это были экземпляры холмогорского типа, т. е. потомки голландской крови, введенной здесь, на севере, еще Петром I.

Некоторые из нас попытались спросить себе молока. Оказалось, однако, что во время постов здесь, на островах, запрещено отпускать его даже приезжим. Мы подивились, но тем не менее остались ни с чем.

23 июня

Ежедневно по утрам купаюсь вместе со своими педагогами в ближайшем тихом и уютном заливчике. Температура воды 9,5, 10, 11 и только один

раз 15 градусов Реомюра.

Ходили в монастырские лавки покупать разные сувениры. Образков и крестиков здесь много на разную цену, есть даже на 1 копейку. Альбомы же и отдельные виды Соловков здесь и дороги, и непривлекательны, как уже было говорено мною раньше.

На местных тундрах я набрал несколько веток карликовой березы, которая немного напоминает издали небольшие кусты крыжовника. Нашел цветы лилового и желтого ятрышника, корни которого выглядят как две сросшиеся вместе человеческие ручные кисти.

В монастырском доке чинится какое-то судно. В будущем году, говорят, будет сооружаться здесь третий пассажирский пароход.

Сегодня в тени 17 градусов Реомюра. Ночью был густой туман.

Чайки орут, клохчут, лают по-собачьи все дни и ночи напролет, летая без устали взад и вперед. Не спят и остальные птицы. Ночи ведь светлы, как наши сумерки.

Я и мои два педагога порешили еще с самого начала не осматривать всех второстепенных здешних окрестностей. Все они были довольно похожи друг на друга. Мы оглядели лишь еще кое-

какие подробности в главной обители. Видели стену с отмеченными на ней местами, куда ударяли некогда английские ядра. Осмотрели и старую гостиницу, пробитую ими насквозь и т. п.

Сегодня вечером видели мы рыбную ловлю неводом. При этом нас поразило заигрыванье монастырских рыбаков с одним женоподобным шестнадцатилетним малым, в которого они швыряли живым рявцом — рыба, которую здесь не едят. А малый бегал от них, взвизгивая и жеманясь, как крестьянская девушка.

Вечером вологжанки просили нас пройтись до одной, недалеко отстоящей от монастыря церкви, именно до Живоносного источника, или Иисуса Сидящего. Мои педагоги окончательно задичились дам и отказались от совместной прогулки. Мы отправились впятером: я, казанец да три вышеозначенные вологжанки. В это время в монастыре шла предпраздничная, почти пятичасовая всенощная. По дороге мы развлекались красивыми видами и интересными растениями, болтали и шутили. Под конец мы даже начали петь и перекликаться, разбредясь по пути. То тут, то там пролетали утки, гагары, либо они проплывали по озеркам, оставляя на воде за собою крутящиеся серебряные струйки.

Подвигаясь таким образом, мы как-то забыли, к какому месту тоски и печали мы приближались. Храм Живоносного Источника связан с воспоминаниями о многострадальной, светлой личности митрополита Филиппа. Мы перестали петь и перекликаться a la tirolienne, лишь подойдя к ограде, когда вдруг в кельях отворилось окно, другое окно и быстро опять захлопнулось. Это мы разбудили спящих монахов. Тогда нам вдруг стало стыдно своего слишком веселого настроения.

В эту минуту окончилась в монастыре всенощная. Наступал 12-й час ночи. И вдруг загудели могучие колокола собора и церквей, катя, как в Светлую заутреню, по горам и долам свои громовые волны, которые замирали далеко-далеко в море.

Тогда мы внезапно притихли и сделались грустными и задумчивыми. Невольно нам хотелось говорить шепотом.

Мы посмотрели в запертый храм. Там виднелась одетая статуя Спасителя в сидячем положении. И нам казалось, как будто он плакал. Около храма мы увидели деревянную часовенку (кажется, из лиственницы), в которую любил уединяться для молитвы св. Филипп.

Существует предание, что в последнюю ночь,

т. е. перед отъездом на московскую митрополию, св. Филипп здесь молился в виду своих любимых окрестностей, с развернувшимся вдали морем, которое отсюда виднеется своею светлою гладью на горизонте. Не хотелось этому чудному, чистому человеку ехать в Москву, в этот ад пыток, казней, всякой неправды, разврата и оргий. Страшился он увидеть все это воочию. Чуял, что не перенесет всех московских ужасов и погибнет. Между тем свирепый Иоанн IV, друг его детства, звал настойчиво его туда. Зачем? Конечно, до его темной души доходили вести о непорочном праведнике, когда-то боярине Колычеве и друге свирепого царя. Хотел ли он вблизи него и сам очиститься или же, скорее, жаждал только осквернить, омрачить и это ясное, светлое существование, казавшееся ему, конечно, укором.

Св. Филипп молился здесь в этот последний раз, как некогда молился Иисус на горе Гефсиманской. И он так же здесь рыдал и скорбел о своей страшной судьбе. И рассказывают, что ему явился тут в видении сам великий страдалец и утешал его. Он ободрял и благословлял его принять так же мученический венец за страждущее человечество, как и он сам его когда-то принял.

Невольно вспоминалась нам и страшная, мучи-

тельная смерть св. Филиппа, которого в тюрьме за молитвою задушил своими проклятыми, окровавленными руками не человек и даже не зверь, а Малюта Скуратов — этот позор царя Иоанна, это пятно на человеческом роде.

А ночь вокруг нас была светла и спокойна. Заря не потухала. Колокола замолкли. На душе у всех стало грустно — грустно до бесконечности. Страшно и темно стало в сердце. Но среди всей этой мглы и отчаяния, казалось, все-таки светилась вдали недосягаемая, благословенная фигура лучезарного страдальца.

Мы шли тихо и молчаливо домой. Стало клонить ко сну.

Время шло к восходу солнца.

24 июня

Сегодня утром второй монастырский пароход «Михаил» привез еще целую партию богомольцев. Это также по преимуществу толпа крестьян. Говорят, с приближением страдной поры число богомольцев сильно сокращается и доходит к осени до своего минимума.

Среди богомольцев почти не видно ни веселых, ни красивых людей. Те, конечно, и без того счастливы. Им сюда незачем ездить, разве что из любопытства. Сюда стекаются, как и вообще к

святыне, несчастные, калеки и уроды.

Все это, взятое вместе с монастырским режимом, под конец угнетает нашего брата, мирянина-туриста, и страстно хочется отсюда бежать, бежать поскорее и подальше.

На третьи сутки чувство это стало у нас у всех почти нестерпимым. И мы несказанно обрадовались, когда наш пароход «Соловецкий» с приходом парохода «Михаила» задымился. Значит, затопили котлы. Значит — уедем.

Перед отъездом мы спешим досмотреть, чего не успели еще видеть. Закупаем еще сувениров, хлеба и т. п.

Сегодня праздник — Рождение Иоанна Предтечи, кроме того, здесь огромное скопление богомольцев. Движение в соборе и повсюду большое. Трапеза, говорят, будет для такого дня получше. Пошли туда. Там к обеду собралось множество богомольцев. Распределение приезжих по разрядам, ввиду их множества, идет еще настойчивее, еще бесцеремоннее сегодня.

Некоторые из нас, т. е. из прежнего транспорта, попали теперь за еще менее почетные столы, нежели за какими сидели раньше. Никакие возражения не помогли. Ответ был, что «сегодня очень много понаехало, и кто знает, сколько и

каких мест понадобится».

Еда для праздника была лучше, но сервировка оказалась немногим чище. Только суровые скатерти да холсты, заменявшие салфетки, были не так темны на вид.

Судя по цвету столового и постельного белья, судя по той стирке, которую претерпело и мое белье, я думаю, что мытье его здесь не отличается от крестьянского полосканья и, вероятно, производится тоже без мыла, т. е. всего лишь только одними вальками.

Низшие разряды публики, вследствие сутолоки, оказались сегодня еще более обделенными за трапезою, нежели обыкновенно. Они должны были сами ходить в кухню за кушаньем и получать там, что оставалось от главных столов.

Вскоре после трапезы в Троицкой церкви, смежной с собором, в которой находятся именно раки преподобных Зосимы и Савватия, был совершен напутственный молебен. Такие богослужения как-то особенно трогают даже неверующего. Какового же должно быть их влияние на людей религиозных перед отходом парохода, да еще в бурную погоду? На этот раз, однако, погода была ясная и тихая. И грусть на душе была ясная и тихая.

Некоторые богомольцы спешили еще раз совершить приношения около рак преподобных. Тут выкладывались деньги, холсты и другие предметы православной жертвы. Собирал все это монах, дежуривший около сиявших золотом и разноцветными лампадами рак. В этом ему помогал равнодушный и безответный ко всему окружающему схимник, о котором я уже говорил.

Все такие картины возбуждают сначала любопытство, но под конец все более и более гнетут. И, положительно, не дождешься отъезда. Тянет, тянет отсюда туда, в культурные, светлые лютеранские страны, с разумною жизнью, с добрым трудом и с человеческими радостями. И жаль всех этих несчастных, которые обречены здесь оставаться навсегда и испустить даже здесь свой последний вздох, не изведав, быть может, иной, лучшей жизни. Особенно жаль молодых людей, которые как будто бы с затаенной завистью и грустью поглядывают на готовый к отплытию пароход и на спешащих на него пассажиров.

Наконец вся наша прежняя компания собралась на пароходе. И тот же угрюмый капитан грубо и уныло отдал приказание к отплытию. «Соловецкий» отвязали, и он свободно зазыбился на воде. Многие из публики крестились в последний

раз на собор. Судно наше потихоньку заработало винтом и скоро вышло в открытое море, которое было ясно и спокойно и светилось своим бледно-голубым цветом под синеватым ясным небом.

Пассажиры делились своими впечатлениями, вынесенными из монастыря. И далеко не все от них были в восторге.

Казанский священник, как мы теперь узнали, лично участвовал во всех службах. Это здесь в обычае для приезжих духовных. Поэтому он вообще мало видел остальное.

Наш старый знакомец, отец Николай, эконом парохода, пронизывавший пассажиров своим подозрительным взглядом, жаловался теперь, уже весьма откровенно, на свое положение и оброшенность у начальства. Казалось, он хотел, наконец, хоть как-нибудь нас тронуть и вызвать на подаяние, потеряв всякое терпение перед нашей нещедростью.

К ночи сей хитрец, ухаживавший особенно за каким-то дворцовым поваром, украшенным позументами, который ехал в III классе, вздумал его втиснуть к нам во II. Но более твердые пассажиры из нас энергично воспротивились такому самоуправству. И дело отца Николая и его протеже расстроилось.

Вечер был хорош. Море расстилалось, как зеркало, отражаясь цветом слюды. На плывущих деревьях, гладких, как отесанные бревна, которые здесь, по Белому морю, часто тянутся бесконечными вереницами, иногда сидели тюлени, греясь на солнце.

Множество плавучего в море леса объясняют растерею его при кораблекрушениях и другими ущербами. Но, главным образом, это смытые половодьем с берегов и уже обделанные морскими волнами лесные деревья. Иногда их плавает очень много и по Белому морю, а также и по Ледовитому океану. Из этого плавучего материала возводят даже постройки на нашем безлесном Мурманском берегу. Кроме того, вся эта масса плавучего леса дает прибрежным жителям прекрасное топливо.

Подобное явление, т. е. плавучий лес, замечено и вдоль всего нашего сибирского берега. Да, конечно, плавучий лес есть более или менее везде в океанах….

От Архангельска до Варде

Сегодня, около полудня на солнце 34 градуса Реомюра.

Не правда ли, довольно-таки тепло для Архангельска?

Насилу дожил до 3 часов дня, чтобы перебраться, наконец, на давно желанный океанский пароход Архангельско-Мурманского товарищества «Ломоносов». В 4 часа назначен его отъезд.

Паспорт ревизовал таможенный чиновник на пристани, в конторе самого пароходства. Вырвал из него не тот листок, который вырывают при выезде за границу. Он взял именно тот, который берут из паспорта при возвращении в Россию. Я пустился было в разъяснения, но г. чиновник настаивал на своем. Пришлось подивиться, но согласиться.

Взял я билет II класса лишь до Варде, т. е. до первого заграничного порта. Прямого сообщения дальше за границу тут не существует.

И вот, наконец, я нахожусь на величественном пароходе, который хотя и хуже «Николая II», но все же не «Соловецкий», который из прекрасного судна, обратился в какую-то засаленную и разру-

шающуюся посуду.

Общая каюта II класса довольно порядочна на «Ломоносове». Тут же находится и почтовое отделение….

Торжественна минута отхода морского парохода! Что-то ждет его там, в необъятных водах?

Белое море ведь только величественное преддверие Ледовитого океана. А что-то будет там, впереди, в беспредельных северных водяных пустынях со страшными чудовищами, с холодом и тьмою, таящимися в волнах этих пустынь?

Пароход вздрагивает и покачивается, как будто не хочет, как будто боится сдвинуться с места. Наконец, звон, и циферблат возвещает: «Малый ход вперед» (по-английски). Пароход начинает двигаться и плывет осторожно и тихо среди судов, плотов и бакенов по Северной Двине, направляясь уже знакомою мне дорогою к Белому морю. Проходим опять рукавом Маймаксою, потом Березовым устьем; потом знакомые маяки: Мудьюнский, Северо-Двинский и еще раз — Белое море, уже знакомое мне, с его песчаными и лесистыми берегами. Справа от нас потянулся Зимний берег, с левой стороны — Летний берег…

А пароход себе бежит да бежит без остановки и уже бесповоротно ко вратам грозного Ледовитого

океана.

Левый Летний берег понемногу уходит вдаль от глаз. Зимний, каменистый, теперь все виднее. Его холмы и леса уходят в глубь материка, туда, на восток, в Азию. Это целое море, целый океан леса. Там, среди этих лесов, далеко-далеко течет Мезень, за нею Печора, дальше идет Уральский хребет, а за ним необъятная, суровая Сибирь. И как мало жилья на всем этом огромном пространстве! Только зверями кишит оно. Они сталкиваются, схватываются и гибнут там, в этих кущах, в этих трущобах, без сочувствия, без защиты и помощи. Там, в этих чащах, властны лишь зубы да когти. Там каждый сам за себя.

Пустыня, великая русская пустыня! Когда же ты заселишься и оживишься настоящею, радостною человеческою жизнью?

Рассказывают, что на Белом море и на Ледовитом океане бывают в жаркие, ясные дни настоящие марева…

Однако уже время подходило к полночи. Ночь была светла, как день, несмотря на то, что солнце здесь все еще заходит за горизонт. Оно становится видным в продолжение всей ночи лишь только по выходе в Ледовитый океан, т. е. после мыса Святого Носа, который у нас впереди еще.

Над морем — угрюмые тучи. Ветер посвистывает. Зрение утомляется всматриваться в однообразную картину. Зимний берег покрыт бесконечными, безнадежными лесами. И у воды — леса, и на холмах, внутри страны, тоже леса. Только не видно жилья. И беспредельная равнина вод тоже уныла и безлюдна. На ней тоже почти не заметно присутствия человека, т. е. не видно судов; так они редки здесь.

Наконец утомление манит вниз, в теплую каюту, которую, говорят, иногда и летом топят; манит на уютную койку. Хорошо на койке в легонькую качку, когда хочется забыться, задремать, чтобы ничего не видеть, ничего не сознавать. Смутно, сквозь сон мерещится колыбель, вспоминается детство, незабвенные мгновения жизни и милые, светлые тени прошлого и настоящего, которые теперь все от тебя бесконечно-бесконечно далеки…

27 июня

На рассвете остановились в виду села Зимней Золотницы, откуда выехала лодка и увезла священников. Это было часа в 4 утра.

Оставаться в каюте уже не хотелось. Тянуло наверх, на носовую палубу. Море — как зеркало. Тепло на воздухе. Пальто было даже не нужно. Достаточно было одной шерстяной пары.

После Зимней Золотницы пароход поворачивает уже прочь от Зимнего берега, по направлению к Терскому берегу, т. е. в сторону Кольского полуострова или к берегам печальной Лапландии, где живет некрасивое, жалкое и вымирающее племя.

Вот понемногу показывается на горизонте Терский берег. Это каменистая и безлесая, несколько возвышенная над морем полоса. В расселинах ее и в устьях рек виден кой-где еще не растаявший снег, который сходит здесь лишь к концу июля. Вот она, эта безнадежная, неприветливая страна, иссеченная морозами, оборванная бурями и погребаемая снегами, без защиты, без убежищ, без топлива и без питательных растений! Какие-то кусты и мхи выглядывают из защищенных мест, точно они прячутся от метелей и вьюг. И цвет этой жалкой растительности не зеленый, а какой-то рыжий, ржавый.

Вдруг, откуда ни возьмись, появилась чечетка, самочка, как это можно было заметить по отсутствию розового цвета на ее груди. Зачем она залетела сюда с Терского берега? До него было верст 5, до противоположного же берега гораздо более. Это случилось невдалеке от острова Сосновца, т. е. при переходе нашем за полярный

круг.

Маленькая птичка чирикала и вилась вокруг парохода, не решаясь присесть, но, видимо, собираясь отдохнуть. Я подумал, что бы сказал суеверный человек. Мне пришла в голову «Vogel als Prophet» Шумана, эта чудная миниатюрная пьеска, которою иногда заканчивал так эффектно свои грандиозные концерты колосс А. Рубинштейн.

Не успел я этого подумать, как вдруг в глубине парохода раздался удар. Все судно задрожало и остановилось, тихо поворачивая носом в здешних сильных течениях. Забегала команда. Всполошились пассажиры. «Котел лопнул! Наскочили на камень!» — слышалось тревожно вокруг.

Но никто ничего не знал и не понимал.

Я инстинктивно измерял глазами расстояние до берега, соображая, доплыву или нет, если будет нужно. Спасательных поясов на пароходе не было нигде заметно, каковые бывают на черноморских судах. Следовательно, нужно было думать о своей личной сноровке.

В воде было градусов 5 или 6, кроме того, сюда заплывают и большие акулы из Ледовитого океана.

«Теперь наступило… Или нет еще», — сообра-

жал я не без тревоги, вспоминая все свои до сих пор удачные путешествия на море и на суше.

«Что-то теперь делают там, дома? Подозревают ли, что наш пароход разладился, что мы понесли аварию?»

Однако беда скоро разъяснилась. Сломался один из двух винтов, который, по предположению штурмана, уже был попорчен в одну поездку «Ломоносова» на Новую Землю, именно, прошлым летом, где он наскочил на камень.

Начальство и команда бросились как-нибудь поправлять дело, что было довольно трудно, так как болты, скреплявшие вал винта, выскочили все вон и исчезли безвозвратно в морской глубине. Лопасти или крылья правого винта беспомощно вертелись от встречной воды при поступательном движении парохода. Из боязни обронить и потерять и эти важные части пришлось их подтянуть и сделать неподвижными посредством проволочного троса. Зато теперь лопасти винта стали упираться в воду и замедлять уже и без того замедлившийся ход парохода. Мы пошли всего около 6–7 узлов в час. А между тем путь до Варде оставался еще длинный. Починить же пароход за неимением дока где-нибудь ближе Трондгейма нечего было и думать, по уверению

нашего капитана.

Все приуныли, даже само начальство. Но пришлось смириться. Не ехать же было назад, в Архангельск! да ведь и там нет доков. Док Соловецкого монастыря — единственный на всем Белом море и на нашем северном побережье, к тому же он очень невелик.

Я несколько раз принимался доказывать капитану и штурманам полезность паруса в подобных случаях. Мне на все лады возражали на это. Однако все-таки иногда распускалитаки жалкие, уцелевшие на «Ломоносове» остатки парусов.

К счастью нашему, погода была спокойная, ясная, и море — как зеркало. Все это вместе усыпительно действовало и как-то умиротворяло нервы. Не здесь ли, на севере, им суждено всего лучше оправляться, в этой тишине, в этом безлюдье, в этих малоцветных пейзажах и вдали от всяких соблазнов и страстей? Море — цветом как слюда. Берег, чем далее на север, тем пустыннее. Это все ржавые, покатые равнины, с полосами снега в береговых трещинах.

Хорошо тут проехать мимолетным зрителем! Но каково жить здесь!

Вот из одной широкой расселины клубится туман. Это оказывается устье реки Поноя, где

находится село того же имени, жители которого занимаются ловлею семги и тюленей. Пароход останавливается в виду островка Горяинова, который лежит перед устьем р. Поноя у мыса Корабельного с местечком того же племени. Мы отъехали уже от Архангельска 177 миль.

Несколько лодок подвезли к нам на палубу пассажиров — русских и лопарских промышленников. Все эти люди были с укутанными головами и шеями. Когда они взошли на пароход, то мы скоро поняли, в чем дело. За ними прилетела туча знаменитых лапландских комаров. Без хорошей палатки, без тюлевой вуали и без курительных свечей там невозможно найти ни минуты покоя.

Русские промышленники не хвалят эти грустные, неприветливые берега. «Если бы не морские промыслы, так тут бы и жить нечем», — говорят они. Бесплодно и бесприютно здесь. Нет даже древесного материала. Строятся и отопляются лишь плавучим лесом.

Из сухопутных зверей тут водятся северный олень, заяц, лисица, волк и, кажется, медведь. Из птиц много белой куропатки, встречается сокол, северной разновидности, наверное Falco peregrinus leucogenis, и один из представителей

красы пернатого царства, словом, один из кречетов, именно норвежский.

Вот огибаем Три Острова.

Вот виднеется на высоком берегу маяк. Мы его видим из-за обеденного стола сквозь лодки. Это Орловский маяк.

Младший штурман и один молодой пассажир — чиновник из Архангельска — рассказывают, что на этом маяке живет у своей матери, у смотрительницы маяка, на вакациях прехорошенькая гимназистка. В любви-то к ней и признавался все время публично наш младший штурман. Да и его приятель, молодой чиновник, ехал с нами лишь затем, чтобы на обратном пути «Ломоносова» прокатиться с прелестной сиреной, которая должна была выехать на пароходе и проехаться с ними несколько станций. Оба признавались, что предупредили ее письмом об этом.

Молодой чиновник ехал лишь для отвода глаз своих родителей до Варде, и мы не знали даже, что нам отвечать по этому поводу. Относительно их общей сирены, некоей Нины, он признавался мне, что она большая любительница поцелуев.

Это уже было немного странно — такая откровенность от поклонника и обожателя.

За Тремя Островами и мысом Орловым на-

чинается крутое заворачиванье парохода к Ледовитому океану.

Навстречу — холод и ветер. Термометр упал на 8 градусов Реомюра. Погода портится. Видно, старик океан хмурится и не хочет нас принимать ласково.

Берега — совершенная пустыня с редкими полосками какой-то мшистой, ржавой растительности. Снегу видно больше прежнего в лощинах, трещинах и устьях рек.

Один первоклассный пассажир, одетый по-русски, как оказалось, некогда разбогатевший рыбак, рассказывал на палубе, что в молодости он здесь ездил самолично за рыбою. Он припоминал, какие мытарства, какие ужасы приходилось претерпевать вдоль этих неприветливых берегов в осенние темные ночи. Обогащение свое он объяснял тем, что в прежнее время пуд трески стоил на Мурмане копеек 5, а в Архангельске уже 1 рубль и 2 рубля. Поэтому за рыбой сюда стоило ездить даже с опасностью жизни…

Над берегами повисли туманы. Стало еще холоднее и ветренее. Начали вздыматься волны. Закачало. Термометр в тени упал на 5 градусов Реомюра.

Пришлось одеваться во все теплое.

Хотя за полярным кругом мы очутились еще после минования острова Сосновца, где сломался пароходный винт, но погода только теперь стала портиться и серьезно напоминать собою о близости грозного, смертельного севера. Мы приближались к Святому Носу, т. е. к беспредельному и холодному Ледовитому океану…

28 июня

Утром, часа в 3, нас окутал густой туман. Стали раздаваться тревожные, частые свистки на нашем пароходе, похожие скорее на унылый рев или на вой. Свистки раздавались каждые 10–15 минут. Это делается в предупреждение того, чтобы не столкнуться с каким-нибудь судном в туманной полумгле.

Все приуныли.

Однако туман стал как будто бы немного рассеиваться. Но вскоре опять сгустился. Мы приближались к ужасному, страшному Святому Носу, где вечно бушуют и схватываются течения Белого и Ледовитого океана. Место это поглотило уже немало парусных судов, для которых в особенности эти, так называемые здесь, «сувои» чрезвычайно опасны…

Один из штурманов пришел меня кликнуть на палубу, чтобы показать небольшого кита,

который, как он сказал, равнялся некоторое время с пароходом. Воды вокруг Святого Носа — любимое местопребывание китов. Но вышеозначенного первого кита здесь мне не пришлось увидеть. Когда я взошел на капитанский мостик, то животное уже исчезло. Зато скоро показались знаменитые сувои.

Это было страшно взбудораженное море, покрытое сталкивавшимися, разбегавшимися и беспорядочно колыхавшимися волнами. Такая картина развертывалась по океану версты на две — на три, постепенно успокаиваясь, улегаясь и сглаживаясь вдали.

Говорят, здесь бывает особенно эффектно и даже ужасно во время бури…

На высоком берегу Святого Носа стоит белая башня с «сиреною» или «ревуном», которым предупреждаются об опасном месте суда ночью, а также во время тумана. Маяк находится версты за две отсюда, у губы Волоковой.

Ну вот, теперь наконец-то я нахожусь в настоящем Ледовитом океане, о котором случалось вспоминать там, в сухой и жаркой среднерусской деревне.

Здесь начинается и летний полярный день с незаходящим солнцем, который продолжается

тут от половины мая и до половины июля.

Справа и перед нами теперь необъятная равнина вод, простирающаяся до неизведанного, таинственного полюса, куда еще ни один человек не заглянул с рождения земли. Каких, каких чудовищ, колоссальных, угрюмых и свирепых не таится там, в этих темных, недосягаемых глубинах!

Слева от нас потянулся совсем бесплодный и все более и более скалистый и повышающийся с приближением Норвегии берег Мурманский (вероятно, перековерканное Норманский), некогда принадлежавший нашим соседям.

Мурман — это великая страна будущего, это целая область неисчерпаемых богатств и незамерзающих гаваней. Это необъятная почва для русской колонизации. Морозы в 15 градусов Реомюра тут редкость. Это ли не рай для нашего голодного и холодного среднерусского крестьянина, в особенности из коренных помещичьих губерний, где ему всего хуже? Снегу здесь видно все меньше и меньше, нежели до сих пор, несмотря на приближение наше к северу.

Вот что делает могучий, добрый великан-волшебник Голфштром!

Вся береговая полоса от Святого Носа до грани-

цы Норвегии (т. е. до устья Ворьемы) называется Мурманом. Кольский залив делит его на две части: на восточную и на западную.

В бухтах, вообще не замерзающих зимою, приютились поселения промышленников, называемые здесь «станами». Бухты же зовутся «становищами». Промышленники здешние по большей части все наши поморы и вообще жители северных берегов России. Есть и норвежцы, и финны, и лопари.

Главным промыслом здесь, пожалуй, нужно считать ловлю трески, хотя есть и все виды промыслов Белого моря и еще многие другие, как, например, ловля акул.

Съезжаются сюда промышленники только на лето. К сентябрю же опять разъезжаются.

За Святым Носом открылся Иоканский залив с островами и рекою того же названия. Один из Иоканских островов назван островом Витте, в честь министра, посетившего эти места в 1894 г. Тут находится небольшое поселение или, что то же, погост лопарей.

К нам подъехала парусная лодка с акульщиками, которые нагрузили на пароход три огромные бочки с ворванью из печени акул. Это были мезенцы, приезжающие сюда лишь на лето для

своего промысла. Они показали мне крюк из железного прута, толщиною в палец; к нему был прикреплен другой прут, за который привязана была веревка, находящаяся таким образом вне опасности от зубов акулы. Эта предосторожность необходима потому, что жадная акула проглатывает крюк с наживкой чрезвычайно глубоко и цепляется за него желудком, а не ртом. Лучшая наживка для акулы — это кусок тюленя, в особенности того сорта, который тут называют морским зайцем. Попавшуюся акулу подтягивают за веревку к лодке и убивают по голове колотушкою, или кутилом. Вырезав у добычи печень, рыбу или бросают обратно в воду, или оставляют волочиться на веревке за лодкой. Этим способом иногда приманивают еще и других акул, которые подходят, чтобы полакомиться телом своих подруг. Иногда они так упорно пристают к своим покойникам, что и из них удается убить еще какую-нибудь ударом того же кутила.

Акула — это настоящая гиена моря или croquet-mort океана. Некоторые считают даже название «requin» происходящим от «реквием», так как эта рыба всегда налицо во время похорон на море. Ее назначение — подбирать все мертвое в воде и хоронить в своей ужасной утробе. Ходит она

постоянно по дну и подбирает все, что только там валяется из остатков животного мира. И рот у нее совсем внизу, на горле, как у осетров, которые тоже подбирают свой корм на дне, «сосут дно», как выражаются рыбаки. Одним словом, акула — настоящая потребительница всякой мертвечины в море.

Главное место ловли акул по Мурману — это Кольская губа, где их добывают зимою. Акул тут несколько пород (четыре, кажется), начиная от маленькой, аршинной, и кончая огромными (до 40 футов длины). Самые большие попадаются главным образом уже по берегам Норвегии. Цветом некоторые почти черные, другие бурые или почти серые.

Здешние северные акулы прожорливы, но неповоротливы. Они положительно ленивы и глупы, как говорят промышленники. Поэтому они и попадаются так просто, поэтому они и не так опасны, как, например, живущие в жарких странах. Приближающуюся акулу часто заранее можно узнать по ее верхнему перу, торчащему из воды, если только она идет неглубоко. Чтобы схватить добычу, не находящуюся под нею, она должна повернуться боком. Действовать иначе ей не позволяет расположение рта.

Акульщики, севшие на наш пароход, рассказали, что они сбывают свою ворвань в заграничный г. Варде.

Ввоз только спиртных напитков запрещен повсюду на Мурмане; в остальном все его гавани порто-франко. Тем не менее товары с него в Архангельске иногда подвергаются всякому недоверию и часто даже обложению, почему акульщики и предпочитали сбывать ворвань в Норвегии.

Опять вдруг налетел на нас туман. Опять унылые, удручающие свистки нашего парохода. Опять все приуныли. Но и этот туман быстро исчез. Все повеселели. Старик океан великодушно подшучивал над нами, попугивая нас, как старик детей…

Обходим остров Кокуев и останавливаемся в прелестной, тихой губе Варзине, напоминающей Балаклавскую в Крыму. Скалы выветрены и бесплодны. Это место гибели двух английских судов с капитаном Виллоуби. Они и матросы замерзли здесь зимою в 1553 году. Замерзший Виллоуби был найден за своим печальным дневником, описывавший ужасы полярной ночи.

Затем остановка на устье реки Лицы.

Говорят, по Мурману путешествует наследник

итальянского престола на своем пароходе, которого видели на днях в этих местах. Тут, на Мурмане, рассказывают и про ученую экспедицию от Академии Наук с профессором Книповичем во главе.

Из птиц мы видим по берегам и на воде много разных чаек, гаг, гагар, бакланов, чистиков и пр.

Температура в тени 11 градусов Реомюра.

По всем становищам и факториям раздаются жалобы на оскудение промыслов.

Уменьшение рыбы на Мурмане приписывают появлению здесь прежде малоизвестного гренландского тюленя — кожи. Это, собственно, лысун. Промышленники уверяют, что кожа начала приходить сюда от Новой Земли, где стало ей не так спокойно и сытно, как прежде. А главное, уверяют, что избиение китов, будто бы которых она боится, повело к ее размножению.

Совершенно невероятно, чтобы какое-нибудь животное боялось другого, безвредного для него, каковы на самом деле киты для всяких тварей вообще, кроме самых мелких рыб и слизняков.

Сегодня видели первые птичьи острова, или базары, как их тут называют. Это скалы, стоящие отдельно от берега, или смежные с ними утесы, усеянные миллионами чаек, которые белеют бес-

конечными вереницами по каменным уступам и вершинам базаров.

Наконец, я увидел в первый раз в жизни полуночное солнце. Картина ничем не отличалась от обыкновенного его заката. Только тут, за полярным кругом, он, этот закат, не оканчивался совсем, а продолжался всю ночь, до утра.

Наш капитан принес секстан[6] и показал нам, как измерить высоту солнца над горизонтом. Угол этой высоты, помнится, был около 1 градуса 30 минут…

Погода была чудная. Можно было оставаться на палубе без пальто. Солнце светило ласково. Океан был как зеркало. По нему спокойно плавали птицы. Из него лениво и сонно выныривали изредка морские животные.

Глядя на всю эту мирную картину, на скалистые берега, на зеркало вод, я вспомнил невольно берега Ривьеры. Такое сходство пейзажа и вообще берегов было до некоторой степени поразительно. Только там, на юге, было более человеческого; тут, наоборот, больше дикого, первобытного.

Пароход шел спокойно. Мы болтали на уютном капитанском мостике. Капитан, видавший виды,

---

[6] Примечания: 6
Особый прибор. *–Прим. автора.*

бывавший на Новой Земле, и на Шпицбергене, и еще много кой-где, повествовал нам случаи из своей промысловой и мореходной практики.

Он рассказывал про стрельбу китов, которою прежде сам занимался; про доверчивость животных на Новой Земле и про легкость охоты там на белых медведей, которые прежде будто бы были очень свирепы, а теперь стали робки. Видно, современные экспрессы и разрывные пули изменили совершенно характер этого зверя, так сказать, запугали его…

О бое китов он тоже немного находил, что передать, хотя и уверял, что «перестрелял много этих животных».

Во всем в этом сказывался наш русский простолюдин, который без слов переходит через недоступные горы, молча перебирается через Чертовы мосты и безропотно умирает на Шипке. И сколько их, таких героев, у нас?

29 июня

…Океан тих и приветлив. Погода — прекрасна. Дни и ночи — солнечные. Спать приходится урывками. Иногда проспишь и не увидишь какое-нибудь второстепенное становище или факторию, близ которых «Ломоносов» бросает якорь. Иной раз только шум якорной цепи да

лебедки дает знать сквозь сон об остановке. Там забирают почту и местный товар или выгружают привезенное…

Утром, говорят, опять видели небольшого кита. Но я и к этому не поспел.

В тени и затишье температура на воздухе 19,5 градуса Реомюра. Это за полярным кругом-то! Впрочем, в воде она лишь 6 градусов Реомюра…

Видно, и у грозного Ледовитого океана бывают свои хорошие минуты, когда он точно нежится на солнце в какой-то сладкой дремоте, как будто бы замечтавшись. Точно и он устает в своей злобе. И у него как будто бы есть какие-то прекрасные воспоминания. Не мерещится ли ему далекое прошедшее его молодости, заря бытия вселенной?…

Каменистые, выветренные, дряхлые берега стоят под ласковыми лучами солнца, со своими трещинами и расселинами, точно с морщинами старости. Это свидетели тысячелетий бурь и морозов. Они настрадались, они разрушаются, они отживают и понемногу нисходят частями во влажную, всепоглощающую могилу, которая давно силится их пожрать, волнуясь там у их ног. Как будто бы невзгоды и горе избороздили лицо этих каменистых, гористых берегов и пригибают главы их ниц.

Человек — тот сюда идет лишь затем, чтобы хищничать, уничтожать и самому гибнуть…

Между прочим, наши промышленники сильно жалуются на то, что норвежцы заезжают хищничать, как они выражаются, в русские воды, т. е. на Мурман. Жалуются, что нет у нас за этим делом строгого наблюдения…

Насколько наши мурманцы еще зарыты, как говорится, по горло в добре, цену каковому добру они еще мало понимают, может служить лучшим подтверждением то, что здесь многих съедобных рыб не едят, как, например, рявца или морского ежа, великолепного ската и др. Здесь бросают даже, как негодное, раков, крабов, креветов и прекрасных, ценных омаров.

Один промышленник, помор, сказал мне, что у них нет таких «выдумщиков», которые бы затеяли есть раков. Каково!..

Мы, например, дома в России склонны воображать, что китовый промысел потому только не может упрочиться у нас на Мурмане, что стало мало китов, которых-де безбожно истребляют хитрые и беспардонные соседи — варяги. А между тем здесь, на самом Мурмане, мне приходится слышать рассказы совсем иного свойства. То не хватило денег предприятию, то не умели нахо-

дить китов, то утопили китоловное судно и т. д. в том же роде…

Я не упоминаю здесь о всех пунктах, мимо которых проезжаем или же в которых останавливаемся. Становищ и факторий здесь немало. Самым важным и большим становищем на Мурмане считают Гаврилово. Здесь есть больница Красного Креста, почтово-телеграфная контора и церковь.

Недалеко от Гаврилова находится становище Териберка. Это становище почти так же важно, как первое.

Река Териберка впадает в обширную губу того же имени. На песчаной равнине находится само поселение или колония Териберка. Сзади нее возвышаются горы. Залив тоже обрамлен горами. Вся эта бесплодная и примитивная природа напоминает героические пейзажи Пуссена, старые мифологические гравюры, метаморфозы Овидия. И так — весь мурманский берег. Здесь природа как будто бы только недавно создана.

Когда мы вошли в Териберкский залив, то в нем гулял кит сажени в две длиною. Он выдувал из носового отверстия вверх мелкие брызги наподобие пара, который светится на солнце и отражается радугою. Это и есть то, что людьми

незнающими рисуется наподобие фонтана, когда они изображают китов.

Нас, несколько человек пассажиров, съехало на берег. Мне удалось, наконец, выкупаться в морской воде после довольно долгого антракта. Океанская вода была чрезвычайно холодна и солона.

Несмотря на пригрев солнца, в ней нельзя было долго оставаться. Только наш младший штурман да его товарищ, молодой чиновник из Архангельска, решились последовать моему примеру относительно купанья. Один из поименованных мурманских воротил приходил даже посмотреть на нашу хитрость.

Было 4 часа вечера. Выкупавшись, мы пошли обойти Териберкское поселение, выстроенное на голом, сыпучем песке. Недалеко от берега мы нашли маленькое кладбище, с несколькими деревянными крестами и с одинокой могильной плитой, поставленной товарищами какому-то капитану, утонувшему в этих местах недавно, как гласила на ней надпись…

В поселке Териберки повсюду была развешена сушившаяся рыба — треска по преимуществу. Остатки ее валялись под ногами и даже в воде. Под ногами попадалась растерянная и высох-

шая мойва, главная здешняя наживка рыбных промыслов.

Часа через два мы вернулись на пароход и поплыли далее вдоль берегов Мурмана…

Останавливались еще у одной колонии, или у становища — Новооленьего. Говорят, что это тоже хорошая и незамерзающая гавань.

Но вот, наконец, перед нами знаменитый, оригинальный остров Кильдин, самый большой на Мурмане. Это огромная материковая масса из рыхлых пород, покрытая на своих склонах зеленью. Со стороны материка остров Кильдин возвышается длинными уступами. На нижнем уступе находится озеро Могильное с соленою водою. Оно замечательно тем, что хотя и лежит выше уровня моря, но вода в нем все-таки соленая, и в ней водятся даже морские рыбы, как, например, камбала и треска.

Остров Кильдин круто повышается к северу и западу и кончается отвесным обрывом или стеною футов в 600 в сторону океана. Это фигура какой-то гигантской и неприступной крепости. Словом, опять впечатление «героического пейзажа», и притом под освещением ночного солнца и при тихой погоде, какова сейчас на океане.

На острове Кильдин, у бухты Монастырской,

находится единственное жилье. Это усадьба некоего норвежца Эриксона, поселившегося здесь для морских промыслов. Он живет тут со своим семейством круглый год. Ездит иногда в гости к соседним норвежцам.

Каково такое существование, можно себе легко вообразить. Солнце, по-видимому, мало освещает это место, вследствие близости высокого берега. Иного жилья здесь нигде не видно на далекое расстояние. Перед глазами быстро бегущая вода пролива между островом и материком. А зима, с ее тьмой и снежными бурями! Надо быть именно закаленным, сильным, бодрым норвежцем, чтобы поселиться в такой пустыне.

Говорят, этот колонист имеет субсидию от русского правительства.

Нигде не вижу красавца скандинавской фауны, норвежского кречета, хотя отвесные берега и птичьи острова должны быть его любимыми приютами.

Китов почти тоже не встречаем, хотя они тут не редкость.

Местные моряки рассказывали мне, что иногда приходится в шняке, или в баркасе, очутиться среди стада играющих китов. Невольный ужас охватывает пловцов, когда водяные колоссы

гоняются друг за другом или же ныряют под суденышко, не обращая ни малейшего внимания на присутствие людей на нем. Одно средство, говорят, тут стучать чем-нибудь о борт. Стук немного образумливает развеселившихся чудовищ.

30 июня

Часа в 4 утра мы вошли в Кольскую губу и бросили якорь у Екатерининской гавани. Пассажиры встали от сна и пошли смотреть знаменитый, только что отстраивающийся порт.

Тут кипит работа. Русские и норвежцы рвут скалы, ровняют каменистые дороги, строят пристань и деревянный поселок из архангельского дерева (а между тем тут гранит прямо под ногами). Этот поселок стоял еще совершенно пустым. Там жили только фельдшер, почтальон да рабочие и их надсмотрщики. Здесь ценят гораздо выше норвежских рабочих, нежели своих, русских.

Сам залив, предназначенный для гавани, и на вид, и по мнению знатоков, довольно тесен. Он лежит в устье большой и длинной Кольской губы. Характер местности почти без растительности и с тундровым, сырым грунтом, даже и на возвышенных местах. В окрестности много болот и озер. Со всех сторон несутся крики гаг, гагар, бакланов и уток.

Как человек, подверженный мании купания, я выкупался и тут. Увлек я на это дело с собою молодого архангельца и местного фельдшера, несмотря на присутствие акул в Кольском заливе…

Тут, во время купания, мы нашли множество красивых раковин слизняка Pecten islanicus.

Экспедиция, с Книповичем во главе, находилась в эту минуту в Екатерининской гавани, в казенных домиках, на противоположном берегу, т. е. на Екатерининском острове. Разумеется, я заглянул в помещение экспедиции, где, благодаря доступности Николая Михайловича Книповича, несколько ознакомился с ее деятельностью. Увидав студентов-естественников, я подумал, что многие из их товарищей позавидовали бы таким летним каникулам, каковые проводят здесь эти счастливцы.

Интересна фауна Ледовитого океана. Чего-чего тут только нет! Есть, например, в экспедиционных коллекциях даже студенистые рыбы, из глубочайших частей океана, где строение животных вообще слабое, т. е. плохого сцепления. Есть огромные креветы и многие другие. Хороши в экспедиции зоологические атласы иностранных изданий…

В Кольской губе, около мыса Пиногорья сильно отклоняется магнитная стрелка. Вероятно, причиной тому должны быть залежи магнитного железа. Сама губа в 31 милю длины, ширины до 2 миль. Она чрезвычайна живописна со своими горами и лесами. Тут, в затишьи от бурь и морозов страшного соседнего океана, растительность может отлично существовать. Глядя на эти леса, забываешь, что находишься на Мурмане, за Полярным кругом.

Пароход наш бросил якорь у Дровяного мыса, версты за три до г. Колы, куда я с почтальоном доехали уже на лодке.

Кола — маленький городочек с 760 жителями. Расположен он в конце залива в красивой, просторной местности. Высокие берега и горы не теснят его. Только одна Суолавараки находится вблизи. Эта гора замечательна своим отрезанным боком, обращенным к реке Коле, которая омывает город с одной стороны. Рассказывают, что этот обвал бока горы произошел от землетрясения. Вторая, довольно широкая река — Тулома, несущая свои обильные воды из озер глубокой Лапландии, омывает городок с другой стороны. Обе реки очень порожисты и бурны. Это настоящие горные торраны, в которых водится

множество семги и форели. В Туломе даже есть речной жемчуг.

Городок Кола основан в 1264 году новгородцами. Здесь бывали нападения шведов, англичан и других врагов. Теперь это крошечный деревянный городок, население которого — русские моряки и лопари. Последние представляют несчастное, безобразное и вымирающее племя. Женщины их довольно пестро разряжены. Но они от того нисколько не выигрывают.

Климат Колы, говорят, очень здоров. Дичи и рыбы масса. И надо думать, что здесь можно бы с большой пользою проводить лето ради климатического лечения…

Исходить самый городок в 130 домов и обойти вокруг него было делом недолгим…

Погода была так тепла, что даже казалось жарко в шерстяной паре…

1 июля

Еще вернувшись из г. Колы, господа мурманцы, не желая терять времени в ожидании починки парохода «Ломоносов», отправились на пароход «Трифон» вперед, чтобы успеть посетить Печенгский монастырь.

Большие океанские пароходы останавливаются там ненадолго, не доходя до конца Печенгской

губы. Между тем местоположение монастыря, основанного преподобным Трифоном — просветителем лопарей, чрезвычайно восхваляют. И я очень жалел, что посещение его для меня осложнялось и делалось слишком затруднительным ввиду того, что я принужден был не покидать «Ломоносова». Господа же мурманцы, как настоящие жирные россияне, как истые биржевики, конечно, не нашли нужным предложить кому бы то ни было из пассажиров для них самих нисколько не обременительное, одолжение проехать с ними на «Трифоне» в Печенгский монастырь, хотя, например, меня они и удостаивали своего «высокого разговора» во время плавания.

Из последующих остановок достоин упоминания Порт-Владимир, который назван так в честь великого князя Владимира Александровича, некогда объехавшего мурманские берега. Это великолепный, просторный пролив между материком и островами Еретик и Шалим, пролив, который дает кораблям тихое пристанище даже во время самых страшных бурь на океане.

Порт-Владимир замечателен еще тем, что в нем, на острове Еретик, стоит последний брошенный русский китобойный завод…

Сегодня вечером было наволочно. Солнце скры-

лось. Эта полутьма ввела меня в заблуждение при наблюдении пернатого населения океана. Не видав никогда прежде хищных чаек на воле, я чуть было не принял их в первый раз за кречетов: так обманчивы были их аллюры, цвет, величина и даже форма. Только вглядевшись хорошенько в них и заметив, что они, хотя и гоняются за остальными чайками, но последних не ловят, а лишь отбивают у них добычу, я устыдился своему смешению «подлых тунеядцев» с «благородными разбойниками». Впрочем, кто из них лучше, сказать трудно.

После я встречал еще другие виды хищных чаек, кроме первого, виденного мною здесь, который был цвета белого снизу и серого сверху. Я видел еще большую черную чайку и малую черную, или фомку-разбойника. Больших хищных чаек здесь зовут рыбаки «солдатами», вероятно, за их нрав.

Надо видеть, как их боятся остальные чайки, как они с криком отчаяния бросают им только что пойманную в воде добычу. До этого доводят последних те своей злобной погоней и ударами крыльев на лету.

Все эти птицы называются в зоологии поморниками. Притом черные: один — большим

поморником, другой — фомка. Третий вид, с белою грудью, не решаюсь называть каким-либо именем, не будучи в состоянии его точно определить среди других поморников.

Глядя на отбивание добычи хищными чайками у нехищных, я не мог себе представить, как мог в первых выработаться такой инстинкт. На взгляд, этот прием требует гораздо больших усилий, нежели обыкновенное добывание из воды положительно кишащей в здешних морях добычи.

Это мое первое наблюдение хищных чаек произошло при переезде нашем через залив Мотовский. Вскоре мы остановились на рейде перед становищем Цыпнаволоком и перед мысом того же названия. Им оканчивается большой Рыбачий полуостров (почти даже остров). Тут есть хорошая больница Красного Креста, церковь, дома колонистов и фактория братьев Савиных, как говорят, самых крупных скупщиков рыбы на Мурмане.

Как и в прежние остановки, кроме главных, каковы Териберка и Екатерининская гавань, мы не успели и в Цыпнаволоке выйти на берег. Обыкновенно от таких становищ выплывали к нам лодки с товаром, с почтой и с какими-нибудь немногочисленными пассажирами. Они обменивались всем этим на таковое же с нашим

пароходом. Стоянки эти длились обыкновенно далеко недостаточно для того, чтобы успеть съехать на берег и вернуться опять на пароход к его отходу.

Ночью было темно и накрапывал дождь. Я воспользовался плохою погодою, чтобы, наконец, выспаться за все время, так как оставаться на палубе было уже неприятно.

2 июля

Рано утром послышалось громыхание якоря. Взглянув в окно, мы увидели, что стоим в длинном, гористом и лесистом заливе, напоминающем собою Кольский. Оказалось, что это губа реки Печенги. До знаменитого монастыря оставалось еще верст двадцать, так как он находится в самом конце губы. Это расстояние пассажиры, желающие посетить монастырь, обыкновенно проделывают на лошадях или на лодке.

Я, во-первых, боялся опоздать к отходу парохода да и изрядно уже поустал от путешествия и не ощущал теперь в себе бодрости на подобное отклонение от своего прямого пути.

Во время нашего стоянья в Печенгской губе воротилы-мурманцы возвратились из Печенгского монастыря на пароходе «Преподобный Трифон». Оба опять появились на нашем судне. Они чрез-

вычайно хвалили монастырь и его окрестность. Были они также весьма довольны и настоятелем, который действительно производил благоприятное впечатление на всех. Мне его удалось увидеть еще в Соловецком подворье, на Соломбале.

Когда пароход выехал из красивой зеленой местности Печенгской губы снова в океан, то берега Мурмана потянулись опять голые, бесплодные и унылые. Они только становились понемногу все возвышеннее и скалистее на вид с приближением Норвегии.

Наконец с левой стороны берег стал быстро отдаляться и скоро пропал совсем из виду. Это распахнулся первый норвежский фьорд — огромный Варангер. Вместе с исчезновением берега мы покинули и Мурман, и русскую почву и теперь переезжали уже за границу.

Скоро вдали показался противоположный берег Варангер-фьорда.

Погода становилась дождливой и бурной. Разыгрывались волны. И на душе становилось грустно.

Прощай, родная земля, хотя и столько поносимая и так часто ругаемая, но все же дорогая, как родина, как колыбель детства!

Придется ли тебя опять увидеть!..

10 августа

Устал длинною дорогою и массою новых впечатлений. Пора, пора и домой, в русскую деревню, с ее сонною тишиною, с ее прозябанием и еле тлеющей жизнью! Там все дремлет и спит. Там и тебе никто не помешает отдохнуть и выспаться после страшных утомления и суматохи путешествия.

О дальних прекрасных культурных странах, о тамошних нарядных прочных жилищах, об их чудных, симпатичных, счастливых народах ты будешь с отрадою вспоминать там, дома у себя, глядя на полуразвалившиеся помещичьи усадьбы и деревни, на запущенные, одичалые поля, исковерканные леса, пересыхающие реки и пруды, и встречаясь или с беспардонными хищниками или с беспечными, ленивыми, равнодушными ко всему и изможденными людьми, одетыми часто в рубища!..

Много-много еще ужасного и темного ждет путешественника там, дома, в уезде. Много и отчаяния, и апатии опять на него нахлынет там, в этой всемертвящей русской уездной и деревенской жизни. Но что же делать? Хочется домой, туда, в эту грустную, несчастливую страну.

15 августа 1899 года
с. Срезнево

Михаил Пришвин. За волшебным колобком

Предисловие автора

…Путешествие, которое описывается в этой книге, не было задумано вперед. Я просто хотел провести три летние месяца, как лесной бродяга, с ружьем, чайником и котелком. Конечно, за это время я много узнал о жизни на Севере…

Небольшая поддержка отделения этнографии Географического общества, уменье добывать себе пищу ружьем и удочкой, не очень большая утомляемость — вот и все мои скромные средства.

В половине мая 1907 года я по Сухоне и Северной Двине отправился в Архангельск. Отсюда и начались мои скитания по Северу. Частью пешком, частью на лодке, частью на пароходе обошел я и объехал берег Белого моря до Кандалакши. Потом перешел Лапландию (двести тридцать верст) до Колы, побывал в Печенгском монастыре, в Соловецком, на западном Мурмане и морем возвратился в Архангельск в начале июля.

Эту первую часть путешествия я описываю в отделе «Солнечные ночи». В Архангельске я познакомился с одним моряком, который увлек меня своими рассказами, и я отправился с ним на рыбацком судне по Северному Ледовитому

океану. Недели две мы блуждали с ним где-то за Каниным Носом и приехали на Мурман. Здесь я поселился в одном рыбацком становище и занимался ловлей рыбы в океане…

И мне стало казаться, что я, как в сказке, шел по Северу за волшебным колобком…

Солнечные ночи. Волшебный колобок

Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки.

В некотором царстве, в некотором государстве жить людям стало плохо, и они стали разбегаться в разные стороны. Меня тоже потянуло куда-то, и я сказал старушке:

— Бабушка, испеки ты мне волшебный колобок, пусть он уведет меня в леса дремучие, за синие моря, за океаны…

Колобок покатился, я за ним. И вот…

Мой веселый вожатый остановился у большого камня на высоком берегу Двинской дельты. Отсюда дороги идут в разные стороны. Я сел на камень и стал думать: куда мне идти? Направо, налево, прямо? На берегу передо мной плачет последняя березонька, дальше, я знаю, Белое море, еще дальше Ледовитый океан. Позади меня синяя тундра. Этот город — узкая полоска домов между тундрой и морем — совсем тот сказочный камень,

на котором написана судьба путника. Куда идти мне? Можно бы устроиться на одной из парусных шкун и испытать всю морскую жизнь северных людей. Это интересно, увлекательно, но вот налево по берегу Белого моря лес. Если идти по краю лесов, то можно, обогнув все море, добраться до Лапландии, а там совсем первобытные лесные места, страна волшебников, чародеев. В ту же сторону, к Соловецким островам, направляются и странники.

Куда же идти: налево со странниками в лес или направо с моряками в океан?

Я присматриваюсь к людям на оживленной Архангельской набережной, любуюсь загорелыми выразительными лицами моряков и тут же возле замечаю смиренные фигуры соловецких богомольцев. Если я пойду за ними, думаю я, налево, то приду не на север, за полярный круг, а в родную деревеньку в черноземной России, я приду в ее самую глубину и вперед знаю, чем это кончится…

Отчего это северные моряки так не похожи на наших пахарей? Оттого ли, что разделенная на мелкие кусочки земля так принижает человека, а неделимое море облагораживает душу, не дробит ее на мелочи? А может быть, потому, что

северный народ не знал рабства, что и религия его — большинство их раскольники — не такая, как у нас, за нее они здесь много боролись, даже сжигали себя на кострах…

Направо или налево, не могу я решить. Вижу, идет мимо меня старичок. Попытаю его.

— Здравствуй, дедушка!

Старик останавливается, удивляется мне, не похожему ни на странника, ни на барина-чиновника, ни на моряка…

— Укажи, — говорю я, — мне, дедушка, где еще сохранилась древняя Русь, где не перевелись бабушки-задворенки, Кощеи Бессмертные и Марьи Моревны? Где еще воспеваются славные могучие богатыри?

— Поезжай в Дураково, — отвечает старик, — нет глуше места во всей нашей губернии.

«Шустрый дед!» — подумал я, собираясь ему ответить так, чтобы вышло смешно и не обидно. Но тут, к изумлению, нашел на своей карманной карте, на Летнем[7] берегу Белого моря, как раз против Соловецких островов, деревню Дураково.

— В самом деле, — воскликнул я, — вот Дураково!

---

[7] Примечания: 7
Западном. *–Прим. автора.*

— Ты думал, я шучу. Дураково есть у нас, самое глухое и самое глупое место. По-старому и похоже на Архангельскую губернию, а по-новому не похоже… Вишь, народ у нас какой бойкий.

Он указал рукою вниз на оживленную толпу моряков.

Народ промышленный, крепкий, живой. А на Летнем берегу сидят в бедности, как тюлени, потому проезда туда нет: с одной стороны Унская губа, с другой — Онежская.

Дураково мне почему-то понравилось, я даже обиделся, что старик назвал деревню глупой. Она так называется, конечно, потому, что в ней Иванушки-дурачки живут. А только ничего не понимающий человек назовет Иванушку глупым. Так думал я и спросил старика:

— Нельзя ли мне из Дуракова на лодке переехать по морю на Святые острова?

— Перевезут! — ответил он мне. — Это старинный путь богомольцев в Соловецкий монастырь.

До сих пор я знал только два пути на Святые острова: через Архангельск по морю и через Повенец-Суму. О пути пешком по краю моря и на лодке по морю я не знал. Я подумал о лесных тропинках, протоптанных странниками, о ручьях, где можно поймать рыбу и тут же сварить ее в

котелке, об охоте на разных незнакомых мне морских птиц и зверей.

— Но как же туда перебраться?

— Теперь трудно, богомольцев мало. Но подожди, кажется, здесь есть дураковцы, они расскажут. Если здесь есть, я их к тебе пришлю. Счастливый путь!

Через минуту вместо старика пришел молодой человек с ружьем и с котомкой. Он заговорил не ртом, казалось мне, а глазами — такие они у него были ясные и простые.

— Барин, раздели наше море! — были его первые слова. Я изумился. Я только сейчас думал о невозможности разделить море и тем даже объяснял себе преимущества северных людей. И вот…

— Как же я могу разделить море? Это только Никита Кожемяка со Змеем Горынычем делили, да и то у них ничего не вышло.

В ответ он подал бумагу. Дело шло о разделе семужных тонь с соседней деревней.

Нужен был начальник, авторитет, но из начальства никто не хотел туда ехать.

— Барин, — продолжал упрашивать меня деревенский ходок, — не смотри ты ни на кого, раздели ты сам.

Я понял, что меня принимают за важное лицо.

В северном народе, я знал, существует легенда о том, что иногда люди необычайной власти принимают на себя образ простых странников и так узнают жизнь народа. Я знал это поверье, распространенное по всему Северу, и понял, что теперь конец моим этнографическим занятиям.

По опыту я знал, что стоит только деревне в страннике заподозрить начальство, как мгновенно исчезнут все бабушки-задворенки, все лешие и колдуны, на лице народа появляется то льстивая, то недружелюбная мина, сам перестаешь верить в свое дело, и волшебный колобок останавливается. Я стал из всех сил уверять Алексея, что я не начальство, что иду я за сказками; объяснил ему, зачем это мне нужно.

Алексей сказал, что понял, и я поверил его открытым чистым глазам.

Потом мы с ним отдохнули, закусили и пошли. Волшебный колобок покатился и запел свою песенку: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…»

Лес

15 мая

Шли мы долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли — добрались до деревушки Сюзьма. Здесь мы простились с Алексеем. Он пошел вперед меня, а я не надеялся на свои ноги и просил прислать за мной лодку в Красные Горы, деревню у самого моря по эту сторону Унской губы. Мы расстались, я отдохнул день и пустился в Красные Горы.

Путь мой лежал по краю лесов у моря. Тут место борьбы, страданий. На одинокие сосны страшно и больно смотреть. Они еще живые, но изуродованы ветром, они будто бабочки с оборванными крыльями. Но иногда деревья срастаются в густую чащу, встречают полярный ветер, пригибаются в сторону земли, стонут, но стоят и выращивают под своей защитой стройные зеленые ели и чистые, прямые березки. Высокий берег Белого моря кажется щетинистым хребтом какого-то северного зверя. Тут много погибших, почерневших стволов, о которые стучит нога, как о крышку гроба, есть совсем пустые черные места. Тут много могил. Но я о них не думал. Когда я шел, не было битвы, было объявлено перемирие, была весна,

березки, пригнутые к земле, поднимали зеленые головки, сосны вытягивались, выправлялись.

Мне нужно было добывать себе пищу, и я позволял себе увлекаться охотой как серьезным жизненным делом. В лесу на пустых полянках мне попадались красивые кроншнепы, перелетали стайки турухтанов. Но больше всего мне нравилось подкрадываться к незнакомым мне морским птицам. Издали, из леса, я замечал спокойные, то белые, то черные головки. Тогда я снимал свою котомку, оставлял ее где-нибудь под заметной сосной или камнем и полз. Я полз иногда версту и две: воздух на Севере прозрачный, я замечал птицу далеко и часто обманывался в расстоянии. Я растирал себе в кровь руки и колени о песок, об острые камни, о колючие сучки, но ничего не замечал. Ползти на неизвестное расстояние к незнакомым птицам — вот высочайшее наслаждение охотника, вот граница, где эта невинная, смешная забава переходит в серьезную страсть. Я ползу совсем один под небом и солнцем к морю, но ничего этого не замечаю потому, что так много всего этого в себе; я ползу, как зверь, и только слышу, как больно и громко стучит сердце: стук, стук. Вот на пути протягивается ко мне какая-то наивная зеленая веточка, тянется, вероятно, с

любовью и лаской, но я ее тихонько, осторожно отвожу, пригибаю к земле и хочу неслышно сломать: пусть не смеет в другой раз попадаться мне на пути, раз… раз… Она громко стонет. Я страшно пугаюсь, ложусь вплотную к земле, думаю: все пропало, птицы улетели. Потом осторожно гляжу вверх, на небо… Птиц нет, все спокойно, больные сосны лечатся солнцем и светом, ослепительно сверкает зелень северных березок, все тихо, все молчит. Я ползу дальше к намеченному камню, приготовляю ружье, взвожу курки и медленно выглядываю из-за камня. Моя голова у белого камня поднимается, как черная муравьиная кочка, стволы не видны в мягком ягеле. Иногда так перед собой в четырех-пяти шагах я вижу больших незнакомых птиц. Одни спят на одной ноге, другие купаются в море, третьи просто глядят на небо одним глазом, повернув туда голову. Раз я так подкрался к задремавшему на камне орлу, раз — к семье лебедей.

Мне страшно шевельнуться, я не решаюсь направить ружье в спящую птицу. Я смотрю на них, пока какое-нибудь нечаянное горькое воспоминание не обломит под локтем сучок и все птицы со страшным шумом, плеском, хлопаньем крыльев разлетятся в разные стороны. Я не сожалею,

не сержусь на себя за свой промах и радуюсь, что я здесь один, что этого никто не видел из моих товарищей-охотников. Но иногда я убиваю. Пока птица еще не в моих руках, я чем-то наслаждаюсь еще, а когда беру в руки, то все проходит. Бывают тяжелые случаи, когда птица не дострелена. Тогда я иногда начинаю думать о своей страсти к охоте и природе как о чем-то очень нехорошем, мне тогда кажется, будто это чувство питается одновременным стремлением к убийству и любви, а так как оно исходит из недр природы, то и природа для меня как охотника только теснейшее соприкосновение убийства и любви…

Я так размышляю, но мне на дороге попадаются новые птицы; я опять увлекаюсь и забываю то, о чем думал минутою раньше.

Красные Горы

19 мая

В одном из черных домиков, у моря, под сосной с сухой вершиной живет бабушка-задворенка. Ее избушка называется почтовой станцией, и обязанность старушки — охранять чиновников. Онежский почтовый тракт с этого места уходит на юг, а мой путь — на север, через Унскую губу. Только отсюда начинаются самые глухие места. Я хочу в ожидании лодки отдохнуть у бабушки, изжарить птицу и закусить.

— Бабушка, — прошу я, — дай мне сковородку, птицу изжарить.

Но она отшвыривает мою птицу ногой и шипит:

— Мало вас тут шатается. Не дам, прожгешь.

Я вспоминаю предупреждение Алексея: «Где хочешь живи, но не селись ты на почтовой станции, — съест тебя злая старуха», — и раскаиваюсь, что пришел к ней.

— Ах ты, баба-яга, костяная твоя нога! — не выдерживаю я…

За это она меня вовсе гонит под тем предлогом, что с часу на час должен приехать генерал и

занять помещение. Генерал же едет в Дураково море делить.

Я не успел открыть рот от изумления и досады, как старуха, посмотрев в окно, вдруг сказала:

— Да, вишь, вон и приехали за генералом. Вон идут с моря. Алексей прислал. Ступай-ка, ступай, батюшка, куда шел.

А потом еще раз оглядела меня и воскликнула:

— Да уж не ты ли и сам генерал!

— Нет, нет, бабушка, — спешу я ответить, — я не генерал, а только лодка эта за мной послана.

— Ин и есть! Вот так и ну! Прости меня, ваше превосходительство, старуху. За политика тебя приняла, нынче все политику везут. Сила несметная, все лето везут и везут. Марьюшка, ощипи ты поскорей курочек, а я яишенку поставлю.

Я умоляю бабушку мне поверить. Но она не верит: я настоящий генерал; я уже вижу, как усердно начинают щипать для меня кур.

Тут вошли три помора и две женки — экипаж поморской почтовой лодки. Старый дед-кормщик, его так и зовут все «коршик», остальные — гребцы: обе женки с грубыми обветренными лицами, потом «Мужичок с ноготок — борода с локоток» и молодой парень, белокурый, невинный, совсем Иванушка-дурачок.

Я генерал, но все здороваются со мной за руку, все усаживаются на лавку и едят вместе со мной яичницу и птицу. А потом Мужичок с ноготок, не обращая на меня внимания, сыплет свои прибаутки женке, похожей на бомбу, начиненную смехом. Мужичок болтает, бомба лопается и приговаривает: «Ой! одóлил Степан. Степаны сказки хлебны, скоромны. Вот бороду вокруг кулака обмотаю, да и выдерну».

Но как же это, ведь я же генерал. Даже обидно. Или уже это начинается та священная страна, где не ступала нога начальства, где люди живут, как птицы у берега моря.

— Приезжай, приезжай, — говорят мне все, — у нас хороший, приемистый народ. Живем мы у моря. Живем в стороне, летом семушку ловим, зимой зверя промышляем. Народ наш тихий, смиреный: ни в нем злости, ни в нем обиды. Народ — что тюлень. Приезжай.

Сидим, болтаем; близится вечер и белая ночь у Белого моря. Мне начинает казаться, что я подполз совсем близко к птицам у моря, высунулся из-за белого камня, как черная муравьиная кочка, и никто не знает кругом, что это не кочка, а злой зверь.

Степан начинает рассказывать длинную сказку

про златоперого ерша.

Море

20 мая

Мы выедем только на рассвете по «полой воде»[8]. Каждые шесть часов на Белом море вода прибывает и потом шесть часов убывает. «По сухой воде»[9] наша лодка где-то не проходит.

С каждым днем светлеют все ночи, потому что я еду на север и потому что время идет. Каждую такую ночь я встречаю с любопытством, и даже особая тревога и бессонница этих ночей меня не смущают. Я будто пью теперь неведомый наркотический напиток, и изо дня в день больше и больше. Что выйдет из этого? Спать привыкаю днем.

Мужичок с ноготок журчит свою сказку. Мне и сказка интересна, и туда тянет, за стены избушки. Море хотя и с той стороны избушки, но я угадываю, что там делается, по золотой лужице на дороге.

— Солнце у вас садится? — перебиваю я сказку.

---

[8] Примечания: 8
Во время прилива. *–Прим. автора.*

[9] Примечания: 9
Во время отлива. *–Прим. автора.*

— Почитай, что и не закатается, уткнется, как утка в воду, — и наверх.

И опять журчит сказка и блестит лужица. Кто-то, слышно, спит. Пробегает серая мышь.

— Да вы спите, крещеные? — останавливается рассказчик.

— Нет, нет, нет, рассказывай, мани, старик!

— Ай, еще потешить вас сказочкой? Есть сказочка чудесная, есть в ней дивы-дивные, чуды-чудные.

— Мани, мани, старик!

Все по-прежнему журчит сказочка.

Пробежала еще одна темная мышь. Захрапел старый дед, свесил голову Иванушка, уснула женка, уснула другая. Но старуха не спит. Это она остановила день, заворожила ночь, и оттого этот день походит на ночь и эта ночь на день.

— Все уснули, крещеные? — опять окликает Мужичок с ноготок.

— Нет, я не сплю, рассказывай!

Проехал черный всадник, и конь черный, и сбруя черная…

Засыпает и рассказчик, чуть бормочет. Еле слышно… Из одной бабушки-задворенки делается четыре, из каждого угла глядит черная злая колдунья.

Пробежали Зорька, Вечерка, Полуночка.

Проехал белый всадник, и конь белый, и сбруя белая…

Спохватился рассказчик:

— Вставайте, крещеные, вода прибывает, вставайте! Пошлет господь пóветерь, в лодке уснете.

Мы тихо идем по песку к морю. Рассыпалась деревенька черными комочками на песке, провожает нас розовыми глазами. Вот-вот залает…

— А там парус, судно бежит!

Все смеются надо мной.

— Не парус, это чайка уснула на камне.

Мы подъезжаем к ней. Она лениво потягивается крыльями, зевает и летит далеко, далеко в море. Летит, будто знает, зачем и куда. Но куда же она летит? Есть там другой камень? Нет… Там дальше морская глубина. А может быть, там, в неизвестной пурпуровой дали, где-нибудь служат обедню? Это первая, мы ее разбудили, она полетела, но еще не звонили.

Прозвенела светлая, острая стрела…

Будто наши южные степи откликнулись сюда, на Север.

— Что это?

— Журавли проснулись…

— А там наверху?

— Гагара вопит…

— Там?

— Кривки на песочке накликáют.

Протянулись веревочкой гуси, строгие, старые, в черном, один за другим, все туда, где исчезла таинственной темной точкой белая чайка.

Гуси — совсем как первые старики по дороге в деревенскую церковь. Потом повалили несметными стаями гаги, утки, чайки. Но странно, все туда, в одном направлении, где горит общий край моря и неба. Летят молча, только крылья шумят.

К обедне, к обедне!

Но благовеста нет… Странно… Почему это?

Когда это, где это служили еще такую прекрасную, таинственную и веселую обедню?

Холодно, но радостно было перед старой, тяжелой дверью. Старушка сказала: целый год не открывалась, но сейчас откроется, сама откроется.

— Боженька сам ее откроет.

Из мрака подходили молчаливые черные люди и становились вокруг нас…

— Станьте на цыпочки, деточки, идут!

Над толпою блеснул золотой крест. Скрипнула тяжелая железная дверь и чудесной силой открылась…

Обдала волна света и звуков.

Христос воскресе! Воистину воскресе!

Крестится старый кормщик на восходящее солнце.

— Солнышко! Слава тебе господи! Походный ветерок дунул. Бог поветерь шлет. Ставь, женка, парус живее!

Зашумели, закричали со всех сторон птицы, рассыпались несметные стаи возле самой лодки, говорливые, болтливые, совсем деревенские девушки после обедни.

Танцуют, прыгают, ликуют золотые, синие, зеленые зыбульки. Шутит забавный Мужичок с ноготок с женкой. И где-то далеко у берега глухо умирает прибой, последний стон несчастного в светлое Христово воскресенье.

* * *

— Ивашенько, Ивашенько, выдь на бережочек, — зовут с берега горки, угорки, сосны и камни.

— Челнок, челнок, плыви дальненько, — улыбается рассеянно Иванушка и ловит веслами смешные огнистые зыбульки. Женки затянули старинную русскую песню про лебедь белую, про травушку и муравушку. Ветер подхватывает песнь, треплет ее вместе с парусом, перепутывает

ее с огненными зыбульками. Лодка колышется на волнах, как люлька, все добродушней, ленивей становится мысль…

— Чайку бы…

— Можно, можно, женки, грейте самовар!

Разводят самовар, готовится чаепитие на лодке, на море. Чарка обошла круговую, остановилась на женках. Немножко поломались и выпили.

Много ли нужно для счастья! Сейчас, в эти минуты, я ничего для себя не желаю.

— А ты, Иванушка? Есть у тебя Марья Моревна?

Глупый царевич не понимает.

— Ну, любовь, любишь ты?

Все не понимает. Я вспоминаю, что на языке простого народа любовь нехорошее слово: оно выражает грубо-чувственную сторону, а самая тайна остается тайной без слов.

От этой тайны пылают щеки деревенской красавицы, такими тихими и интимными становятся грубые, неуклюжие парни. Но словом не выражается. Где-нибудь в песне еще прозвучит, но так, в обычной жизни, слово «любовь» нехорошо и обидно.

— Жениться собираешься? Есть невеста?

— Есть, да у таты все не готово. Изба не покрыта.

В подмоге не сходятся.

Женки нас слышат, сожалеют Иванушку. Времена настали худые, семги все меньше, а подмоги все больше.

В прежние годы много легче было: за Катерину десятку дали, а Павлу и вовсе за три рубля купили и пропили.

— Дорогая Марья Моревна?

— Голой рукой не возьмешь.

— Можно убегом и без подмога, — говорит, помолчав, Иванушка.

— Вот-вот, — подхватываю я, — надо украсть Марью Моревну.

— Поди-ка, украдь, как ночи светлые. Попробовал один у нас красть, да поймали, да все изодрались, и всю рубашку вокруг невесты изорвали. Потемнеет осенью, может быть, и украду.

Так я и знал, так и думал про эти светлые северные ночи. Они безгрешные, бестелесные, они приподняты над землей, они — грезы и о нездешнем мире. Этой избушки в лесу вовсе и не было, никто не рассказывал сказки, а просто так померещилось, и запомнился мелькающий свет от улетевшей вчера из рук белой странички.

Усталость! Страшная усталость! Как бы хорошо теперь заснуть нашей темною, южною, грешною

ночью.

Бай-бай, — качает море.

Склоняется темная красавица со звездами и месяцем в тяжелой косе.

Усни, глазок, усни, другой!

Я вздрагиваю. Совсем близко от нас показывается из воды большая серебряная спина, куда-куда больше нашей лодки. Чудовище проводит светлую дугу над водой и опять исчезает.

— Что это? Белуха? — неуверенно спрашиваю я.

— Она, она. Ух! И там!

— И там! И там! Что лед! Воду сушит!

Я знаю, что это огромный северный зверь из породы дельфинов, что он не опасен. Но если вынырнет совсем возле лодки, зацепит случайно хвостом?

— Ничего, ничего, — успокаивают меня спутники, — так не бывает.

Они все, перебивая друг друга, рассказывают мне, как они ловят этих зверей. Когда вот так, как теперь, засверкают на солнце серебряные спины, все в деревне бросаются на берег. Каждый приносит по две крепких сети, и из всех этих частей сшивают длинную, больше трех верст, сеть. В море выезжает целый флот лодок: женщи-

ны, мужчины, старые, молодые — все тут. Когда белуха запутается, ее принимают на кутило[10].

— Веселое дело! Тут и женок купают, тут и зверя бьют, смеху, граю! И женки тоже не промах, тоже колют белух, умеют расправиться.

Как же это красиво!.. Большие хвостатые звери, женщины с пиками… Сказочная, фантастическая битва на море…

Ветер быстро гонит нашу лодку по морю вдоль берега, Иванушка перестал помогать веслами, задремал у борта. Женки лежат давно уже одна возле другой на дне лодки возле потухшего самовара, Мужичок с ноготок перебрался к носу и так и влип там в черную смолу.

Не спит только кормщик, молчаливый северный старик. Возле кормы на лодке устроен небольшой навес от дождя, «заборница», вроде кузова на нашей дорожной таратайке. Туда можно забраться, лечь на сено и дремать. Я устраиваюсь там, дремлю… Иногда вижу бородатого мужика и блестки от серебряных зверей, а иногда ничего, — какие-то красные огоньки и искры в тьме.

Наша зыбка не скрипит, ветер не свистит о мачту.

---

[10] Примечания: 10
Гарпун. *–Прим. автора.*

Не все ли равно, где ни жить? Везде есть люди, немножко проще, немножко сложнее. Но тут свободнее, тут море и эти красивые серебряные звери. Вон там один, вон другой, вон лодка, другая, целый флот. Иванушка с Марьей Моревной закидывают в море сеть. Запутался большой северный серебряный зверь.

Ударила кутилом Марья Моревна, покрылось кровью Белое море.

— Марья Моревна, морская царевна, — молит он человеческим голосом, — за что ты меня губишь? Не коли меня, я тебе пригожусь.

Заплакала Марья Моревна, канула горячая слеза в холодное Белое море…

— Спасай меня, красная девица, сними с себя дорогой платочек, намочи в синем море!

Сняла царевна шелковый платочек, помочила в синем море.

Взял платочек, прижал к своей ране и спустился на холодное дно. И лежал там тысячи лет.

Плачет купава у берега.

— Слышишь, старый? — шепнули две рыбки.

— Слышу, деточки, слышу.

Поднимается старый, сверкает серебряной спиной на солнце и несет свою Марью Моревну по Белому морю на Святые острова.

Где это было, когда это было, что это было?

* * *

Сказки, и белые ночи, и вся эта бродячая жизнь запутали даже и холодный, рассудочный северный день.

Я проснулся. Солнце еще над морем, еще не село. И все будто грезится сказка.

Высокий берег с больными северными соснами. На песок к берегу с угóра сбежала заморская деревушка. Повыше — деревянная церковь, и перед избами много высоких восьмиконечных крестов. На одном кресте я замечаю большую белую птицу. Повыше этого дома, на самой вершине угора, девушки водят хоровод, поют песни, сверкают золотистыми, блестящими одеждами. Совсем как на картинках, где изображают яркими красками Древнюю Русь, какою никто никогда не видел и не верит, что она такая. Как в сказках, которые я записываю здесь со слов народа.

— Праздник, — говорит Иванушка, — девки на угор вышли, песни поют.

— Праздник, праздник, — радуются женки, что ветер донес их вовремя домой.

Наверху мелькают девушки своими белыми плечами, золотыми шубейками и высокими

повязками. А внизу из моря на желтый берег выползли черные бородатые люди, неподвижные, совсем как эти беломорские тюлени, когда они выходят из воды погреться на берег. Я догадываюсь, они сшивают сети для ловли дельфинов.

Мы приехали не вовремя, в сухую воду[11].

Между нами и песчаным берегом широкая, черная, покрытая камнями, лужами и водорослями темная полоса; тут лежат, наклонившись набок, лодки, обнажились рыбные ловушки. Это место отлива, по-архангельски «ку́йпога».

Мы идем по этой куйпоге, утопая по колено в воду и грязь. Множество мальчишек, приподняв рубашонки, что-то нащупывают в воде ногами. Топчутся. Поют песню.

— Что вы тут делаете, мальчики? — спрашиваю я.

— Топчем камбалку.

Достают при мне из воды несколько рыб, почти круглых, с глазами на боку… Поют:

Муля, муля, приходи, цело стадо приводи,

Либо двух, либо трех, либо целых четырех.

«Муля», узнал я, какая-то другая, совсем маленькая рыбка, а эту песенку дети выслушали тут,

---

[11] Примечания: 11

Отлив. *–Примечание автора.*

на отливе. И сами эти ребятишки, быть может, скатились сюда, на отлив, с угора, а быть может, море их тут забыло вместе с рыбами.

Старый кормщик улыбается моему вниманию к этим свободным детям и говорит:

— Кто от чего ро́дится, тот тем и занимается.

Кое-как мы достигаем берега; теперь уже ясно, что это не морские звери, а люди сидят на песке, поджав ноги, почтенные бородатые люди путают и распутывают какие-то веревочки. Наши присоединяются к ним, и только женки уходят в деревню, — верно, собираются на угор. Мужичок с ноготок достает себе клубок пряжи, привязывает конец далеко за углом в проулке и начинает крутить, сучить и медленно отступать.

Покрутит-покрутит и ступит на шаг. А навстречу ему с другого конца отступает точно такой же Мужичок с ноготок. Когда-то встретятся спинами эти смешные старики?

Иванушка зовет меня смотреть Марью Моревну. Мы поднимаемся на угор.

— Здравствуйте, красавицы!

— Добро пожаловать, молодцы!

Девушки в парчовых шубейках, в жемчужных высоких повязках плавают взад и вперед. Нам с Иванушкой за бугром не видно деревни, но одно

только море, и кажется, будто девушки вышли из моря.

Одна впереди, лицо белое, брови соболиные, коса тяжелая. Совсем наша южная красавица — ноченька темная, со звездами и месяцем.

— Эта Марья Моревна?

— Эта… — шепчет Иванушка. — Отец вон там живет, вон большой дом с крестом.

— Кощей Бессмертный? — спрашиваю я.

— Кощей и есть, — смеется Иванушка. — Кощей — богач. У него ты и переночуешь, и поживешь, коли поглянется.

Солнце робко остановилось у моря, боится коснуться холодной воды. Длинная тень падает от креста Кощея на угор.

Мы идем туда.

— Здравствуйте, милости просим!

Сухой, костлявый старик с красными глазами и жидкой бородой ведет меня наверх в «чистую комнату».

— Отдохни, отдохни. Ничего. Что ж. Дорога дальняя. Уморился.

Я ложусь. Меня качает, как в лодке. Качнусь и вспомню: это не лодка, это дом помора. На минутку перестает качать и опять. Я то засыпаю, то пробуждаюсь и открываю глаза.

Впереди, за окном, большой восьмиконечный крест благословляет горящее полуночной зарей море. На берегу люди, похожие на морских зверей, все еще сшивают сети, а те два смешные старика все крутят веревочки, все еще не встретились, все еще не выходил чертенок из моря и не загадывал им загадок. Долетают песни с угора.

Баю-бай, — качает море. Грезится девица с темной косой. Брызнули звезды. Выглянул месяц. Заиграло певучее дерево. Запели птицы разными голосами. Грешная красавица шепчет: спи-усни, спи, глазок, усни, другой.

Ноченька темная, радость моя…

Это грезы… Светлая северная ночь. Все тихо. Спят. Как они могут спать такой светлой, безгрешной ночью? Покоятся. Сверкнула золотая шубейка под черным крестом. Стукнуло внизу, стихло. Уснула.

Бай-бай, сестрица, бай-бай, родимая.

Шепчет темная красавица своей светлой непонятной сестрице:

— Спи, милая, спи, родимая. Что тебе на сердце пало? Так и не скажешь? Ну, спи. Спи, усни. Усни, глазок, усни, другой.

Закрыла глазок, закрыла другой.

А про третий забыла…

И по-прежнему смотрит светлая сестрица, молчит своей нездешней смертельной тоской.

По всему небесному своду, по земле, по воде обвела колдунья мертвою рукою заколдованный круг.

И земля-то спит, и вода-то спит!

Качает красавица старого медведя.

Бай-бай. Скрип, скрип.

Вдруг утка крякнула, берега звякнули. Полетели гуси-лебеди.

Гуси-лебеди, гуси-лебеди, киньте два перышка, возьмите меня с собой!

Кинули гуси-лебеди два перышка. Упали два белые на черный крест.

Подкрался Иван-царевич, прислонился к кресту, шепчет:

— Выходи, Марья Моревна, спустили нам гуси-лебеди два пера.

Летят царевич с царевной над морем.

Дедушка водяной высунул голову. Какой он… Видно все его желтое, старое тело. Зачем так… Спрячься…

— Дедушка, дедушка, где твоя золотая головушка, серебряная бородушка? Скажи, видно нас?

— Видно, деточки, видно, летите скорее.

— И так видно?

— Всяко видно. Летите, летите.

Как пар поднимаются со Белого моря душки покойников. Реют неслышно, как прозрачные стеклянные птицы. Умываются на подоконниках. Вытираются чистыми полотенцами. Садятся на князьки, на крыши, на трубы, на сети, на лодки, на большие изорванные сосны, на шкуры зверей, на высокие черные восьмиконечные кресты.

Бай-бай. Скрип-скрип.

У Марьи Моревны

21 мая

Радостно стучит и бьется на новом месте волшебный колобок.

Так свежа, молода эта песенка: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел».

Я в «чистой» комнате зажиточного помора. Посреди нее с потолка свешивается вырезанный из дерева, окрашенный в сизую краску голубок. Из угла смотрят на меня преподобные Зосима и Савватий, перед ними догорает лампада. А этот крест перед окнами к морю, вероятно, поставил еще благочестивый прадедушка помора. Шторм разбил его шкуну, и он спасся на обломке мачты.

В память чуда и поставлен здесь крест высотой с этот двухэтажный дом.

В верхнем этаже чистая комната для гостей, а внизу живут хозяева. Я слышу оттуда мерный стук. Будто от деревенского прядильного станка.

И хорошо же вот так удрать от всех в какое-то новое место, полное таинственных сновидений. Хорошо так касаться человеческой жизни с призрачной, прекрасной стороны и верить, что это — серьезное дело. Хорошо знать, что это не скоро

кончится. Как только колобок перестанет петь свою песенку, я пойду дальше. А там еще таинственнее. Ночи будут светлеть с каждым днем, и где-то далеко отсюда, за Полярным кругом, в Лапландии, будут настоящие солнечные ночи.

Я умываюсь. Чувствую себя бесконечно здоровым.

Мое занятие — этнография, изучение жизни людей. Почему бы не понимать его как изучение души человека вообще? Все эти сказки и былины говорят о какой-то неведомой общечеловеческой душе. В создании их участвовал не один только русский народ. Нет, я имею перед собою не национальную душу, а всемирную, стихийную. И такую, какою она вышла из рук творца.

Мечты с самого утра. Я могу летать здесь, куда хочу, я совершенно один. Это одиночество меня нисколько не стесняет, даже, освобождает. Если захочу общения, то люди всегда под рукой. Разве тут, в деревне, не люди? Чем проще душа, тем легче увидеть в ней начало всего. Потом, когда я поеду в Лапландию, вероятно, людей не будет, останутся птицы и звери. Как тогда? Ничего. Я выберу какого-нибудь умного зверя. Говорят, тюлени очень кроткие и умные. А потом, когда останутся только черные скалы и постоянный

блеск не сходящего с неба солнца? Что тогда? Камни и свет… Нет, этого я не хочу. Мне сейчас страшно… Мне необходимо нужен хоть какой-нибудь кончик природы, похожий на человека. Как же быть тогда? Ах, да очень просто: я загляну в бездну и удеру — ла-та-та… И опять запою: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел».

Ничего… Мы бежим по лестнице с моим волшебным колобком вниз.

— Стук, стук! Есть ли кто тут жив человек?

Марья Моревна сидит за столиком, перебирает ниточки, пристукивает. Одна.

— Здравствуй, Марья Моревна, как тебя зовут?

— Машей!

— Так и зовут?

Царевна смеется.

Ах, эти веселые белые зубы!

— Чайку хочешь?

— Налей.

Возле меня за лавкой в стене какое-то отверстие, можно руку просунуть, закрывается плотно деревянной втулкой. Так в старину по всей Руси подавали милостыню. Приходили странники, калики-перехожие и свой близкий человек. Левая рука не знала, что делает правая. А может быть, и не так хорошо было, как кажется?

Но вот это отверстие. Старина…

— Как это называется? — спрашиваю я о какой-то части станка.

— Это ставило, это набилки, бобушки, бердо, разлучница, приставница, пришвица.

Я спрашиваю обо всем в избе, мне все нужно знать, и как же иначе начать разговор с прекрасной царевной? Мы все пересчитываем, все записываем, знакомимся, сближаемся и смолкаем.

Пылает знаменитая русская печь, огромная, несуразная. Но без нее невозможна русская сказка. Вот теплая лежанка, откуда свалился старик и попал в бочку со смолой. Вот огромное горло, куда бросили злую колдунью; вот подпечье, откуда выбежала к красной девице мышка.

— Спасибо тебе, Маша, что чаем напоила, я тебе за это Иванушку посватаю.

Горят щеки царевны ярче пламени в печи; сердитая, бросает гордо:

— Изба низка! Есть и получше, да не иду.

«Врет все, — думаю я, — а сама рада».

Мы еще на ступеньку ближе с царевной. Ей будто хочется мне что-то сказать, но не может. Долго копается у стенки, наконец подходит, садится рядом. Она осматривает упорно мои сапоги, потом

куртку, останавливается глазами на моей голове и говорит ласково:

— Какой ты черный!

— Не подъезжай, не подъезжай, — отвечаю я, — сосватаю тебе и так Иванушку…

— Поедем семгу ловить, — предлагает она мне совсем уже попросту.

— Поедем.

На берегу мы возимся с лодкой; откуда-то является на помощь Иванушка и тоже едет с нами. Я становлюсь в романе третьим лицом. Иванушка хочет что-то сказать царевне, но она тактична; она искоса взглядывает на меня и отвечает ему презрительно:

— Губ не мочи, говорить не хочу.

Тогда начинается разговор о семге, как в гостиной о предметах искусства.

— Семга, видишь ли, — говорит мне Иванушка, — идет с лета. Человек ходит по свету, а семга по месяцу. Вот ей на пути и ставим тайник, ловушку.

Мне тут же и показывают этот тайник: несколько сетей, сшитых так, чтобы семга могла войти в них, а уйти не могла. Мы ставим лодку возле ловушки и глядим в воду, ждем рыбу. Хорошо, что тут роман, а вот если бы так сидеть одному и

покачиваться в лодке?

— Другой раз и неделю просидишь, — угадывает меня Иванушка, — и две, и месяц… ничего. А придет час удачи — за все ответит.

Подальше от нас покачивается еще такая же лодка, дальше — еще, еще и еще… И так сидят недели, месяцы, с весны до зимы, стерегут, как бы не ушла из тайника семга. Нет, я бы не мог. Но вот если слушать прибой или передавать на полотно эти северные краски, — не тоны, полутоны, а может быть, десятые тонов… Как груба, как подчеркнута наша южная природа сравнительно с этой северной интимной красотой! И как мало людей ее понимают и ценят!

Я замечтался и, наверно, пропустил бы семгу, если бы был рыбаком. Марья Моревна довольно сильно толкнула меня в бок кулаком.

— Семга, семга! — тихо шепчет она.

— Перо сушит, — отвечает Иванушка.

Это значит, что рыба давно уже попалась и поднялась теперь наверх, показывает перо[12] из воды.

Мы поднимаем сеть и вместо дорогой семги вытаскиваем морскую свинку, совсем ненужную.

---

[12] Примечания: 12
Плавник. *–Прим. автора.*

Жених с невестой заливаются смехом.

Вышел веселый анекдот:

— Семга, семга, а ин свинка!

…Мало-помалу все улеглось. От толпы отделились десять седых мудрых старцев и направились к дому Кощея. Остальные опять уселись по своим местам на песок. Сам Кощей подошел к берегу и закричал нам:

— Греби сюда, Ма-аша!

Я беру на руки морскую свинку, Иванушка садится, а Марья Моревна гребет.

— Старики с тобой поговорить хотят, господин, — встретил нас Кощей.

«Что-то недоброе, что-то недоброе!» — шепнул мне волшебный колобок.

Мы входим в избу. Мудрецы встают с лавок, торжественно приветствуют.

«Что такое? Что вы?» — спрашиваю я глазами.

Но они смеются моей свинке, приговаривают:

— Семга, семга, а ин свинка!

Вспоминают, как одному попал в тайник морской заяц, другому — нерпа, третий вытащил то, что ни на что не похоже.

Так долго продолжался оживленный, но искусственный разговор. Наконец, все смолкают, и только один, ближайший ко мне, как отставший

гусь, повторяет: «Семга, семга, а ин свинка».

— Но в чем же дело? Что вам нужно? — не выдерживаю я этого тягостного молчания.

Мне отвечает самый старый, самый мудрый:

— Тут приходил человек из Дуракова…

— Алексей, — говорю я и мгновенно вспоминаю, как он сделал меня у бабушки генералом. Верно, и тут что-нибудь в этом роде. Прощай, мои сказки!

— Алексей? — спрашиваю я.

— Алексей, Алексей, — отвечают разом все десять.

А самый мудрый, седой, продолжает:

— Алексей сказывал: едет от государя императора член Государственной думы море делить в Дураково. Кланяемся тебе, ваше превосходительство, прими от нас семушку!

Старик подносит мне огромную, пудовую семгу. Я отказываюсь принять и, потерявшись, извиняюсь тем, что у меня на руках уже есть свинка.

— Брось ты эту дрянь, на что она тебе? Вот какую рыбинку мы тебе изловили, полагается первая Богу, ну, как ты у нас редкий гость, то Господь и потерпит, не обойдем и его.

Другой старик вынимает из пазухи бумагу и подает. Я читаю:

«Члену Государственной думы по фотографическому отделению.

Прошение.

Население умножилось, и море по-старому, сделай милость житья нет, раздели нам море…»

Что такое? Глазам не верю… И вдруг вспоминаю, что где-то на станции мы брали обывательских лошадей, и я расписывался: «От географического общества». Потом — фотографический аппарат… И вот я стал членом Думы по фотографическому отделу. Я припоминаю, что Алексей мне говорил о каких-то двух враждебных деревнях, где не хватает хоть какого-нибудь начальства, чтобы кончить вековую вражду.

И у меня мелькает мысль: а почему бы и не разделить мне этим бедным людям море? Раз тут не бывает начальство, то не есть ли это перст указующей руки всевышнего, предначертавший мне и здесь, в пустыне, выполнить свой гражданский долг? Здесь мои поэтические стремления, всегда противоположные жизни, сливаются с грубейшим бытием, здесь, в этой беломорской деревушке, я и поэт, и ученый, и гражданин.

— Хорошо, — говорю я старцам, — хорошо, друзья, я разделю вам море.

Мне нужен точный подсчет экономического

положения деревни. Я беру записную книжку, карандаш и начинаю с земледелия, как основы экономической жизни народа.

— Что вы сеете здесь, старички?

— Сеем, батюшка, все, да не родится ничего.

Я так и записываю. Потом спрашиваю о потребностях и узнаю, что на среднее семейство в шесть душ нужно двенадцать кулей муки. Узнаю, что, кроме необходимых потребностей, существуют роскоши, что едят калачи, по праздникам щелкают орехи и очень любят кисель из белой муки.

— Откуда же вы берете на это деньги?

— А вот, поди знай, откуда взять? — ответили все десять.

Но я все-таки узнаю: деньги получают от продажи зверей, наваги, сельди и семги.

Узнаю, что все эти промыслы ничтожны и случайны, кроме семги.

— Стало быть, кормит вас семга?

— Она, матушка. Сделай милость, раздели!

— Хорошо, — говорю я. — Теперь к разделу. Сколько у вас душ?

— Двести восемьдесят три души!

— И с женками?

— Нет. Женские души не считаются, тех хоть сколько ни будь.

Потом я узнаю, что берег моря принадлежит деревне в одну сторону на двадцать верст, в другую — на восемь, что на каждой версте находится тоня.[13] Я записываю названия тоней: Баклан, Волчок, Солдат… Узнаю своеобразные способы раздела этих тонь на жребии. Всего тонь оказывается 44 и еще 12 архиерейских, одна Сийского монастыря, одна Никольского, одна Холмогорского.

Точно таким же образом узнаю положение соседней деревни Дураково. Но положительно не могу понять претензий старцев на тони этой еще более бедной деревни.

— Почтенные, мудрые старцы, — наконец говорю я. — Без соседей я море делить вам не буду: пошлите немедленно Иванушку за представителями.

Старцы молчат, гладят бороды.

— Да зачем нам дураковцы?

— Как зачем? Море делить!

— Так не с ними делить! — кричат все вместе. — Дураковцы нас не обижают. Это их с Золотицей делить, только не нас. Нас с монахами делить. А дураковцы ничего… тех с Золотицей. Монахи

---

[13] Примечания: 13

Рыболовный промысел; рыбная ловля. *–Прим. автора.*

самые лучшие тони отобрали.

— Как же они смели? — гневаюсь я. — По какому праву?

— Права у них, батюшка, давние, еще со времен Марфы Посадницы.

— И вы их уважаете… эти права?

Старцы чешутся, поглаживают бороды, очевидно, уважают.

— Раз у монахов такие стародавние права, как же могу я вас с ними делить?

— А мы, ваше превосходительство, думали, что как ты от Государственной думы, так отчего бы тебе этих монахов не согнать?

До этих слов я все еще надеюсь, все еще думаю выискать в своей записной книжке яркую страницу с цифрами и разделить море и соединить поэзию, науку и жизнь. Но вот это роковое слово: «согнать». Просто и ясно — я здесь генерал и член Государственной думы: почему бы не согнать этих монахов, зачем им семга? Я — враг этих длинных рыб на архиерейском столе. Согнать! Но я не могу. Мне кажется, будто я вошел, как морская свинка, в тайник и, куда ни сунусь, встречаю крепкие веревки. Я еще механически перебираю в голове число душ, уловов, но все больше и больше запутываюсь.

Семга, семга, думают старцы, а ин свинка!

А в углу-то сверкают белые зубы Марьи Моревны, и, Боже мой, как заливается смехом мой волшебный колобок…

По обещанию

Будем как солнце! Забудем о том,
Кто нас ведет по пути золотому.

К.Д. Бальмонт

9 июня. Полночь

Еще немного на север, еще несколькими днями ближе к времени летнего солнцестояния. Теперь я уже приучил себя спать днем, и так крепко, как никогда не спал дома. Но как только солнце приближается к воде, я просыпаюсь и брожу возле моря, будто ожидая чего-то особенного. Брожу всю ночь и утро, пока не станет обыкновенно, так же как и у нас, так же как и у всякого моря днем при хорошей или при дурной погоде.

Сегодня мой хозяин, перевозчик богомольцев на Соловецкие острова, просил меня не уходить. Вчера ночью пришел последний, десятый странник, и на рассвете старик повезет нас, десять грешников, на Святые острова.

От нечего делать опишу вчерашнюю ночь. Не знаю только, что из этого выйдет: я не привык

писать ночью при свете солнца.

Вчера меня разбудил ночной солнечный луч. Пробудился и вдруг представил себе свое путешествие как восхождение на высокую солнечную гору. Иду туда из темного туннеля, сначала мне виден только бледный свет, потом ярче и ярче разгорается заря, и я выхожу. Тут лес, видно море. Но еще выше нет леса, еще выше какие-то темные скалы в вечном сиянии солнца. Иду наверх по камням. Что там?

На стене висит охотничье ружье; беру его, заряжаю на уток и выхожу бродить по своей таинственной солнечной горе.

Перед самым домом моего хозяина спит на кольях огромный невод, спят шкуры морских зверей, спят длинные сухие рыбы. Подальше к морю улеглись, повернувшись спиною наверх, лодки, у самой воды свесился неизменный черный крест. Там сидит старик с огромными плечами, будто выбитый холодным морем каменный истукан. Он такой неподвижный и спокойный, что даже белая птица на кресте не боится его, принимая за камень.

Это мой хозяин помор, сидит без дела, дожидается странников-богомольцев.

Подхожу к нему. Он не обращает на меня вни-

мания, молчит: северные люди скупы на слова. И не только люди, но и все, вся природа. Вот только ленивая прибойная волна рассыпается и говорит нам: здрав-с-твуйте, здрав-с-твуйте.

— Все море копается, все море копается, — говорит он наконец. — Все копается. А отчего копается, видно, уж ему так Богом написано.

Он смотрит на золотой путь и будто там, вдали, ищет причину.

И там, в море, отвечают. Из воды навстречу солнцу выдвигается золотое подножие. Красный потухающий диск, на который теперь можно долго смотреть, сжимается, вытягивается навстречу солнцу и сливается с ним. Что это? Престол Господний? Не знаю что, но на минуту так понятно, отчего светится небо, и копается море, и волна так лениво и радостно говорит нам: здрав-с-твуйте, здрав-с-твуйте.

— Похоже на…

— Вроде как бы паникадило, — подсказывает старик.

Сравнение мне кажется таким унизительным для солнца, неудачным. Неужели, думаю я, этот дед, похожий на морского царя, совсем не понимает красоты солнца. Что он читает теперь для себя из этой золотой книги? Может быть, он

идет по тому пути через море к Святым островам, зажигает перед черной иконой огонек и еще раз подтверждает преподобным Зосиме и Савватию свое клятвенное обещание всю жизнь возить богомольцев на Святые острова. Но в это время я его спрашиваю о солнце, и он сравнивает его с одним из блестящих паникадил возле темных икон.

— Солнце у нас — перебивает он мои мысли, — не глубоко садится. Аршина на два, не больше, под морем идет. И вон там покажется. Вон там!

Он показывает место на небе против креста.

— А другой раз и вовсе не таится, все кромочка по воде идет. И пойдет, и пойдет. Оглянулся, а оно уж и опять показалось, опять светится…

Направо от меня, на довольно высоком песчаном берегу — первые сторожевые сосны, налево — огонек полуночной зари. У самых ног рассыпается белое кружево прибоя. Мне хочется взять это тонкое сплетение, сделать из него что-нибудь хорошее. Но кружево тускнеет, остаются пузыри и черная мертвая водоросль.

Я иду прямо по ровной линии, по упругому морскому песку, не сворачивая в сторону. Но кружево прибоя догоняет меня, мочит подошвы. Верно, начинается прилив, гудит сильнее. Надо взять поправей. Мне мешает большое дерево,

сухое, черное, выброшенное волной. И вот еще что-то. Шапка! Откуда эта шапка? А вот доски от разбитого судна и даже с гвоздями.

Прибой гудит все сильнее, ухнет и заскребет чем-то по дну, будто что-то подвинет, и стихнет, и еще подвинет.

Я смотрю на это место почти со страхом. Мне вспоминается рассказ старика, как его соседу посчастливилось: море ему выкинуло ящик с богатством. На языке поморов это называется «навалуха» — случайное, непрочное счастье. Сосед разбогател, хотел уже другой дом строить, но утонул. «Море, — сказал старик, — его к себе приняло, навалуха ненастоящее счастье».

Я остановился и жду.

Из белой пены показывается черный мокрый конец чего-то большого. На нем светится полуночный красный отблеск зари. Я догадываюсь: палуба от разбитой шкуны.

Иду дальше. Черные водоросли хрустят под ногами, будто я давлю что-то скользкое, полуживое. И пахнут чем-то не живым, мертвым. Мне начинает чудиться, что наверху той солнечной горы, куда я стремлюсь, нет жизни, что и здесь уже, в этом белом сумраке, перепархивают души покойников, что я один живой и непрошеный.

Назад бы бегом… Но я борюсь с собой, осматриваю патроны в ружье, вглядываюсь в даль, нет ли птиц, нельзя ли увлечься, выстрелом рассеять этот тяжелый кошмар белой ночи на Белом море. Но птиц нет — камни, песок, сосны, вереск…

Вдали на одном камне что-то шевелится. Я думаю, что это морской зверь, взвожу курки и вдруг вижу, что весь этот серый большой камень поднимается и движется мне навстречу. Это человек идет, котомка за плечами, остроконечная войлочная шляпа закрывает почти все лицо. Может быть, это тот десятый богомолец Соловецкого монастыря, которого дожидается перевозчик?

В этой мертвой пустыне он мне кажется тяжелым, осевшим на землю призраком, слишком грешным, чтобы подняться, как все, на вершину солнечной горы…

Он уходит. Несколько минут я слышу шаги его ног о мокрый песок, а потом по-прежнему все замирает, и только прибой все подвигает и подвигает что-то из моря сюда. Кромочка солнца все еще идет у воды.

Я сажусь на большой кусок дерева, на то самое место, откуда поднялся странник, и переживаю свои впечатления от поездки с богомольцами по Северной Двине. В белом сумраке мысль никогда

не доканчивается, не знаю, о чем я думал, вероятно, о богомольцах. Я могу здесь, в этих записках, лишь переписать отрывки, набросанные на клочках, еще на Северной Двине…

По морю на лодке к Святым островам

10 июня

— Собирайся, господин, вода прибывает, камень срежет — и в путь!

Мои алебастровые горы навсегда растаяли. Но неиспользованный запас любви к ним я перенес на старика, и на море, и на все, что попадется там, на этом пути открытым морем на лодке к Святым островам. Прежде всего — старик. Он для меня мудрый и добрый зверь, с которым можно говорить. Его слова, точные, упругие, отскакивают от него, будто спелые плоды осенью; лишнего он не скажет, я люблю его за это. Он старый моряк, испытавший все в море. И за это я люблю его: крепкая стихийная душа — это целая сокровищница. А старик — совсем особенный моряк. Его называют юровщик. Мне объяснили это название так: юровщик — значит, человек, который идет впереди и за ним остается след; юро — все те, которых он ведет за собой. Но, может быть, это значит просто человек, имеющий дело с юровом, со стадом морских зверей. Каждый год, вот уже тридцать зим, этот юровщик во главе ромши (промысловой артели из восьми человек)

пускается на льдине за морскими зверями. Эту льдину с людьми носит от одного края моря к другому, между опасными подводными камнями, водоворотами, островами; случается, проносит и в океан. Юровщик — это предводитель на льдине: он ведет людей и выбирается из самых храбрых, справедливых и умных.

Мне рассказывали про старика, будто он возит богомольцев «по обещанию», будто с ним на море что-то случилось особенное, после чего он каждое лето возит богомольцев на Святые острова.

Юровщик перебил мою попытку описать богомольцев и Северную Двину. Я сложил свои вещи, и мы вместе вышли к морю.

Песок еще теплый от дневного солнца. Мы ложимся на него и глядим на камень в море. Этот камень — наши часы. Как только прибылая вода покроет, «срежет» его, мы двинемся в путь к Соловецким островам. Вчера ночью пришел последний, десятый странник, тот самый, мрачный, с подвязанной щекой, которого я встретил вчера на берегу. По камню мы должны точно рассчитать время отъезда: выехать так, чтобы на середине пути нас подхватила вода, бегущая к Соловецким островам. Тогда, какая бы ни поднялась в море буря, она нас не догонит: море не успеет

раскачаться. Мы смотрим на камень. Холодное северное море лежит теперь тихое, прекрасное, как обрадованная печальная девушка.

Юровщик знает, что все это хорошо, и говорит:

— Так уж не прямая ли гладинка к Святым островам. Краса! Вот, поди ты: днем ветер, а ночью тишь. У этого ветра жена красивая — как вечер, ночь, так спать ложатся.

К нам подходит молодой парень, сын юровщика, и тоже глядит на камень. По его лицу, высоко над нами, я узнаю первый утренний свет.

Из моря долетает неровный плеск.

— Вода стегает или зверь выстает?

— Вода у камня полощется.

— Краса какая — жена, жена и есть!

Немного спустя Ванька стоит весь розовый, а на лице старика выступают глубокие шрамы. Камень срезало уже до половины.

— Ступай, буди богомольцев. Подкрашивает, солнышко выкатается.

— Слышишь?

— Что это?

— Зверь шевелится.

— А вон там белуха дышит. Значит, сей день

будет порато[14] хорош, а завтра — погода. Но только мы так говорим, а Бог знает.

Я слушаю все эти звуки северной природы, с которыми я еще не сроднился, которые еще не стали мне музыкой, как на юге, но зато сулят столько возможностей и дают мне столько маленьких открытий. Я слушаю. Мало-помалу к этим морским звукам присоединяются шаги богомольцев. Они подходят к нам и тоже замирают. Им, верно, страшно перед этой поездкой на лодке по морю, которого они никогда не видели. Им никогда и не снились эти дни без конца и эти ночи без звезд и луны, без тьмы. Но, может быть, они этому не очень изумляются и думают, что у Святых островов непременно должны быть такие чистые, безгрешные ночи и еще не такие чудеса…

Юровщик не обращает ни малейшего внимания на странников, следит за ветром, радуется, что дует сильнее, и приговаривает свое: «Жена, жена и есть».

— Ты помни, — говорит он мне, — обеденник хороший ветер, у него жена красивая; к вечеру стихает. Полуночник — тот злой: как начался, так и не стихнет. Шалонник — ярой: тот на море

---

[14] Примечания: 14
Очень. *–Прим. автора.*

разбойник. Сток — ветер широкий, подтихает, как на солнце придет. Вот и все наши ветры.

— А западный? — вспомнил я.

— Запад, тот не в счет, тот на диавольском положении.

— Все равно что антихрист, — говорит черный странник.

— Ты откуда это знаешь? — удивляюсь я и смотрю на его темное лицо, на подвязанную щеку и кусок бороды, и, как черная тень, пробегает передо мной вчерашняя встреча, вчерашняя ночь.

— Так уж знаю. Я везде бывал и за везде-то бывал. Запад везде за антихриста считается. Вот помалешеньку, помалешеньку завладеет всем антихрист, да и спохватятся, да будет уже поздно.

Этот черный странник, кажется, в состоянии говорить об антихристе и во время рождения богини из пены морской. Солнце восходит, мне хочется говорить со стариком о красивой жене хорошего ветра. Но он поднимается с песка и объявляет:

— Камень срезало. В путь, крещеные!

Мы все встаем. Странники повертываются к востоку и молятся туда широкими крестами, маленькие, черные, но озаренные уже золотым

солнечным светом. Помолившись на восток, повертываются к церкви и еще молятся. Крестятся истово, большими крестами проводят рукою по всему сияющему небесному своду.

— Преподобные Зосима и Савватий, — молится пахарь.

— Дайте поветерь! — шепчет моряк.

* * *

Как не помочь такому славному деду! Мы все, кроме двух старушек и больного черного странника, подкладываем катки под большую тяжелую лодку и катим ее так к морю с берега. Потом укладываем котомки, усаживаем рядом старушек. Старик садится кормщиком, а сын его и годовики берутся за весла. Берег уплывает от нас, уплывает посеянная на песке между камнями и соснами деревенька: все еще прощается, напутствует нас большой черный восьмиконечный крест.

Добрый путь, страннички, к Святым островам! Плывите, плывите, не подмочите сухарики, берегите свои ладонки и рублики, святые угодники при-и-мут и помогут, исцелят. Плывите с Господом, Соловецкая обитель богатая, пригреет, накормит. Плывите, черненькие и маленькие, ветер пошлю вам походный, хороший, солнышко

горит ярко.

— Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, — молятся старушки кресту. — Долго шли, теперь уж немного осталось. Донеси, батюшка.

— Донесу, донесу-у, — еле слышно с берега, но уже не видно креста.

— Донесет, донесет, — успокоивает и юровщик, — море тихое, что скатерть лежит. Не в первый раз везу…

В такие ясные дни на Белом море часто играют белухи. Я уже привык к их серебряным спинам. Но странников смущают эти живые морские серебряные огни…

Я привык к этим северным дельфинам и смотрю не туда, куда все, а вниз, в глубину. Или мелко еще, или вода очень прозрачная, но я вижу в глубине что-то темно-зеленое.

Приглядываюсь и открываю там целый густой, зеленый подводный лес. Я люблю лес, как бродяга: для меня он родной, он дороже мне всего, дороже моря и неба. Так хочется войти туда, в этот зеленый таинственный мир. Но это не настоящий, это сказочный лес, туда нельзя войти, мы слишком грубы для того. А хорошо бы спуститься в этот морской лес, притаиться и слушать, как перешептываются рыбы у прутика водоросли.

— Море богаче земли, — слышу я, говорит моряк пахарю. — Зверей там всяких, рыбы. А мелочи этой и не счесть. Солдатики-красноголовики в шапочках перед семгой или перед погодой показываются. Да вот еще воронки, вроде как птиченьки, идут помахивают крылышками. Рак там есть большой, ражий, частолапчатый, хвост короткий. Звезды. Идут по дну моря, перебиваются. Море богаче земли.

Чудеса, чудеса, чудеса!

Я вижу, как из подводного леса движется живая точка, плывет к нам, показывается близко у лодки. Настоящий маленький морской кораблик с глубоко вырезанным парусом.

Выплывает на поверхность, шевелит парусом со множеством тонких колеблющихся снастей.

Изумленные странники тоже замечают подводный кораблик.

Я хочу объяснить, что это медуза — животное, живое.

Но кормщик предупреждает меня.

— Это масло морское, — говорит он. — Оно тоже буде живое. Идет да помахивает парусом, расширится да сузится да вперед и вперед. Веслом толкнешь, вроде как убьешь.

Странники понимают, и мне не хочется при-

помнить зоологию, ведь и меня интересует в этой медузе то, что она «буде живая». Я пробую поймать медузу рукой, касаюсь воды, но вместо медузы под рукой рассыпается ковер смеющихся искр и закрывает и медузу, и таинственный морской лес. Потом я вижу, как быстро спускается сказочный кораблик к волшебному лесу и пропадает там. И лес закутывается глубиной и исчезает, как недоконченная сказка.

Чудеса, чудеса, чудеса!

Старик рассказывает много чудес о море. Я слушаю его и в то же время брожу глазами по морю. Мы еще не выехали в открытое море, большой остров направо и синий длинный мыс налево образуют что-то вроде бухты. Я брожу глазами то по спокойной, как зеркало, воде у берегов, то заглядываю вперед вдаль на темную воду, то на золотой искристый след лодки.

И вдруг замечаю: недалеко от лодки отчего-то возникает маленький водоворот и бегут круги во все стороны. Отчего это? Будто камень булькнул в воду. Но никто не бросал. Отчего это?

Гляжу на кружки и вижу, как в центре их показывается из моря большая черная человеческая голова. Струйки воды стекают с темно-синеватого лба, золотые капли блестят на усах.

Не сразу я понимаю, что это тюлень, морской заяц.

Потом замечают странники, кормщик оберты-вается, старушки крестятся.

— Зверь, а что человек! — говорит пахарь.

— На человека он очень похож, — отвечает моряк. — Катары, что рученьки, головка аккуратненькая.

Тюлень долго плывет за нами, вдумывается кроткими, умными глазами: так ли рассказывает моряк пахарю о морской глубине.

Чудеса, чудеса, чудеса!

Мы проплываем на веслах мимо Жигжинского острова, откуда начинается открытое море. Жигжин — это один из тех островов, на котором, по преданиям поморов, жило чудовище «чудь», побежденное Николаем Угодником. Это место и теперь опасное для мореплавателей, почему и поставлен тут маяк. Наконец, для путешественника, интересующегося народной жизнью, Жигжинский остров любопытен тем, что он услышит здесь рассказы о том, как с этого острова поморы спускаются на льдине в Белое море для промыслов морских зверей. Я и раньше на берегу еще слышал рассказы про эти страшные, вероятно, нигде в мире не существующие уже промыслы. Но

только тут, возле Жигжинского маяка, узнал наконец все подробности этой невероятной, просто фантастической жизни. Я изучил язык поморов, напрягал все свое внимание, чтобы запомнить своеобразные выражения нашего перевозчика, и думаю, что теперь на бумаге я могу передать его замечательный рассказ с точностью.

Мы проплываем Жигжинский маяк, налево остается мыс Орлов; мы вступаем в открытое море, но если хорошо приглядеться, то на горизонте уже виднеются синие тени земли на море: то вытягиваются вверх, будто высокие горы, то сплюснутся узкой полоской у воды, то вовсе оторвутся от воды и повиснут в воздухе.

— Бугрит, — называет так помор явление миражей на Белом море.

Странники крестятся.

Чудеса!

Потом мы вступаем в полосу ветра; кормщик ставит парус и приговаривает:

— Славную поветерь Бог дал. Преподобные Зосима и Савватий, несите нас на Святые острова…

Отлив тоже подхватывает нас, и лодка мчится, качается в волнах, брызги летят, обдают нас.

Странникам жутко: вот и назади начинает бугрить земля, подниматься на воздух.

Крестятся, шепчут молитву. Только кормщик да черный странник равнодушны: один привык, другому все равно. Старик помор даже весел, поветерь радует его.

— Ишь притихли! — смеется он. — А это не взводень, а только подсечка. Море наше бойкое. Летом еще мало ветры обижают, а вот поплавали бы вы осенью да зимой. У нас море и зимой не замерзает.

Кто-то из молодых годовиков удивляется: «Отчего?»

— Оттого, что оно велико, — отвечает помор, — и все, что намерзает, то все уносит в горло, в океан.

— Господь вас хранит!..

— Обещание держишь, вот и хранят, тридцать зим выходил, так все видел. Но только Господь меня возлюбил, счастье давал, из тридцати зим только два раза и пронесло в океан.

— Расскажи! — стал я просить старика.

— Рассказал бы я тебе, государь мой, хороший человек, да старухи реветь будут. Как жили во льдах, так жутко.

Меня поддержали странники, и старик начал свой рассказ.

— Зима стояла лютая. Не знаю, как по-вашему,

по-ученому, государь мой, а по-нашему так в задние годы морозы крепче были. Морозы крепче, и люди крепче. Молодой народ, верно, стал полукавей, а наш народ был понатуристей. Лютая зима стояла! Сполохи играли, страсть! В ваших местах, слышно, этого нету?

— Нет, — отвечаю я старику, — у нас нет сполохов, — и, заинтересованный, как представляют себе поморы загадочное северное сияние, спросил: — Отчего бывают сполохи и какие они?

— Отчего бывают сполохи, я тебе не сумею сказать. Нам ли ведать, что у господа в небе делается. Растворится небо, раскроется, будто загорится. Сперва расширится и опять врозь слетается в одно. Страшно глядеть! Выйдешь, на пороге постоишь, да и опять в избу скорей. Страшно. Толкуют, будто это льды шевелятся в океане. Только это пустяки. А еще, что океанская вода загорается… Оно будто и так, в темную ночь, как по морю идешь, все сзади светлая дорожка бежит, светится. Может, и загорается, но только где нам знать, что Господь открывает. Хорошо… Морозы стояли трескучие, а льды в нашем море не останавливаются, все мимо идут, в горло да в океан, а уж там, куда приведется: вверх ли, вниз ли.

Тут я опять перебил старика. Меня поразило,

что в океане, по словам помора, есть верх и низ, как в речке. Я объяснил это ему.

— В речке есть верх и низ, — ответил он мне, — и в океане тоже. Мы так считаем, что начало ему в горле нашего моря; тут верх его, а к Норвегии — низ. Верх и низ, так мы считаем и так от веков старики считали. Везде есть начало и конец, и ему где-нибудь предел Господний назначен. А ты, господин, меня не перебивай, а то не досказать мне всего. Землица-то святая все ближеет, все ближеет. Славно несет. Вот друга бы столько.

Старик спохватился.

— Благодарствуйте, святые угодники, и так хорошо, славно несет!

Морозы стояли лютые, у берегов намерзли льды гладкие, тонкие, ровные. О Крещенье подула морянка, и все разломало. У берега мелочь, торос, стоячий лед, ледины да ропаки[15]. А между стоячим льдом и ходучим — водохож. Самое время выбирать ледину да спущаться в море.

— Под самое Крещенье приходят ко мне Андрей, да Степан, да Гаврила. «Михаиле, — говорят мне, — веди нас в море!» — «Выбирайте, — отвечаю я им, — постарше кого, от себя я еще не хаживал,

---

[15] Примечания: 15

Ропаками поморы называют высокие плавучие льдины. Несяками — льдины, задерживающиеся на мелях (кошках). –*Прим. автора.*

людей за собой не водил». Слушать ничего не хотят: веди да веди. Поглядел на них: народ крепкий, дородный. Наш двинской народ весь рослый, а тут отобрались молодец к молодцу. Поглядел и, будто я выше стою, по макушкам гляжу через них. Теперь-то сила худа стала, а смолоду я ражий детинушка был.

— Силен был?

— Ничего, была силушка, хвалиться не стану, а в людях свою работу не оставлял. Да и теперь, на старости, день пролежишь, два пролежишь, а глядишь, и поднялся, и пошел, гребешь да гребешь, как старый тюлень, дальше, дальше… Ну, приходят ребята, просят: веди их да веди в море. Тут и я помекаю, чем я им не юровщик. Принял честь с радостью, согласился. К этим трем ребятам, да еще хороших двух подобрали, да еще парня молодого за повара взяли, да Яшку — в том ошиблись; говорят же: в семье не без урода. Восьмой я шел, вот и вся наша ромша. Собрались, согласились, пошли к батюшке, молебен отслужили. После службы при батюшке обещались мне повиноваться, из-под моей воли не выходить и чтобы друг дружку хранить, как обневолит во

льдах порато[16], крест поцеловали!

Тут старик на минуту перестал рассказывать, отвернулся к рулю и там долго завязывал какие-то веревочки.

— Так меня Господь и благословил, — продолжал он потом, — потому что у нас природно: отцы ходили, и вот и мы ходим. Отец мой сорок зим юровщиком выходил, и вот я. Потому что у нас природно и терпеть не могу. Все знают, какой я был: справедливый, распоряда хорошая, не бранился, табаку не курил. И господь меня возлюбил, счастье давал, девять лет за себя ходил, а на десятом юровщиком выбрали, сам пошел своим передом и крещеных за собой в море повел… Хорошо, страннички. Стали ребята гулять, пить отвальную, потому на море водки — ни-ни. От нее беда промыслу. Ребята гуляют, а женки в путь снаряжают: напекли хлеба, да муки наготовили, да масла, да рыбы сушеной; из одежи тоже, что чинят, что шьют. Чулки там, одевальница, буйно[17], рукавицы, бахилы. Много всего, всем домом идешь. Ребята гуляют, а я все заботу имею, все на море поглядываю да на лед, лодки смотрю,

---

[16] Примечания: 16
Сильно. *–Прим. автора.*

[17] Примечания: 17
Брезент. *–Прим. автора.*

в порядке ли. Выпили последнюю отвальную, простились с женками и поплыли на лодке. Вон туда, вон бугрит.

Юровщик указал рукой на чуть видный вдали Жигжинский маяк.

— Там и спущаемся. Приехали к мысу. На нем избушка махонькая есть. Развели там огонек, греемся, в окошко глядим, когда Бог ледину хорошую даст. Суток не прождали — гляжу, идет ледина, верст в пять, белая, что поле. «Садись, ребята, в лодки; пришел, — говорю, — наш час».

Доплыли туда, вытащили лодки, все устроили, как надо быть. По Божьему произволению пал ветер с гор и взял нас. Закрыло родимую сторонушку, только мы и знали ее. Кругом море, вверху небо, везде господня воля, везде его святая милость.

Ну, старушки, терпите, это только присказка, а сказка будет впереди.

Ветры задули горние, протяжные, ходко ледина пошла. В три дня все море от Летнего до Зимнего берега промахнули, показалась Зимняя Золотица. Только глянули, и закрыло: море, да небо, да лед ходучий. Тут вскорости начался у нас и промысел. К трем святителям бельки родятся, детки звериные.

— И деточки есть у них? — спросила старушка, все еще не забывая про зверя, похожего на человека, показавшегося за лодкой.

— У каждого зверя дети есть, — отозвался черный странник.

— От детей-то нам и главная польза, — продолжал рассказчик. — На них не нужно и зарядов тратить, и матерый зверь от детей не уходит, хоть руками бери.

— Куда же от деточек уйти, — пожалела старушка.

— Детей он, бабушка, любит.

— Детей каждый зверь любит, — опять отозвался и черный странник.

— Так-то так, — ответил ему помор, — а только мы помекаем, что нет жалосливей тюленя. Человек и человек. И устройство свое, вроде как бы начальника, юровщика, себе выбирают. Из пятнадцати штук обязательно есть свой начальник… Головой помахивает, слушает, а те лежат, тем что. Промахнешься в начальника, сейчас зашевелится, сейчас с льдины в воду, а те за ним, только бульканья считай. Начальника убьешь пулей, чтобы не копнулся, а тех хоть руками бери…

— Отчего это? — спросил я юровщика.

Вышел какой-то неловкий, почти кощунствен-

ный вопрос.

Старик посмотрел на меня досадливо, будто жалея, что я роняю свое достоинство и, как ребенок, задаю нелепые вопросы: отчего звезды, отчего ветер.

— Это, господин мой, от века так, от Бога. Это не нами начато, так век идет. Главное, начальника убить, Он стережет, его забота. А тем что. Лежат на солнышке, ликуются парами, что человек. А как родит, так уж ей Бог показал, — в воду, обмоется, выстанет и лежит возле своего рабенка. И уж тут никуда от него не уйдет.

— Куда же от деточек уйти… — скачала старушка, поглощенная рассказом.

— Да… Отползет немного, смотрит на тебя, матка да батька, все тут лежат, так много, что грязь. Верст на сто ложатся, где погуще, где пореже, и все зверь, все зверь. Тут и реву у них немало, потому матка в воду уйдет, а он ревит. Рабенок, рабенок и есть. Матка на бок повернулась, а он сосет.

Много зверя в тот год Господь в наше море послал, благословил поначалу промыслом. Днем бьем, пока не смеркнется, а как темно — собираемся на льдину. Карбаса[18] вытащим и лежим

---

[18] Примечания: 18
Лодки. *–Прим. автора.*

при огне. Повар мучницу греет. Вызябнешь так, что огонь не берет. Да и какой огонь на льдине. Дров немного, жалеешь больше хлеба. Только и согреешься, как в лодке под буйном уснешь, Благословил Бог промыслом, если бы не Яшкино дело, скоро бы запросили морского ветра, чтобы домой попадать. А тут стали замечать: зверь шевелится. Подходим раз — все в воду, и другой раз — тоже, и третий. Ладно, смекаю я, есть грех у нас в ромше. Посчитал провизию: калачей не дохватывает. Вечером съехались на льдину, я товарищам: «Ребята, у нас в ромше неладно: зверь зашевелился. Есть грех!» А они в один голос: «Есть грех!» Яшка молчит. «Ты, — говорю, — Яков, что же молчишь, ай, еще калачей захотел?» Начали мы его жать, дальше — больше, дальше — больше, он и повинился. Взяли мы тут его, разложили на льду и постегали лямками. Так нас отцы и деды учили.

И повалил же промысел, батюшки светы!

Пришли Евдокии. Земля показалась, деревня Кеды.

«Ребята, — говорю я, — Бог промыслом нас благословил, давайте тянуться к берегу, потому, хоть время и промысловое, а приведет ли Господь в другой раз так ладно к берегу подъехать. Береже-

ного Бог бережет».

Смотрю, носы повернули, недовольны. Молодые ребята, задорные. «Хотим, — толкуют, — дальше промышлять». Мы со стариком с Гаврилом свое держим, они — свое. А больше всех Яшка кричит, ругается, ребят сбивает: «Самый промысел, зверь загребный плывет, а ты ведешь нас на берег!»

Я свое держу строго, усовещеваю: «Крест вы мне целовали из-под моей воли не выходить, а как Яшка баламутит, так и еще его постегать можно».

Опять все на меня: «Не затем мы тебя юровщиком выбирали, чтобы ты нас на печку к бабам вел. Коли ты юровщик, так веди в море, а не на печь».

Дальше — больше, дальше — больше, и дошло до худых слов.

«Ну ладно, — я им, — коли вы свое крестное целование нарушаете, так выбирайте себе другого юровщика, выбирайте Яшку, пусть он вас ведет, он Богу за вас отвечает».

Ребята маленько поутихли. Мысленное ли дело Яшку юровщиком выбирать! И так у нас дело остановилось: ни то ни се.

— А приказать? — вырвалось у меня.

Старик усмехнулся:

— Приказать! Да приказать-то, милый мой, не у чего: кругом страсть, пропасть. Тут Господь управляет, он приказывает.

И то знай, мой милый, что на море ходи по ветру, а на людях живи по людям.

Так-то вот! Сидим на льду, спорим. А уж темница заводит. Ребята спать ложатся. Им что, — как за отцом идут, что малые дети. А мне не до сна. Сижу на глинке, где огонь разводим, туда и сюда умом раскидываю, тепло на глинке, угрелся, задремал. Вижу, будто приходит ко мне брат Андрей, покойник, стоит против меня на льду и говорит первый раз: «Брат Михаиле, ты пропал!» И другой раз говорит: «Брат Михайло, ты пропал!» И хочет уж третий раз проговорить, а я проснулся. Тьма-тьмущая, хоть глаз выколи, ветер гудит. Слышу, не тот ветер, не морской, а будто горний. Зажег спичку, глянул на компас и обмер: ветер прямо с гор, прямо в океан несет, на страсть, на пропасть. Сперва поначалу и молишь этого ветра, чтобы взял в море, а уж как к океану подойдешь, молишь морского, этого боишься, да уж тут не наше дело, не мы управляем. Лучше шерстиночки не упромышлять, только остаться бы в своем море.

А у Кедов раздел: одна вода к берегу, другая прочь. Вода тут яро бежит, скорее птицы летучей. Попали мы в яроводье: вода да ветер льдину несут, только шапку на голове держи.

«Вставайте, — кричу, — братья, к северным кошкам[19] несет, к Моржовцу, не наткнуться бы на несяки[20]».

Встали ребята, поглядели, а кругом-то страсть, пурга, падара, лед трещит, ветер гудит, только скрипаток стоит, в лицо куски летят, стегает, как кусками сахара. Старик Григорий, как пробудился да поглядел кругом, перекрестился: «Божее непомилование! Прогневали, братья, Господа, что юровщика не слушались, из-под его воли вышли, нарушили свое крестное целование».

Молятся, каются. Рады бы теперь по-моему, да уж не наше дело.

«Бог, — говорю им, — не без милости. Тяните лодки к кромке, может, на Моржовец высадимся». Стало светать. Смотрю на небо и на воду, что Бог дает: воду или лед. Мы по небу замечаем: над водой темень держит, а над льдом бель. Вижу — белеет, на льды несет. Гуще и гуще лед, теснее,

---

[19] Примечания: 19
Мелям. *–Прим. автора.*

[20] Примечания: 20
Ледяные горы на мелях. *–Прим. автора.*

теснее, затерло льдами, что ни входа, ни выхода. И видим землю, а поди, достань! Раз обнесло вокруг острова, раз повенчало, и другой раз повенчало, и заводится в третий раз.

«Нельзя ли, — говорю, — ребята, вырубиться из сморози, как уже плохо наше дело, так уж…»

Только взяли топоры в руки, нас тут и прочь понесло от Моржовца, в поводь попали, опять нас тут захватило, ревим, тужим, печалуемся.

Одну землю закрыло, другую показало. И опять закрыло. Орлов пронесло мимо. Сердечушко туже да туже. Ребята на Яшку: «Ты нас сбивал!» Бранятся, ругаются. Я останавливаю: «Богу надо молиться, братья, а не ругаться!»

Стихли. Молчат, как мертвые звери.

«Ничего, — говорю, — ничего, надейтесь на Бога, Кеды не беды, Моржовец не пронос, вот что скажет Канин Нос».

Им-то хорошо, хоть и вовсе ложись, спи под лодкой. А мне нельзя духом опадать. Я опану, а они пуще опанут. Вся печаль моя, они по мне живут.

Глядим тут, льдинку маленькую, ропачек, на нас несет и будто звери на ней шевелятся. Нам тут не до промысла, а только дивуемся, что зверь на такой ропачек вылез. Ближе, ближе, а ин не зверь, а люди. Трое. Без лодок, без всего плывут. Видим,

лопаришки, бедные, сидят на льду, кричат нам что есть мочи. Понимаем, что оторвало от берега людей, унесло. Лодку им спустили. А они уж без ума кричат: «Уплавь нас за кормой, как лысунов[21]». Перевезли, приняли к себе. Кто бы ни был из крещеных, всем одинаково, все богоданные товарищи. Обогрели, напоили, накормили, они и повеселели тут и закурукали по-своему: куру, куру. Только с лопарями разделились, показался Канин Нос: последняя наша надежда.

Поднесло версты на три и опять в океан ладится двести. Мы тут было к лодкам, а вокруг Носа лед, что каша, не пробиться. Скорей назад. А льдину все дальше и дальше в океан. И пропал Канин Нос, только мы его и видели: улетел, как светлый сон.

«Теперь, ребята, — говорю я, — молитесь Богу, надейтесь на него. Нужны мы ему на земле — найдет нам и в океане землю. Есть Новая Земля, есть Самоедская земля, мало ли земель есть. А ежели желает к себе принять, Его воля…»

Сам взял щепочку махонькую, две ниточки прицепил, вроде как бы вески, и стал пищу отвешивать, уравнивать, чтобы одному — как

---

[21] Примечания: 21
Тюленей. *–Прим. автора.*

другому. Дрова тоже, пересчитал все поленья. Потому хоть и видимый конец нам, а духом опадать нельзя.

Старый юровщик помолчал немного, повернул лодку носом прямо к голому мысу Анзерского острова, ближайшего к нам из группы Соловецких островов. От поворота парус заполоскался и затем с шумом перекинулся на нашу сторону и закрыл от нас солнце. Легла холодная тень.

— Видишь, — сказал юровщик, — какое у нас море. Сейчас было жарко; солнце парусом закрыло — стало холодно. А в океане зимой-то как? Все дрожишь, весь день. Дрова, какие были, сожгли, стали лодки жечь. К Благовещенью потеплело, стала вода на льдинах отстаиваться. Тут опять горе: пока снег таял, вода была хорошая, а как со льда, так и впросолонь. Пищу всю поели, стали зверину есть. Душная порато, другой не может есть, попробует, отвернется и опять в лодку ляжет, а другой так и бойко ест, ничего.

Но только и зверины больше не стало, порох весь расстреляли, стали рукавицы есть, ремни от ружей, кожу, какая была.

Голод сыздолил. Приходит светлое Христово воскресенье, а у нас одно горе.

Но только Бог не без милости. С Великого

четверга полетели через океан птицы, видимо-невидимо. И к нам на льдину стали чайки садиться. Мы их петлями ловить, всякого Бог исхитряет. Наловили птицы и встретили светлый праздник хорошо, вроде как бы и разговелись. Льды тают и тают, вот-вот очистится океан — и нам конец: разломает льдину взводнем. Так что под Егорьев день я раздумался и говорю: «Готовьте, ребятушки, лодки, тянитесь к самой кромке!»

Так и сделали. Ночью поднялась погодушка. Ангелы-хранители! Погодушка, страннички, пала — Божий гнев! Свистит, гудит, воет! Сидим у кромки, ждем пропасти…

Вдруг треснуло, как из пушки ударило.

«В лодки, ребята!»

Пали мы в лодки, и все смерлось…

Старик опять помолчал; кто-то всхлипнул в лодке, и он, будто вернувшись откуда-то к нам, сказал едва слышно:

— Да, дитя, вот какая погодушка пала.

И продолжал:

— Только мы льдину и видели: на мелкие кусочки разбило. Тьма, пурга. Взводень выше леса, а мы в лодках.

Бились ребята, бились, обмерли, весла побросали: сила худа стала, лежат в лодке, что мертвые.

Раскинулось море морями!

Сижу правлю, парус изладил, несет по взводням, как по горам. Смотрю на ребят, говорю строго: «Нехорошо, братья, так помирать. Бога обижаете. Наденьте чистые рубашки, помолитесь, проститесь. Так нельзя, братья».

А они, что малые ребята, сейчас оделись, помолились и простились, все, как надо быть.

— Не чаял, что вынесет? — перебил рассказчика пахарь.

— Не надеялся? — вырвалось и у меня.

— Нет, как не надеялся, все маленько подумывал, в каком ветре земля, как и что. Мне же и нельзя: я юровщик, я брошу, что будет, все юро рассыплется. Они, может, и про Бога забыли, им что; за мной, как за отцом, идут, что малые дети. А мне нельзя. И рад бы, да нельзя: людей веду, вся печаль моя. Нет, господин, я все на Бога надеялся.

Сижу на корме, правлю и парус держу. Не знаю, в каком ветре земля: в лето или в полуночник. Страх долит. Стонет мачта, плачет, бедная. Птичку махонькую, зибелюшку, откуда-то Бог послал. Села на мачту и все: «зиби-зиби».

— В ненастье птица всегда ближе к человеку, — заметил пахарь.

— В погоду, — подхватил моряк, — и опять на море. Никто ее там не обижает, она и не лукавится. Не у чего ей лукавиться-то. Села на мачту — и вот горюет, вот убивается: «зиби-зиби». Вздремнул маленько, руль не выпускаю, а так будто померк.

Вижу, стоит передо мной вроде как бы преподобный Зосима. Говорит мне: «Михайло, ты меня забыл!»

Опамятовался. Ничего нету. Мачта передо мной стонет, да птичка: «зиби-зиби».

Думаю: какой мне-ко разум пришел. Явственно так слышал: «Забыл». Что забыл? А вскорости и спохватился. Помолился я тут и дал обещание навеки нерушимое, чтобы возить странников всю жизнь на Святые острова.

В этом месте рассказа от долгой качки со мной сделалось легкое головокружение. Сначала длинный голый мыс Анзерского острова мне представился Каниным Носом, а кучка богомольцев со стариком — теми пятнадцатью зверьми, у которых тоже есть свой начальник. Потом я слышал, как странники все подхватили: «Обещание, обещание, обещание». Головокружение продолжалось, вероятно, не больше минуты. Я услыхал обрывок речи:

— … а то в одной рубашке пустит…

Старый юровщик продолжал свой рассказ, но я уже не мог его слушать так внимательно, как раньше.

Он рассказывал о том, как он еще потом обещал лучшую зверину Николе Угоднику, как потом, после обещания, стали понемногу опадать волны, рассеялся туман и показался Канин Нос. Высадились в Тиманской тундре едва живые, но тут на берегу нашли мертвого тюленя, съели и пошли по тундре искать самоедов. Бродили что-то очень долго, питались мохом и костьми, какие попадались по дороге. Недели через две нашли самоедский чум. Тут их приняли с большою радостью, накормили олениной, попоили даже чаем.

«Ну и житье же ваше!» — сказали самоеды морякам. «Ну и ваше житье тоже!» — ответили они этим кочующим в тундре полудикарям. «Мы тома», — обиделись самоеды.

Юровщик долго и с удивительной теплотой рассказывал странникам про самоедов, называл их благодетелями, первыми в свете доброжелателями.

Отдохнувши у самоедов, моряки добыли себе лодку и по реке Чеше пустились домой.

Женки их встретили как воскресших.

И ели же дома!

После этого случая юровщик две зимы не водил в море людей, но потом опять взялся за свой рискованный промысел.

— Да как же так, неужели же жизнь не дорога, чтобы после такого случая опять плавать на льдине? — спросил я.

— Жизнь дорога… — смутился старик. — Жизнь от Бога.

Потом что-то долго думал, будто искал объяснения, и наконец сказал:

— Да попримени́сь ты на птиц!

И рассказал о перелете гусей на Колгуев и на Новую Землю и о том, что один гусак летит всегда впереди.

Он начал было рассказывать и второй страшный случай на море, но тут мы подъехали к Покровской часовне на Анзерском острове. Все стали молиться и радоваться тому, как хорошо пахнет земля после моря и как на Святых островах разными голосами поют птицы…

Солнечные ночи

Соловецкие чайки долго летят за нами, прощаются. Потом одна за другой отстают, а вместе с ними отстает и тяжелое, мрачное чувство. Навстречу пароходу попадается какой-то дикий, заросший лесом остров. Кто-то мне говорит, что там живут два охотника…

Тут я вспоминаю, что у меня есть ружье, что я охотник. Я чувствовал себя в монастыре нехорошо, потому что туда идут люди молиться… а я… я убежал за волшебным колобком.

И чем дальше от монастыря, тем лучше я себя чувствую, чем дальше, тем больше море покрывается дикими скалами, то голыми, то заросшими лесом. Это Карелия — та самая Калевала, которую и теперь еще воспевают народные рапсоды в карельских деревнях Архангельской губернии. Показываются горы Лапландии, той мрачной Похиолы, где чуть не погибли герои «Калевалы».

Кольский полуостров — это единственный угол Европы, до последнего времени почти не исследованный. Лопари, забытое всем культурным миром племя, о котором не так давно (в конце XVIII столетия) и в Европе рассказывали самые

страшные сказки. Ученым приходилось опровергать общее мнение о том, что тело лопарей покрыто космами, жесткими волосами, что они одноглазые, что они со своими оленями переносятся с места на место, как облака.

С полной уверенностью и до сих пор не могут сказать, какое это племя. Вероятно, финское.

Переход от Кандалакши до Колы, который мне придется совершить, довольно длинный: двести тридцать верст пешком и частью на лодке. Путь лежит по лесам, по горным озерам, по той части русской Лапландии, которая почти прилегает к северной Норвегии и пересекается отрогами Скандинавского хребта, высокими Хибинскими горами, покрытыми снегами. Мне рассказывают в пути, что рыбы и птицы там непочатый край, что там, где я пойду, лопари живут охотой на диких оленей, медведей, куниц…

* * *

Так везде, но в дороге особенно ясно: стоит направить свое внимание и волю к определенной цели, как сейчас же появляются помощники.

В виду Лапландии я стараюсь восстановить то, что знаю о ней. Сейчас же мне помогают местные люди: батюшка, пробывший среди лопарей два-

дцать лет, купец, скупавший у них меха, помор и бывалый странствующий армянин. Все выкладывают мне все, что знают. Я спрашиваю, что придет в голову. Припоминается длинный и смешной спор ученых: белые лопари или черные? Один путешественник увидит брюнетов и назовет всех лопарей черными, другой — блондинов и назовет всех белыми.

«Почему они, — думаю я, — не спрашивают местных людей, из соседней народности? Попробовать этот метод».

— Черные они или белые? — спрашиваю я помора. Он смеется. Странный вопрос! Всю жизнь видел лопарей, а сказать не может, какие они.

— Да они же всякие бывают, — отвечает он наконец, — как и мы. И лицом к нам ближе. Вот самоеды — те не такие; у них между глазами широко, ведь говорят же: самоедское рыло. А у лопарей лицо вострое.

Потом он говорит про то, что женки у них маленькие. Рассказывает про жизнь их.

— Жизнь! Лопская жизнь! Лопские порядки маленькие, у них все с собой: олень, да собака, да рыбки поймают. Сколотит вежу, затопит камелек, повесит котелок, вот и вся жизнь.

— Не может быть, — смеюсь я помору, — чтобы

у людей жизнь была лишь в еде да в оленях. Любят, имеют семью, поют песни.

Помор подхватывает:

— Какие песни у лопина! Они — что работают, на чем ездят, то и поют. Был ли то олень — поют, какой олень, невеста — так в каком платье. Вот мы теперь едем, он и запоет: «Едем, едем».

Опросив помора, я принимаюсь за батюшку.

— Лопари, — говорит он, — уноровчивы.

— Что это?

— Норов хороший. Придешь к ним, сейчас это и так и так усаживают. И семью очень любят, детей. Детьми так что, можно сказать, тешатся. Уноровчивые люди. Но только робки и пугливы. В глаза прямо не смотрят. Чуть стукнешь веслом, сейчас уши навострят. Да и места-то какие: пустыня, тишь.

«Лапландия находится за Полярным кругом, — думаю я, — летом там солнце не заходит, а зимой не восходит, и в тьме сверкают полярные огни. Не оттого ли и люди там пугаются? Я еще не испытывал настоящих солнечных ночей, но и то от беломорских белых ночей уже чувствую себя другим: то взвинченным, то усталым». Я замечаю, что все живет здесь иначе, у растений такой напряженный зеленый цвет: ведь они

совсем не отдыхают, молоточки света стучат в зеленые листья и день и ночь. Вероятно, то же и у животных, и у людей. Этот батюшка, как он себя чувствует?

— Ничего, ничего, — отвечает он, — это привычка. И не замечаем…

Кандалакша

12 июня

Я за Полярным кругом. Если взойти на Крестовую гору, то можно видеть полуночное солнце, но мне нельзя уставать, — утром я выйду в Лапландию: из двухсот тридцати верст расстояния от Кандалакши до Колы значительную часть придется пройти пешком.

Я много думаю об этом полуночном солнце и о темных ночах. Лягу, закрою глаза, станет темно… Как странно то, что я теперь в Лапландии, а в этой русско-карельской деревушке нет ни одного кочевника. На границе двух народностей всегда же есть переходные типы. Но тут только русские и карелы. И тем загадочнее кажется этот мой путь через горную Лапландию. В Кандалакше ни одного лопаря, ни одного оленя. Кажется, я в дверях панорамы: за спиной улица, но вот я сейчас возьму билет, подойду к стеклу и увижу совсем другой, не похожий на наш мир.

Хозяин-помор помогает мне набивать патроны на куропаток и глухарей. Несколько штук мы заряжаем пулями на случай встречи с медведем и диким оленем.

Река Нива и озеро Имандра

13 июня

Из недр Лапландии, из большого горного озера Имандра в Кандалакшу сплошным водопадом в тридцать верст длиною несется река Нива. Путь пешеходов лежит возле реки в лесу. Другой, строящийся путь для экипажей, проходит в стороне от реки. Некоторое время мы с проводником идем по этой второй дороге. Потом я ухожу от него к Ниве поискать там птиц. Мы расстались, и лес обступил меня, молчаливый, чужой. Какой бы ни был спутник, но он говорит, улыбается, кряхтит. Но вот он ушел, и вместо него начинает говорить и это пустынное, безлюдное место. Ни одного звука, ни одной птицы, ни малейшего шелеста, даже шаги не слышны на мягком мху. И все-таки что-то говорит… Пустыня говорит…

Эта северная природа потому и волнует, потому так и тоскует, что в ней глубокая старость, почти смерть вплотную стоит к зеленой юности, перешептывается с ней. И одно не бежит от другого.

Так я иду и наконец слышу шум, будто от поезда: невольно ожидаю, что свисток прорежет тишину. Это Нива шумит. Она является мне в

рамке деревьев, в перспективе старых высоких варак[22]. Она мне кажется диким, странным ребенком, который почему-то жгет себе руки, выпускает кровь из жил, прыгает с высоких балконов. «Что с ним сделать, с этим ребенком?» — думают круглые, голые головы старцев у края реки. И ползут от одной головы к другой серые мысли, как просыпающийся в горах туман. Или это туман так ползет, как мысли. Не знаю, но лапландские вараки — совсем головы старцев, туман — как старые мысли, а река-водопад — ненормальный ребенок.

Я иду возле Нивы в лесу, иногда оглядываюсь назад, когда угадываю, что с какого-нибудь большого камня откроется вид на ряды курящихся холмов и на длинный скат потока, уносящего в Белое море бесчисленные белые кораблики пены.

Комаров нет. Мне столько говорили о них — и ни одного. Я могу спокойно всматриваться, как ели и сосны у подножья холмов сговариваются бежать наверх, как они бегут на горы. Вот-вот возьмут приступом гору. Но почему-то неизменно у самой верхушки мельчают, хиреют и все до

---

[22] Примечания: 22
Холмы. *–Прим. автора.*

одной погибают.

Бывает так, что, когда я так стою, вдруг из-под ног вылетает с криком птица. Это обыкновенная куропатка, обыкновенный крик ее. Но тут, в тишине незнакомого леса, при нервном говоре реки-водопада я слышу в ее крике не то дикий смех, не то предупреждение о беспощадности рока. Я стреляю в это желто-белое пятно, как в сказочную колдунью, и часто убиваю.

Иду все вперед и вперед. Тишина леса, и беснования Нивы, и ожидание взлета птиц, похожих на лапландских чародеев, — все это придумано для меня. От всего этого во мне будто натягивается струна, выше и выше, и вот уже нет звуков: ноги и тело, вероятно, идут, но сам я где-то порхаю. Каждую частицу себя ощущаю, но сам не знаю где. Поймать бы, уловить, описать это разбросанное в лесу существо человека. Но это невозможно.

Вдруг с страшным треском прямо из-под моих ног вылетает глухарь и сейчас же другой.

Эта птица для меня была всегда загадочной и недоступной. Раз, давно, я помню ночь в лесу в ожидании песни этого царя северных лесов. Помню, как в ожидании песни просыпались болота, сосны и как потом в низине на маленьком чахлом деревце птица веером раскинула хвост, будто бо-

ролась за темную ночь в ожидании восходящего солнца. Я подошел к ней близко, почти по грудь в холодной весенней воде. Но что-то помешало, и птица улетела. С тех пор я больше не видел глухаря, но сохранил о нем воспоминание как о каком-то одиноком таинственном гении ночи. Теперь две громадные птицы взлетели из-под ног при полном солнечном свете. Я прихожу в себя только после того, как птицы исчезают за поворотом реки у высокой сосны. Они там, вероятно, сели в траву; успокоятся немного и выйдут к реке пить воду…

Реки нет, птиц нет, леса нет, но зато перед глазами такой покой, такой отдых! Я забываю о птицах, я понимаю, что это совсем не то. Я не говорю себе: «Это Имандра, горное озеро». Нет, я только пью это вечное спокойствие. Может быть, и шумит еще Нива, но я не слышу.

Имандра — это мать, молодая, спокойная. Быть может, и я когда-нибудь здесь родился, у этого пустынного спокойного озера, окруженного чуть видными черными горами с белыми пятнами. Я знаю, что озеро высоко над землей, что тут теперь солнце не сходит с неба, что все здесь прозрачно и чисто, и все это потому, что очень высоко над землей, почти на небе.

Никаких птиц нет. Это лапландские чародеи сделали так, чтобы показать свою мрачную Похполу с прекрасной стороны.

На берегу с песка поднимается струйка дыма, и возле нее несколько неподвижных фигур. Это, конечно, люди: звери не разводят же огонь. Это люди, они не уйдут в воду, если к ним подойти. Я приближаюсь к ним, неслышно ступаю по мягкому песку. Вижу ясно: котелок висит на рогатке, вокруг него несколько мужчин и женщин. Теперь мне ясно, что это люди, вероятно, лопари, но так непривычна эта светлая прозрачность и тишина, что все кажется: если сильно и неожиданно крикнуть, то эти люди непременно исчезнут или уйдут в воду.

— Здравствуйте!

Все повертывают ко мне головы, как стадо в лесу, когда к нему подходит чужая собака, похожая на волка.

Я разглядываю их: маленький старичок, совсем лысый, старуха с длинным острым лицом, еще женщина с ребенком, молоденькая девушка кривым финским ножом чистит рыбу, и два мужчины, такие же, как русские поморы.

— Здравствуйте!

Мне отвечают чисто по-русски.

— Да вы русские?

— Нет, мы лопари.

— А рыбки можно у вас достать?

— Рыбка будет.

Старик встает. Он совсем маленький карлик, с длинным туловищем и кривыми ногами. Встают и другие мужчины, повыше ростом, но тоже с кривыми ногами.

Идут ловить рыбу. Я за ними.

Такой прозрачной воды я никогда не видал. Кажется, что она должна быть совсем легкой, невесомой. Не могу удержаться, чтобы не попробовать: холодная, как лед. Всего две недели, говорят мне, как Имандра освободилась от льда. Холодная вода и потому, что с гор — налево горы Чунатундры, направо чуть видны Хибинские — непрерывно все лето стекает тающий снег.

Мы скользим на лодке по прозрачной воде в прозрачном воздухе. Лопари молчат. Надо с ними заговорить:

— Какая погодка хорошая!

— Да, у Святого Духа погоды хорошие!

И опять молчат. Хорошая погода, но какая-то странная. Вероятно, такой день был после потопа, когда только начала сбывать вода. Вся эта грешная земля, там, внизу, залита водой; остались

только эти черные верхушки гор с белыми пятнами. Все успокоилось, потому что все умерло. И смертную тишину насквозь пронизали лучи вечного солнца. Наш ковчег скользит в тишине. Вода, небо, кончики гор. Хорошо бы теперь выпустить голубя! Быть может, он принесет зеленую ветвь. Нет, еще рано, все это скрыто там, в глубине прозрачной воды.

Достаю мелкую монету и пускаю в воду. Она превращается в зеленый светящийся листик и начинает там порхать из стороны в сторону. Потом дальше, в глубине, она светится изумрудным светом и не исчезает. Ее зеленый глазок смотрит оттуда, из затопленных садов и лесов, сюда, наверх, в страну незаходящего солнца.

Может быть, теперь выпустить голубя?

Как бы хорошо с высоты спуститься туда, куда-нибудь вниз, в густую перепутанную траву между яблонями, в темную-темную ночь…

Мы у продольника, которым ловят рыбу, и теперь начинаем его осматривать. Это длинная веревка, опущенная на дно, со множеством крючков. Один гребет, а другой выбирает веревку с крючками, и все приговаривает свое: «Поуч-поуч, сег-сег!»

В этом горном озере за Полярным кругом долж-

на водиться какая-нибудь особенная рыба. Я, как многие охотники с ружьем, не очень люблю рыбную ловлю, но здесь с нетерпением жду результата. Долго приходят только пустые крючки. Наконец что-то зеленое, совсем как моя монета, светится в глубине и то расширится до огромных размеров, то сузится в ленту.

— Поуч-поуч! — кричу я радостно.

Все смеются. Это вовсе не рыба, а кусочек белой «наживки» на крючке…

Потом мы вытаскиваем одну за другой серебристые большие рыбы.

Голец — род форели, обитатель полярных вод.

Кумжа — почти такая же, как семга.

Палия…

Все редкие, дорогие рыбы.

— А эта как называется… Сиг?

Старик молчит, хмурится, чем-то напуган, оглядывает нас.

— Поуч-поуч, — говорю я. Но мое средство не действует. Испуганный старик отрывает от себя пуговицу, привязывает к сигу, пускает в воду и что-то шепчет.

Что бы это значило?

Но лопарь молчит. Темная спина рыбы быстро исчезает в воде, но пуговица долго порхает внизу,

как светлая изумрудная бабочка.

Что бы это значило? Вот она Похиола, страна чародеев и карликов. Начинается!

Только после двух-трех десятков драгоценной форели и кумжи устанавливаются у нас прежние добрые отношения.

Покончив с осмотром перемета, мы плывем обратно к берегу, где виднеется дымок от костра.

Подъезжаем. Те же самые люди, в совершенно таких же позах, сидят, не шевелятся: даже котелок по-прежнему висит на рогатке. Что же это они делали целых два часа? Осматриваю: у девушки на коленях нет рыбы. Значит, за это время они съели рыбу и теперь, насытившись, по-прежнему смотрят на пустынную Имандру.

— Поуч-поуч! — приветствую я их.

Все смеются мне. Как просто острить в Лапландии!

Теперь варить уху из форели. Вот она, вот она жизнь с котелком у костра. Вот она дивная свободная жизнь, которую мы искали детьми! Но теперь еще лучше, теперь я все замечаю, думаю. И хорошо же на Имандре в ожидании ухи из форели!..

Если не забыть с собой лаврового листа и перцу, то уха из форели в Лапландии глубоко, бесконеч-

но вкусна. Я ем, а молодая лапландка-хозяйка указывает мне на розовые и желтые куски рыбы в котелке и угощает:

— Волочи, волочи, ешь!

За это я даю ей лавровый листик. Она его нюхает, лижет и передает другим. Все удивляются листику и так ясно, так очевидно довольны, что я, растянувшись на песке у костра, глотаю кусок за куском их вкусную рыбу.

По Имандре

Путь по Лапландии от Кандалакши до Колы остался тот же, как во времена новгородской колонизации. Совершенно так же шли и новгородцы на Мурман, и до последнего времени рыбаки-покрученники из Поморья.

Теперь в разных местах пути выстроены избы, станции; возле каждой станции живет группа лопарей и занимается частью охотою на диких оленей в Хибинских горах, частью рыбною ловлей в озерах и немного оленеводством.

Чтобы узнать хоть сколько-нибудь местную жизнь, нужно непременно отклониться от традиций путеводителя, нужно создать себе непредусмотренные там препятствия и победить их. Это мое правило.

«Как бы провести тут время по-своему, — думаю я. — Проехать этот путь и познакомиться немного с жизнью людей, с природой… Не пуститься ли через Хибинские горы к оленеводам? Там поселиться на время в веже…»

Мы долго совещаемся об этом с стариком Василием, почти решаем уже отправиться через Хибинские горы, но сын его не советует. Лопари

перекочевали оттуда, и мы можем напрасно потерять неделю. Мало-помалу складывается такой план. Мы поедем на Олений остров по Имандре; там живет другой сын Василия, стережет его оленей; там мы поживем немного и отправимся в Хибинские горы на охоту.

Ветер дует нам походный. Зачем бы ехать со мной всему семейству, — лишний проводник стоит денег. Я советую старику остаться. Он упрашивает меня взять с собой.

— Денег, — говорит он, — можно и не взять, а вместе веселее…

Мы едем все вместе. Двое гребут. Ветер слегка помогает. Лодка слегка покачивается. Передо мной на лавочке сидят женщины: старуха и дочь ее. Лица их совсем не русские. Если бы можно так просто решать этнографические вопросы, то я сказал бы, что старуха — еврейка, а дочь — японка: маленькая, смуглая, со скошенным прорезом глаз. Черные глаза смотрят загадочно и упорно: моргнут, словно насильно, и опять смотрят и смотрят долго, пока не устанут, и снова моргнут. На голове у нее лапландский «шамшир», похожий на шлем Афины Паллады, красный. Мы едем как раз против солнца; лодку слегка покачивает, и я вижу, как блестящий странный убор девушки

меняется с солнцем местами. Это — дочь Похиолы, за которой шли сюда герои «Калевалы».

Немного неприятно, когда смотрят в глаза и ничего не говорят. Я замечаю на уборе девушки несколько жемчужин. Откуда они здесь? Приглядываюсь, трогаю пальцем.

— Жемчуг! Откуда у вас жемчуг?

— Набрала в ручье, — отвечает за нее отец. — У нас есть жемчужины по сто рублей штука.

— И платят?

— Нет, не платят, а только так говорят.

— Какой прекрасный жемчуг, — говорю я дочери Похиолы, — как вы его достаете?

Вместо ответа она достает из кармана грязную бумажку и подает.

Развертываю: несколько крупных жемчужин. Я их беру на ладонь, купаю в Имандре, завертываю в чистый листик из записной книжки и подаю обратно.

— Благодарю, хороший жемчуг.

— Не надо… тебе…

Скоро показывается лесистый берег; мы едем вдоль него, и лопари, ознакомившись со мною, не стесняясь, беспрерывно что-то болтают на своем языке. Время от времени я перебиваю их и спрашиваю, о чем они говорят. Они говорят то о

круглой «вараке» на берегу, то о впадине со снегами в горах, то о сухой сосне, то о большом камне. Там был убит дикий олень, там на дереве было подвешено его мясо, там нашли свою важенку с телятами. Это так, как мы, идя по улице, разговариваем о знакомых домах, ресторанах, о лицах, которые почему-то непременно встречаются всегда на одном и том же месте. Им все здесь известно, все разнообразно, но я схватываю только величественные контуры гор, только длинную стену лесов и необозримую гладь озера…

Вдруг на носу лодки у лопарей необычайное волнение, говорят шепотом, берутся за ружья, указывают мне на белый клочок снега далеко впереди, у самого берега.

— Дикий олень!

Я поскорее свертываю бечеву, вглядываюсь, замечаю движения белой точки. Немного поближе — и разбираю: белый олень с недоразвитыми рогами. Василий долго прицеливается из своей берданки и вдруг опускает ружье, не выстрелив. У него явилось подозрение, что это кормной[23] олень. Если бы подальше, в горах, признался он мне, то ничего, можно и кормного за дико-

---

[23] Примечания: 23
Ручной. *–Прим. автора.*

го убить, а тут нельзя: тут сейчас узнают, чей олень, — по метке на ухе. Мы подъезжаем ближе; олень не бежит и даже подступает к берегу. Еще поближе — и все смеются, радуются: олень свой собственный. Мы превзошли Тартарена из Тараскона. Это один из тех оленей, которых Василий пустил в тундру, потому что на острове мало ягеля[24]. Я приготовляю фотографический аппарат и снимаю белого оленя на берегу Имандры, окруженного елями и соснами.

Сняв фотографию, я прошу подвезти меня к оленю, но вдруг он поворачивается своим коротеньким хвостом, перепутывает свой пучок сучьев на голове с ветвями лапландских елей, бежит, пружинится на мху, как на рессорах, и исчезает в лесу. Немного спустя мы видим его уже выше леса, на голой скале, едва заметной точкой.

— Комар обижает! — говорит Василий. — Попил воды и опять бежит наверх, в тундры.

Это происходит где-то около Белой губы Имандры.

Тут мы должны бы и остановиться, дальше меня должны везти другие лопари. Но, выполняя

---

[24] Примечания: 24
Олений мох. *–Прим. автора.*

свой план, мы едем немного дальше, на Олений остров. Здесь я опять спускаю в воду дорожку, потому что, как говорит Василий, здесь непременно поймается кумжа.

Спускаю блесну; она вертится, блестит, как рыбка, далеко видна в прозрачной воде Имандры. Спускаю саженей на тридцать; остальная бечева остается смотанной на вертушке, вставленной в отверстие для уключины. Не проходит минуты, сильный толчок вырывает мою бечеву из рук, катушка сразу разматывается…

Вдруг в десяти шагах от лодки показывается над водой огромный рыбий хвост; от неожиданности он мне кажется не меньше китового. Рыба бунтует и снова уносит всю бечеву в воду. Большие круги расходятся по Имандре.

— Кумжа, кумжа! — говорят лопари. — Мотай…

Я вожусь с этой рыбой целый час. Борюсь с ней. И час кажется секундой и секунда — тысячелетием. Наконец я ее подтягиваю к борту, вижу ее длинную черную спину. Как теперь быть, как вытащить? Пока я раздумываю, лапландка вынимает из-за пояса нож, ударяет им в рыбу и, громадную, серебряную, обеими руками втаскивает в лодку.

Капельки крови на живой убитой твари меня часто беспокоят и, бывает, портят охоту. Но тут я не замечаю этого: я владею рыбой и счастлив обладанием.

Мне так хочется узнать, сколько в ней веса, вкусна ли она, хочется установить ее значение как моей собственности. Кажется, больше пуда весом, а лопари говорят — полпуда. Я спорю. Они соглашаются и смеются.

— А что лучше, — спрашиваю я, — кумжа или семга?

— Какая кумжа, какая семга. Все-таки семга лучше: семга — семга и есть. Ты скажи кумжа и сиг, вот так…

Я расспрашиваю Василия дальше о его верованиях, он оказывается убежденным христианином. С тех пор как святой Трифон пришел в Лапландию, все лопари христиане. Сначала плохо приняли Трифона, за волосы даже его таскали. А потом и смирились, но Господь наказал лопарей за святого, и они стали плешивыми. Тут Василий в доказательство снял свою шапку и показал свою лысину.

Но где-то и до сих пор, рассказывает Василий, верят лопари не в Христа, а в «чудь». Есть высокая гора, откуда они бросают в жертву богу оленей.

Есть гора, где живет нойд[25], и туда приводят к нему оленей. Там режут их деревянными ножами, а шкуру вешают на жерди. Ветер качает ее, ноги шевелятся. И если есть мох или песочек внизу, то олень как будто идет… Василий не раз встречал в горах такого оленя. Совсем как живой!.. Страшно смотреть. А еще бывает страшней, когда зимой на небе засверкает огонь, и раскроются пропасти земные, и из гробов станет выходить чудь…

Василий рассказывает еще много страшного и интересного про чудь…

Рассказывает сказку о том, как лопарь захотел попасть на небо, настругал стружек, покрыл рогожей, сел на нее, поджег костер. Рогожа полетела, и лопарь попал на небо.

Я слушаю приключения лопаря на небе и вдруг понимаю Василия, понимаю, почему он болтлив, почему он хоть и старик, но глаза у него такие легкомысленные.

---

[25] Примечания: 25
Колдун. *–Прим. автора.*

Олений остров

15 июня

Возле берега на Оленьем острове мы испугали глухаря. Я успел его убить. Скорее найти его в траве, скорее подержать в руках.

Выхожу на берег, но меня встречает туча комаров и мошек. Бегом скорей найти птицу — и в лодку. Но я спотыкаюсь о какие-то сухие сучья, камни, кочки. Комары меня едят, как рой пчел. Мелькает мысль, что и заесть могут, что это дело серьезное. Я поднимаюсь и с позором, без птицы, бегу к лодке. Глухаря достал один из лопарей.

Обогнув остров, мы подъезжаем наконец к тому месту, где должна быть вежа[26]. Я замечаю их две: одна — маленький черный колпачок аршина в два с половиной высоты, другая — повыше и подлиннее.

— Одна, — говорит Василий, — для людей, а другая — для оленей, какая побольше — для оленей, потому и олень побольше человека.

Теперь комары нас преследуют и на воде: кажется, все, сколько их есть на острове, устре-

---

[26] Примечания: 26

Лапландское жилище. *–Прим. автора.*

мились к нам в лодку. Истязание так сильно, что я непрерывно отмахиваюсь, непрерывно уничтожая сотни на своем лице, не имею мужества достать на дне моей котомки сетку «накомарник», которым я запасся еще в Кандалакше. Пока я ее нашел бы и приспособил, все равно комары съели бы меня.

А лопари с искусанными в кровь лицами и руками терпеливо и спокойно выносят испытание и даже рассказывают, что за каждого убитого комара до Ильина дня Бог прибавляет решето новых, а после Ильина убавляет, и тоже по одному решету за комара.

Выскакиваю из лодки и стремглав несусь к веже, едва смея открывать глаза; открываю дверцы и вместо людей вижу в полутемной веже оленьи рога. Я попал в оленью вежу. Звери не боятся. Я разглядываю их. Так понятны здесь эти кривые сучки — рога. Здесь, в Лапландии, столько кривых линий: кривые, опущенные вниз сучья елей, кривые сосны, кривые березки, кривые ноги лопарей, башмаки с изогнутыми вверх носками. Тут есть белые, есть серые олени, есть совсем маленькие телята. Вся компания штук в тридцать…

Человеческая вежа — маленькая пирамидка, немного выше меня, из досок, обтянутых оле-

ньими шкурами. Открываю дверцу и влезаю. Дверца с силой, своею тяжестью, захлопывается за мною.

Пока я разглядывал оленей, лопари уже все собрались в вежу; между моими знакомыми спутниками я узнаю еще одного молодого лопаря и женщину. В этой веже они все одинаковы, все сидят на оленьих шкурах у огня с черным котелком. Мне дают место на шкуре; я усаживаюсь, как и они, и, как и они, молчу. Отдыхаю от комаров у дыма. Потом начинаю разглядывать.

Вовсе не так плохо, как описывают. Воздух хороший, вентиляция превосходная. Вот только неудобно сознавать, что нельзя встать и необходимо сидеть.

С одной стороны огня я замечаю отгороженное место, покрытое хвоей; там сложены разные хозяйственные принадлежности. Это то самое священное место, через которое не смеет перешагнуть женщина.

Отдохнув немного, старуха принимается щипать глухаря, а остальные все на нее смотрят. Начинаю разговор с кривого башмака Василия. Расспрашиваю название одежды, утвари и все записываю. На оленях ездят, оленей едят, на их шкуре спят, в их шкуры одеваются. Кочующие

лопари.

— Почему вас называют кочующие? — спрашиваю я их.

— А вот потому кочующие, — говорят мне, — что один живет у камня, другой — у Ягельного бора, третий — у Железной вараки. Весной лопарь около рек промышляет семгу, придет Ильин день — переселится на озера, в половине сентября — опять к речкам. Около Рождества — в погост, в пырт. Потому кочующие, что лопарь живет по рыбе и по оленю. В жаркое время олень от комара подвигается к океану. Лопарь — за ним. Так уж нам Бог показал, он правит, он создатель.

Я узнаю тут же, что здесь, у Имандры, живут не настоящие оленеводы; здесь пускают оленей на волю, в горы, а занимаются больше охотой на диких оленей и рыбной ловлей.

Пока хозяйка чистит глухаря и устраивает его в котелке над огнем, мне рассказывают эту охоту на диких оленей, которая, впрочем, скоро совсем исчезнет со света.

Лопарь выходит в горы с собакой и ирвасом[27] и ищет стадо оленей. В это время года у диких

---

[27] Примечания: 27
Оленем-самцом. *–Прим. автора.*

оленей «рехка», особенная жизнь: олень[28] становится страшным зверем, шея у него надувается и делается почти такой же толщины, как туловище. Сильный старый самец собирает себе в лесу стадо важенок, стережет их и не подпускает других. Но в лесу за ним следят другие ирвасы. чуть только он ослабеет, другой начинает с ним борьбу. Вот тут-то лопарь и идет на охоту. Собака подводит к стаду. Домашний ирвас идет навстречу дикому. Прячась за оленя, лопарь подходит к дикарю, убивает одного и потом стреляет в растерявшееся стадо. Мясо спускается в озеро, «квасится» там, а лопарь идет за другим стадом. Осенью по талому снегу лопарь катит в горы на своих «чунках» и достает из воды мясо.

Пока варятся глухарь и уха, Василий рассказывает мне жизнь лопарей. Другие все слушают внимательно, иногда вставляют замечания. Женщины молчат, скромные и почтенные, как у Гомера, заняты своим делом. Одна следит за ухой и глухарем, другая оленьими жилами шьет каньги[29], третья следит за огнем…

Хозяйка забывает о глухаре. Но он неожиданно

---

[28] Примечания: 28
Ирвас –*Прим. автора.*

[29] Примечания: 29
Башмаки. –*Прим. автора.*

напомнил о себе сам. Его нога приподнимает крышку котелка и сталкивает ее в огонь, вода бежит, шипит. Глухарь поспел…

Немного спустя, когда мы все сидим вокруг досок с глухарем и едим, кто ножку, кто крылышко, кто что, хозяйка преображается: ее строгое, окаменевшее лицо оживает, глаза бегают, губы вытягиваются.

— Ау-уа-уы-кыть! Уа-уы-уа-кыть!

Я понимаю: это лапландская песня, спеть которую я долго и напрасно просил в лодке. Но это так не похоже на песню, скорее это что-то в чайнике или в котелке урчит и, смешавшись с дымом, уносится в отверстие наверху.

— Уа-уы…

Песня оканчивается неожиданным восклицанием: «Ка-шкарары!»…

За игрой в «дурачки» забываю о главном своем интересе в Лапландии: увидеть полуночное солнце. Мне напоминают о нем несколько капель дождя, пролетевших в отверстие нашей вежи,

— Дождь, — говорю я. — Опять не видать мне полуночного солнца!

— Дождь, дождь, — отвечают лопари. — Скорей куваксу строить!

Кувакса — это особая походная вежа, палатка.

Ее можно сделать из паруса. Василий уже давно мне говорил про нее и обещал, что спать я на острове буду лучше, чем дома, и он знает такое средство, что ни один комар не посмеет пролезть в мою куваксу.

Через несколько минут палатка готова, маленькая такая, чтобы лечь одному. Я устраиваюсь на теплых оленьих шкурах, покрываюсь простыней и шкурой. Славно. Тепло. Хорошо дышится. Я начинаю раздумывать о своих впечатлениях, выискивать связь между ними. Какой-то странный запах, похожий не то на запах курительной бумаги, не то угара, не то тлеющей ваты, перебивает мои мысли. Что бы это значило? Запах сильнее и сильнее, дым ест глаза. Вскакиваю, оглядываю палатку и замечаю в углу ее черный дымящийся котелок. Несколько гнилушек или сухих грибов курятся и наполняют палатку этим едким дымом. Я понимаю: это сюрприз Василия, это выполнение обещания, что ни один комар не заберется ко мне. Не решаюсь выставить котелок на дождь и тем обидеть любезного хозяина. Высовываю для разведки голову. Какие теперь комары… Дождь… Олени один за другим выходят из своей вежи к лесу.

Они заполняют весь треугольник между моей,

лопарской и своей вежами, пробуют пощипать траву, но ничего не находят и один за другим исчезают в лесу. Теперь я выставляю котелок на дождь, опять устраиваюсь, слушаю, как барабанят капли по палатке, слушаю взрывы веселого детского смеха из лопарской вежи. Все еще играют в «дурачки»...

Старик спал ночь под еловым шатром. Там сухо, совсем как в веже. Лапландские ели часто имеют форму вежи. Вероятно, они опускают вниз свои лапы для лучшей защиты от холодных океанских ветров.

Пока разводят костер, греют чайник и варят уху, закусывают, собираются, — проходит много времени; наступает уже день, начинают кусать комары; возвращаются олени; солнце греет. Но и день здесь не настоящий: солнце не приносит с собой звуков в природу, сверкает слишком ярко, но холодно и остро, и зелень эта как-то слишком густая, неестественная. День не настоящий, а какой-то хрустальный. Эти черные горы будто старые окаменелые звери. На Имандре вообще много таких каменных зверей. Вот высунулись из воды морж, тюлень, вот растянулся по пути нашей лодки большой черный кит.

— Волса-Кедеть! — показывает на него лопарь

и прислушивается.

Все тоже, как и он, поднимают весла и слушают. Булькают удары капель с весел о воду, и еще какой-то неровный плеск у камня, похожего на кита. Это легкий прибой перекатывает белую пену через гладкую спину «кита», и оттого этот неровный шум и так ярко блестит мокрый камень на солнце.

— Волса-Кедеть шумит! — говорит Василий.

Меня раздражает эта медлительность лопарей, хочется ехать скорее. Я во власти той путевой инерции, которая постоянно движет вперед. Лопари меня раздражают своим равнодушием к моему стремлению.

— Ну, так что же такое, — отвечаю я Василию, — шумит и шумит.

— Да ничего. Так… шумит. Бывает перед погодой, бывает так.

Ему хочется мне что-то рассказать.

— Волса-Кедеть, значит, кит-камень, отцы говорят, это колдун…

И рассказывает предание:

— Возле Имандры сошлись два колдуна и заспорили. Один говорит: «Можешь ты зверем обернуться?» Другой отвечает: «Зверем я не могу обернуться, а нырну китом, и ты не увидишь

меня, уйду в лес». Обернулся — и в воду. Немного не доплыл до берега и показал спину. Колдун на берегу увидал, крикнул. Тот и окаменел.

Такое предание о ките.

— А вот этот морж? — спрашиваю я.

— Нет, это камень.

— А птица?

— Тоже так… камень. Вот у Кольской губы, там есть люди окаменелые. Колдунья тащила по океану остров, хотела запереть им Кольскую губу. А кто-то увидал и крикнул. Остров остановился, колдунья окаменела, и все люди в погосте окаменели…

Мы едем ближе к горам. Мне кажется, что если хорошенько крикнуть теперь, то и мы, как и горы, непременно окаменеем. Я изо всей силы духа кричу. Горы отзываются. Лопари с поднятыми вверх веслами каменеют и слушают эхо.

Подшутить бы над ними? У ног моих на дне лодки большой камень-якорь с веревкой. Беру этот камень и прямо возле девушки бросаю его в Имандру. Бух!

Я не сразу понял, в чем дело. Вижу только, девушка стоит рядом, что она схватилась за нож, но ее удержали. В воде плавают весла.

Лапландка от испуга пустила в меня веслом,

промахнулась, хотела зарезать, но ее удержали, и теперь с ней истерика.

— Наших женок, — укоризненно говорит мне Василий, — нельзя пугать. Наши женки пугливые. Могла бы и беда быть…

Немного спустя девушка приходит в себя, а лопари как ни в чем не бывало смеются. И просто, как анекдот, рассказывают мне такой случай: русский солдат вошел в пырт. Дома никого не было, только женка сидела с ребенком у котелка. Солдат тоже присел и стал смотреть в огонь. Служивому захотелось пошутить с женкой, показал ей пальцами на язык пламени в камельке и громко крикнул: «Куропать!» Лапландка бросила ребенка в огонь и с ножом накинулась на солдата. Пока этот увертывался от ударов и успел схватить ее, ребенок сгорел совершенно…

После всех этих рассказов мне не хочется больше шуметь и кричать. Мне кажется, что если я теперь крикну еще раз, то все эти окаменевшие звери, рыбы и птицы испугаются, проснутся и от этого будет что-то такое, отчего сейчас страшно, но что — это неизвестно.

— В горах, — говорит Василий, — есть озера, где лопарь не посмеет слова сказать и веслом стукнуть. Вот там есть такое озеро: Вардозеро.

Он показал рукой на мрачное ущелье Им-Егор. Это ущелье — расселина в горах, вход внутрь этой огромной каменной крепости Хибинских гор.

Туда мы и отправимся завтра на охоту за дикими оленями, но сегодня мы заедем в Белую губу. Там живут лопари в пыртах; живет телеграфный чиновник, у которого можно достать масла и хлеба.

* * *

У подножия мрачных Хибинских гор, похожих на декорацию к дантовскому «Аду», возле Имандры, живет маленький чиновник. Он похож на крошечный винтик от часового механизма: так высоки горы и так он мал…

Станционная изба устроена по типу лопарского пырта. В ней есть камелек, лавки, окна. Лопари к моему приезду все собрались в избу и сидят теперь на лавках в ожидании меня. В избе дым. Это от комаров; хотят их убить. Я ложусь на лавку, хочу соснуть часок, хочу остаться один. Но они все, человек десять, молча рассматривают меня, чего-то ждут. Я не решаюсь попросить их выйти и ложусь, надеясь, что они поймут. Но они не понимают и смотрят, и смотрят. Мне хочется им сказать, крикнуть, но я не могу и лежу, смотрю на

них, они на меня. Путешествие мое обрывается…

Я открываю глаза. Вся Имандра в огне. Солнце. И ночь, которая мне грезилась, — как большая черная птица с огненными перьями, улетает через озеро на юг.

Лопарей нет. Дым разошелся, комары мертвые валяются на подоконнике.

Только десять вечера, но горы уже спят, закрылись белыми одеялами. Имандра горит, разгорается румянцем во сне, и близится время волшебных видений в стране полуночного солнца. Что грезится теперь этим горам? Да, конечно, они и видят вот то, что я сейчас вижу, — это все сон.

На озере человек в челноке. Чего-то ждет. Он первый здесь. А вот и деревья, и горы подступают к тихому озеру. Звери вышли из леса, рыбы из воды. Месяц прислонился у березы. Солнце у окошка замка стало.

Зазвенели струны кантеле. Запел человек.

Пел дела времен минувших, пел вещей происхожденье.

Просыпаюсь… Солнца не видно в мое окошко: так оно высоко поднялось уже. Опять я не видал полуночного солнца. Василий сидит у камелька и отливает в деревянную форму пули на диких

оленей. Сегодня мы будем ночевать в горах и охотиться.

В горах есть какое-то озеро, я забыл его название, к которому лопари питают суеверный страх. Это озеро со всех сторон защищено горами и потому почти всегда тихое, спокойное. Высоко над водой есть пещера, и там живут злые духи. В этом озере множество рыбы, но редко кто осмелится ловить там. Нельзя, при малейшем стуке весла злые духи вылетают из пещеры. И вот один молодой ученый из финской ученой экспедиции собрал лопарей на это озеро и принялся стрелять из ружья в пещеру. Вылетели несметные стаи птиц, черных и белых, но ничего не случилось.

С тех пор лопари там не боятся стукнуть веслом и ловят много рыбы.

Хорошо бы побывать внутри этой пещеры и оттуда посмотреть на полуночное солнце. Но это и далеко, и в самую пещеру почти невозможно добраться. Василий советует удовлетвориться ущельем Им-Егор, не менее мрачным, но доступным. В этом ущелье мы переночуем, войдем через него внутрь Хибинских гор и по Гольцовой реке вернемся опять к Имандре.

Пока мы набиваем патроны, готовим пищу, собираемся, Имандра уже опять приготовляется

встречать вечер и солнечную ночь.

Неужели опять случится что-нибудь, почему я не увижу солнечную полночь: дождь, туман или просто мы не успеем выбраться из леса в горы. Чтобы выбраться из ущелья, нужно часа два ехать на лодке и часа три подниматься в гору. Теперь шесть.

— Скорей, скорей! — тороплю я Василия.

Скользим на лодке по тихому озеру: ни малейшего звука, даже чаек нет. Ущелье видно издали: оно разрезает черную каменную гряду наверху. Снизу, с озера, оно вовсе не кажется таким мрачным, как рассказывают: просто это ворота, вход в эту черную крепость. Гораздо таинственнее и мрачнее этот лес у подножия гор. Те мертвые, но лес-то живой и все-таки будто мертвый.

Мы причаливаем к берегу, входим в лес: гробовая тишина! В нем нет того зеленого радостного сердца, о котором тоскует бродяга, нет птиц, нет травы, нет солнечных пятен, зеленых просветов. Под ногами какие-то мягкие подушки, за которыми нога ощупывает камень, будто заросшие мохом могильные плиты.

С нами идут в горы двое лопарей: Василий с сыном; остальные разводят костер у берега Имандры, садятся вокруг костра, начинают иг-

рать в карты. Завтра они встретят нас в устье Гольцовой реки.

Я надеваю сетку от комаров; от этого лес становится еще более мрачным. С плиты на плиту, выше и выше мы поднимаемся по этому северному кладбищу. Дальше и дальше взрывы смеха лопарей, играющих в «дурачки». Разве тут можно смеяться! Это странный, жуткий смех.

Мы вступаем в глубь леса с ружьями, заряженными пулями и дробью. Мы тут можем встретить каждую минуту медведя, дикого оленя, росомаху; глухарей, наверно, встретим, сейчас же встретим. Но я даже и не готовлю ружье…

Комары теперь не поют, как обыкновенно, предательски жалобно, а воют, как легионы злых духов. Мой маленький Вергилий с кривыми ногами, в кривых башмаках, не идет, а скачет. У него вся шея в крови. Мы бежим, преследуемые диаволами Дантова «Ада».

В чаще иногда бывают просветы; бежит ручей, возле него группа деревьев, похожих на яблоневый сад. И нужно подойти вплотную к ним, чтобы понять, в чем дело: это березы здесь так растут, совсем как яблони.

У одного такого ручья мы замечаем тропинку, как раз такую, какие у нас прокладывают бого-

мольцы и другие пешеходы у краев полей. Это оленья тропа. Теперь мы бежим по этой тропе в расчете встретить гонимого комарами оленя. Но я совсем не думаю об охоте; мне почему-то кажется, что эту тропу непременно проложили богомольцы, что там, наверху, есть монастырь. Мне приходит в голову опять та солнечная гора, о которой я думал на берегу Белого моря и на Голгофской горе Соловецкого монастыря. Вот она теперь, эта вершина. Как только мы выбежим из леса, тут и будет конец всего, — голые скалы и сияние незаходящего солнца. Я совсем не думаю ни о птицах, ни о зверях. Вдруг перед нами на тропу выбегает птица, куропатка, и быстро бежит не от нас, а к нам. Как это ни странно, ни поразительно для меня, не видавшего ничего подобного, но, подчиняясь той атавистической силе, которая на охоте мгновенно переделывает культурного человека в дикого, я взвожу курок и навожу ружье на бегущую к нам птицу.

Василий останавливает меня.

— У нее детки, нельзя стрелять, надо пожалеть.

Куропатка подбегает к нам, кричит, трепещет крыльями по земле. На крик выбегает другая, такая же. Обе птицы о чем-то советуются: одна

бежит прямо в лес, а другая — вперед по тропе и оглядывается на нас: будто зовет куда-то. Мы остановимся, она остановится. Мы идем, и она катится впереди нас по тропе, как волшебный колобок. Так она выводит нас на полянку, покрытую травой и березками, похожими на яблони. Останавливается, оглядывает нас, кивает головой и исчезает в траве. Обманула, завела нас на какую-то волшебную полянку с настоящей, как и у нас, травой и с яблонями и исчезла.

— Вот она, смотри, вот там пробирается, — смеется Василий. Я присматриваюсь и вижу, как за убегающей птицей остается след шевелящейся травы.

— Назад бежит, к деткам. Нельзя стрелять. Грех!

Если бы не лопарь, я бы убил куропатку и не подумал бы о ее детях. Ведь законы, охраняющие дичь, действуют там, где она переводится; их издают не из сострадания к птице. Когда я убиваю птицу, я не чувствую сострадания. Когда я думаю об этом… Но я не думаю. Разве можно думать об этом? Ведь это же убийство, и не все ли равно, убить птицу одну или с детьми, больше или меньше. Если думать, то нельзя охотиться. Охота есть забвение, возвращение к себе пер-

воначальному, туда, где начинается золотой век, где та прекрасная страна, куда мы в детстве бежали и где убивают, не думая об этом и не чувствуя греха. Откуда у этого дикаря сознание греха? Узнал ли он его от таких праведников, как святой Трифон, или так уже заложена в самом человеке жалость к птенцам? Как-то странно, что охотничий инстинкт во мне начинается такой чистой, поэтичной любовью к солнцу и зеленым листьям и к людям, похожим на птиц и оленей, и непременно оканчивается, если я ему отдамся вполне, маленьким убийством, каплями крови на невинной жертве. Но откуда эти инстинкты? Не из самой ли природы, от которой далеки даже и лопари?

Под свист комаров я раздумываю о своем непоколебимом, очищающем душу охотничьем инстинкте, а на оленью тропу время от времени выбегают птицы, иногда с большими семьями. Раз даже из-под елового шатра выскочила с гнезда глухарка, встрепанная, растерянная, села в десяти шагах от нас и смотрит как ни в чем не бывало, будто большая курица.

— Ну, убей, что же, убей! — показывает мне на нее Василий.

— Так грех, у ней дети…

— Ничего, что ж грех… Бывает, и так пройдет, убил и убил.

Лес становится реже и реже, деревья ниже. Мы вступаем в новый круг Дантова «Ада».

Сзади нас остается тайбола — лесной переход, а впереди — тундра. Это слово мы усвоили себе в самоедском значении: большое, не оттаивающее до дна болото, а лопари им обозначают, напротив, совсем сухое, покрытое оленьим мохом место.

Здесь мы хотим отдохнуть, развести огонь, избавиться хоть немного от воя комаров. Через минуту костер пылает, комары исчезают, и я снимаю сетку. Будто солнце вышло из-за туч, так стало светло. Внизу Имандра, на которой теперь выступает много островов, за ней — горы Чуна-тундры с белыми полосами снега, будто ребрами. Внизу лес, а тут тундра, покрытая желто-зеленым ягелем, как залитая лунным светом поляна.

Ягель — это сухое растение. Оно растет, чтобы покрыть на несколько вершков скалы, лет десять. И вот этой маленькой березке, может быть, уже лет двадцать, тридцать. Вот ползет какой-то серый жук, вероятно, он тоже без крови, без соков, тоже не растет. И тишина, тишина. Медленная, чуть тлеющая жизнь. Тут непременно должен бы быть монастырь, непременно должны бы жить

монахи. Эта сухая жизнь не возмутит даже и самого строгого аскета. Если и тут он заметит вот эту залетевшую сюда зачем-то бабочку, то можно подняться выше. Немного дальше начинаются голые черные скалы. Превзойти их никому нельзя. Тут где-то живет смерть, притаилась где-нибудь в тени, слилась со скалами и не показывается, пока здесь постоянный свет. И когда настанет зимняя ночь, выйдет и засверкает полярными огнями.

Святой Трифон спасался на одной из таких гор дальше, ближе к океану. Он назвал эти горы «северными ребрами».

Отдохнули у костра и идем выше по голым камням. Ущелье Им-Егор теперь уже не кажется прорезом в горах. Это огромные черные узкие ворота. Если войти в них, то непременно увидим одного из Дантовых зверей…

Еще немного спустя мы внутри ущелья. Дантовой пантеры нет, но зато из снега — тут много снега и камней — поднимается олень и пробегает через все ущелье внутрь Хибинских гор. Стрелять мы не решились, потому что от звука может обрушиться одна из этих неустойчивых призматических колонн.

Мы проходим по плотному, слежавшемуся снегу через ущелье в надежде увидеть оленя по ту

сторону, но там лишь необозримое пространство скал, молчаливый, окаменевший океан.

Десять вечера.

Мы набрали внизу много моха и развели костер, потому что здесь холодно от близости снега. Так мы пробудем ночь, потому что здесь нет ни одного комара, а завтра рано утром двинемся в путь. На небе ни одного облачка. Наконец-то я увижу полуночное солнце! Сейчас солнце высоко, но все-таки есть что-то в блеске Имандры, в тенях гор, вечернее.

А у нас на юге последние солнечные лучи малиновыми пятнами горят на стволах деревьев, и тем, кто в поле, хочется поскорей войти в лес, а тем, кто в лесу, — выйти в поле. У нас теперь приостанавливается время, один за другим смолкают соловьи, и черный дрозд последней песней заканчивает зорю. Но через минуту над прудами закружатся летучие мыши, и начнется новая, особенная ночная жизнь…

Как же здесь? Буду ждать.

* * *

Лопари и не думают о солнце, пьют чай, очень довольны, что могут пить его безгранично: я подарил им целую четвертку.

— Солнце у вас садится? — спрашиваю я их, чтобы и они думали со мной о полуночном солнце.

— Закатается. Вон за ту вараку. Там!

Указывают рукой на Чуна-тундру. Это значит, что они жили внизу, у горы, и не видели за ней незаходящего солнца. В это «комарное время» они не ходят за оленями и не видят в полночь солнца.

* * *

Что-то дрогнуло на солнце. Вероятно, погас первый луч. Мне показалось, будто кто-то крикнул за ущельем в горах и потом заплакал, как ребенок.

Что это?

У лопарей есть поверье: если девушка родит в пустыне, то ребенок будет плакать и просить у путников о крещении.

Может быть, этот ребенок и плачет?

А может быть, это их божество? У них есть свой плачущий бог. Злой дух настиг девушку в пустыне, овладел ею, и оттого родился бог, который вечно плакал. Может быть, это бог пустыни плачет?

— Что это? Слышите?

— Птица! Куропать!

Это, вероятно, крикнула полярная куропатка.

Но в тишине, при красном свете потухающего солнца, так легко ошибиться.

* * *

После одиннадцати. Один луч потухает за другим. Лопари напились чаю и вот-вот заснут, и я сам борюсь с собой из всех сил. Нужно непременно заснуть, или произойдет что-то особенное. Нельзя же сознавать себя без времени! Не могу вспомнить, какое сегодня число.

— Какое сегодня число?

— Не знаю.

— А месяц?

— Не знаю.

— Год?

Улыбаются виновато. Не знают. Мир останавливается.

* * *

Солнце почти потухло. Я смотрю на него теперь, и глазам вовсе не больно. Большой красный мертвый диск. Иногда только шевельнется, взбунтуется живой луч, но сейчас же потухнет, как конвульсия умирающего: на черных скалах всюду я вижу такие же мертвые красные круги.

Лопари смотрят на красный отблеск ружья и говорят на своем языке, спорят.

— О чем вы говорите, о солнце или о ружье?

— О солнце. Говорим, что сей год лекше идет, может, и устоится.

— А прошлый год?

— Закаталось. Вон за ту вараку.

Будто разумная часть моего существа заснула и осталась только та, которая может свободно переноситься в пространства, в довременное бытие.

Вот эту огромную черную птицу, которая сейчас пересекает красный диск, я видел где-то. У ней большие перепончатые крылья, большие когти. Вот еще, вот еще. Одна за другой мелькают черные точки. Это не птицы, это время проходит там, внизу, над грешной землей у людей, окруженных душными лесами. Или это люди бегут один за другим по улице непрерывно долгие годы? Они бегут по двум протянутым веревочкам вперед, вперед. А я смотрю на них в окошко, вижу, как злой карлик с кривыми ногами хочет выдернуть веревочки. Как жутко смотреть, и как страшно! Что-то будет? Люди не могут без этого жить. Вот одна веревочка, вот другая — и все перемешалось, все столкнулось, кровь, кровь, кровь…

Это не сон, это блуждание освобожденного духа

при красном, как кровь, полуночном солнце. Вот и лопари сидят у костра, не спят, но тоже где-то блуждают.

— Вы не спите?

— Нет.

— Какие это птицы там пролетели по солнцу? Видели вы?

— Это гуси летят к океану.

* * *

Солнце давно погасло, давно я не считаю времени. Везде: на озере, на небе, на горах, на стволе ружья — разлита красная кровь. Черные камни и кровь.

Вот если бы нашелся теперь гигантский человек, который восстал бы, зажег пустыню по-новому, по-своему. Но мы сидим, слабые, ничтожные комочки, у подножия скал. Мы бессильны. Нам все видно наверху этой солнечной горы, но мы ничего не можем…

И такая тоска в природе по этому гигантскому человеку!

* * *

Нельзя записать, нельзя уловить эти блуж-

дания духа при остановившемся солнце. Мы слабые люди, мы ждем и просим, чтобы засверкал нам луч, чтобы избавил нас от этих минут прозрения.

Вот, я вижу, луч заиграл.

— Видите вы? — спрашиваю я лопарей.

— Нет.

— Но сейчас опять сверкнул, видите?

— Нет.

— Да смотрите же на горы! Смотрите, как они светлеют.

— Горы светлеют. Верно! Вот и заиграло солнышко!

— Теперь давайте вздремлем часика на два. Хорошо?

— Хорошо, хорошо! Надо заснуть. Тут хорошо, комар не обижает. Поспим, а как солнышко станет на свое место, так и в путь.

После большого озера Имандра до города Колы еще целый ряд узких озер и рек. Мы идем то «тайболой», то едем на лодке. Чем ближе к океану, тем климат мягче от теплого морского течения. Я это замечаю по птицам.

Внутри Лапландии они сидят на яйцах, а здесь постоянно попадаются с выводками цыплят Но, может быть, я ошибаюсь в этом и раньше не

замечал птенцов, потому что был весь поглощен страстью к охоте. Тут что ни шаг, то выводок куропаток и тетеревей, но мы не стреляем и питаемся рыбой. Проходит день, ночь, еще день, еще ночь; солнце не сходит с неба, постоянный день. Чем ближе к океану на север, тем выше останавливается солнце над горизонтом и тем ярче оно светит в полночь. Возле океана оно и ночью почти такое же, как и днем. Иногда проснешься и долго не поймешь: день теперь или ночь. Летают птицы, порхают бабочки, беспокоится потревоженная лисицей мать-куропатка Ночь или день? Забываешь числа месяца, исчезает время.

И так вдруг на минуту станет радостно от этого сознания, что вот можно жить без прошлого и что-то большое начать. Но ничего не начинается, пустыня покоится, и мертвый глаз вечно стоит над горизонтом, зорко следит, как бы кто-нибудь из мертвых здесь не восстал…

Анархическая колония. Северный орех

Из разорванных утренних туманов показывается черный Мурман, будто старик с седой бородой. Мы теперь в ближайшем соседстве с Норвегией; самое слово Мурман происходит от норвежского Норман. Наш пароход быстро бежит навстречу этому старому деду, одиноко стерегущему здесь, в Ледовитом океане, наши зеленые поля и города. Туманы поднимаются выше и выше, и вот перед нами не старик, а древний окаменелый слон свесил громадный хобот в океан и пьет воду. Кожа старая, землистая, слежавшаяся в складки. Но утром, когда солнце разгоняет туманы, и камень живет. Черный лоб краснеет, разглаживается, приветствует, радуется, как только может радоваться старый окаменелый слон. Теперь мы уже различаем в складках скал белые клочки снега, последние следы недоверия на морщинистом лбу.

— Красиво? — говорю я капитану.

— Что красиво?

— Эти горы… и все… так…

Капитан думает, что красивым можно назвать только берег, усеянный селами, городами, зе-

ленеющий, но черный Мурман… камень… без малейших признаков жизни…

— Красивая земля, — не очень искренно соглашается он, — но что в ней, пустая.

— А море! — говорю я, указывая на спокойные валы зыби, от которой у скал непрерывно взлетают высокие белые фонтаны.

— Да, море… море… да…

Я заражаю его, привыкнувшего ко всему этому, своим интересом к этой новой для меня природе… Он вглядывается в берег, будто увидел его в первый раз. Но через минуту вспоминает, что у него какая-то практическая цель, нужно что-то погрузить, выгрузить, забывает о красоте черных скал над океаном и дает условный свисток. Горы откликаются, высылают из трещин лодку, другую, третью…

— Тут целый флот!

— Это еще что, — отвечают мне, — а бывает, народу глядеть не переглядеть, считать не пересчитать, растянутся по морю, что лес, облепят пароход, что мухи.

Лодки — большею частью те знаменитые мурманские «шняки», на которых промышленники выезжают далеко в океан ловить рыбу и постоянно гибнут на них. Это те шняки, которые на

Севере служат символом русской культурной отсталости и постоянным предметом насмешек соседей-норвежцев. Между шняками попадаются и красивые, похожие на античные суда, «елы», более совершенные лодки, но и то уже оставленные норвежцами, применяющими теперь безопасные палубные боты.

Лодки и елы тесным кольцом окружают пароход, стучат друг о друга. Здоровенные поморы прыгают из одной в другую, то ругаются, то хохочут: всем хочется раньше попасть на пароход. Взбираются на палубу, ворочают бочки. Одному великану, я вижу, не терпится; он, не дожидаясь помощи машины, поднимает бочку на борт и… бух! — лодку внизу заливает наполовину водой… Общий хохот.

Здоровая, веселая, свободная жизнь, совсем незнакомая жителям средней России и даже тем деревенькам Беломорья, которые расположились на Летнем берегу против Соловецкого монастыря. Сюда, на Мурман, ездят только те поморы, которые живут на западном берегу Белого моря, которые, собственно, и называются на Севере «поморами».

— Хорошо! — говорю я нашему капитану.

— Ничего, — отвечает он, — народ хороший.

Грубоваты только. Да это ничего. Северный человек — орех, его раскусить нужно.

— Поезжай к ним, — советует старик, — посмотришь. Через неделю пароход придет, и уедешь.

— Не-де-лю!

— Что тебе неделя, все равно веку идти.

«В самом деле, — думаю я, — что такое неделя, а для сравнения с Норвегией, в которую я поеду, хорошо побывать среди этих великанов, потомков новгородских дружинников». Беру свой чемодан и спускаюсь вниз.

— Можно? — спрашиваю одного, другого, третьего.

Никто не отвечает. Один, опираясь на мое плечо, перескакивает в другую лодку, другой наступил на чемодан. Между этими людьми я становлюсь маленьким, исчезаю.

— Можно?

— Сиди-и… Сел и сиди. Сиди и сиди!

Везут и высаживают на голые скалы. «Под пахтой», как называют тут небольшую бухточку между горами[30].

— Это становище?

— Нет, это Пахта, становище далеко, версты

---

[30] Примечания: 30

Пахта — гора. *–Прим. автора.*

две…

Вот он, северный-то народ… «Северный человек, — будто все еще слышу я слова капитана, — орех, его раскусить нужно».

Раскусить так раскусить, делать нечего…

Я вскидываю себе на плечи чемодан, пуда в два-три весом, и поднимаюсь на скалы.

— Вот так, — слышу я за собой. — Вот так, иди и иди. Шагом марш! Тропинка приведет к месту!

* * *

Какая это тропинка! Тут на голом камне и не может быть тропинки. Это просто едва заметные пыльные следы сапог пешеходов на черных камнях гранита. Я поминутно теряю след и то поднимусь слишком высоко, то опущусь до какой-нибудь расселины, которую нельзя перейти, и снова возвращаюсь искать следы сапог на камнях.

Раз так я поднимался к отвесной стене над морем и заметил, что из трещины скалы свешивается пучок лиловых колокольчиков. Заинтересованный, как они держатся на голом камне, как они могли тут вырасти, я осторожно протягиваю руку вниз, срываю. Настоящие сочные цветы и пахнут свежим лугом, как пахнут непахучие

цветы. Они устроились здесь, в трещине скалы. Разглядывая цветы, я вдруг замечаю, что край моего пальто показывается то на фоне черных камней, то над зеркалом воды. Другой край тоже качается, и колокольчики в руках качаются, и все покачивается: пуговицы, цепочка. Я понимаю, что это от морской качки, но странно то, что я сам смотрю на себя, сознаю и не останавливаюсь, будто это не привычка, приобретенная на судне, а скалы над океаном качаются. Спешу уйти вниз, спускаюсь к зеленоватому местечку. Это озерко, окруженное мохом. Тропа упирается в воду, глубоко, нельзя перейти. Что бы это значило? Приподнимаюсь наверх поискать новую тропу и вдруг понимаю, что это не озерко внизу, а временная вода океанского прилива. Чтобы ориентироваться в местности, я поднимаюсь еще выше и вдруг вижу, что я подошел почти к самому становищу.

Две высокие, уступчатые, будто искусственно сложенные из больших черных камней горы, с восьмиконечными крестами наверху, стерегут множество лодок в бухте. Гора с крестом и есть, конечно, тот глядень, про который мне много рассказывали. Отсюда поморы ждут судов с моря, ждут погоды, здесь устраивают иногда и свои

пиры.

Судов так много, что едва заметно воду, не видно, где начинается берег, на котором приютилось множество домиков с плоскими крышами, похожих отсюда не то на самовар, не то на печь, потому что над ними иногда возвышаются железные трубы. Чего же лучше? Весело, свободно. Небольшое усилие над собой — и я прислоню сюда свою лодочку и заживу припеваючи.

Мои мечты носятся в воздухе, совсем как эти серебряные чайки, крачки, кривки, поморники, зуйки.

Сгорает одна папироска, другая, третья, становится нехорошо, попадается мысль: «Северный человек — орех, его еще раскусить нужно». И тут я замечаю, что там, где было озеро, окаймленное зеленым мохом, — теперь черное, покрытое грязными водорослями место, виднеется и тропа на нем.

Надо идти, надо раскусить северный орех…

Александр Грин

Река
Рассказ
I

Живо, как будто это было только вчера, я помню рассказ Керна, выслушанный мною в обществе молодого Женжиля и Благира, дяди Женжиля, короткий тяжелый рассказ о непонятном, невидимым якорем укрепленном в темном человеческом сердце, на страшной глубине бездн, немых для отчаяния и веры, любви и ненависти. Я расскажу по порядку.

Самуил Керн, я, Женжиль и Благир были по профессии лодочники. Нам принадлежали две лодки. Весной, когда река выходила из берегов и много всякой дряни плыло из размытых наводнением поселений — плотов, дров, утвари, — мы выезжали на ловлю всех этих сюрпризов и проводили на реке целые дни.

Однажды, в сильное половодье, проблуждав вниз по течению без толку целые сутки, мы к ночи повернули домой. Поднялся ветер, река вздулась и потемнела; было холодно, сыро; грести становилось трудно; ветром и волнением гнало

лодки прочь от города к противоположному берегу. Мы выбивались из сил; ледяной воздух бил нас в лицо порывистыми размахами. Стемнело, опустился туман. Мы плыли в беспокойной тишине ночи — только гудел ветер, да тревожное, глухое дыхание сырой тьмы реки уходило без конца вдаль. Благир засветил фонарь и, соскучившись, затянул песню:

Посушимся, ребята,
В трактире у Грипата,
Где на веселый огонек
Рыбак летит, как мотылек.

Его перебил Керн:

— А вот что, — сказал он, — ведь нам не выгрести. Переправимся на тот берег и выждем до утра. Чайник с нами — будем чай пить.

— Верно, — согласился Женжиль.

И через полчаса мы пристали к небольшой песчаной косе, за которой начинались холмы, покрытые низким кустарником.

II

Мы разложили огонь и расположились вокруг

трескучего горна, закрывая плащами от ледяного ветра шеи и головы. Выколотив трубку, Женжиль взял чайник и пропал в бушующей тьме.

Прошло минут пять, парень не возвращался. Вода была близко от того места, где мы сидели, — шагах в пятнадцати, но там, у воды, шумел только песок, заливаемый весенним прибоем; стихли шаги Женжиля, словно он удалился в глубину берега. Всем надоело ждать, мы озябли, хотелось по кружке чая.

Самуил крикнул:

— Женжиль!

В то же мгновение бледное, вытянутое лицо Женжиля блеснуло в кругу света круглыми, испуганными глазами. Он швырнул пустой чайник, присел на корточки и вытянул к огню мокрые, вздрагивающие ладони. Я заметил, что рукава его куртки мокры до самых плеч.

— Заблудился? — иронически спросил Керн. — Что случилось? — спокойно повторил он, заметив неладное.

Женжиль встал, встряхнулся и, прежде чем заговорить, помолчал немного, словно не давая веры собственным чувствам.

— Я поймал утопленника, — растерянно пробормотал он, нервно поворачивая лицо к шумев-

шему в темноте разливу. — Нечаянно схватил его за руку в воде и, конечно, забыл про чай. Кажется, хотел принести сюда, но не смог, потому что затряслись поджилки и я ослабел, как роженица.

— Хо-хо, — протяжно протянул Благир, выхватывая головню из костра. Миас и ты, Керн, идем. Нельзя оставлять тело мокнуть, а может быть, он еще жив.

Из всех нас в эту минуту один Керн вспомнил о чае и, нагнувшись, захватил брошенную Женжилем посуду. Взволнованные, хотя и не раз встречали людей, плывущих вниз по реке с мертвыми глазами уснувших рыб, — мы тронулись. Впереди шел Женжиль с дядей, за ними я; Керн замыкал шествие; чайник тупо побрякивал в его пальцах.

Благир поднял головню, ветер раздул ее — сотни искр взвились волнистым букетом, и дикий трепет огня взволновал мрак, разбежавшийся уродливыми лохмотьями. На песке, у самой воды, я различил темную фигуру с белым лицом. Это была женщина.

Мы присели кругом, рассматривая печальный сюрприз реки — бурной равнины мрака. Тонкая и, по-видимому, слабая была эта женщина с маленькими, посиневшими кулачками; хорошее,

сшитое по моде, мокрое платье обтягивало ее липким футляром, на лицо было грустно и досадно смотреть — застывшее страдание лежало на нем, и от этого было оно еще прекраснее, как молодая любовь, обрызганная слезами. Мокрые, бронзового оттенка, волосы, свитые в один жгут, вытягивались на темном песке.

Благир щелкнул языком, развел руками и встал. Керн сказал:

— В такую ночь рискованно упасть с парохода.

— Ничего не известно, — вздохнул Женжиль. — Бывает, что и сами прыгают. А теперь как? Миас, что делать?

— Перенесем к огню, — сказал я. — А утром все пятеро приедем в город. Бери за плечи, Женжиль. Я — за ноги.

Вдвоем мы подняли труп и перенесли к костру, положив его немного поодаль, чтобы глаза наши не натыкались ежеминутно на тягостное для живых зрелище. А когда несли ее, то ноги наши ступали тихо и осторожно, а руки прикасались бережно к холодному телу, словно она спала.

Удаляясь с печальной ношей, я слышал, как булькнула позади вода: Керн наполнял чайник.

III

Опустив на траву тело, я и Женжиль молча стояли некоторое время около него, взбудораженные неожиданностью, с совершенно утраченным равновесием духа, присущим людям физического труда. Я, правда, не всегда был лодочником и знавал лучшие дни, но частые, подавленные вздохи Женжиля были для меня новостью. Что тронуло и что поразило его?

Наконец, оба мы, как бы сговорившись, отвернулись и подошли к огню, где Керн кипятил чай. Широколицый, бородатый, нахмуренный, он пристально следил за огнем, молча переживая событие. Ветер усилился, раскидывая по земле дымное, фыркающее пламя, и осыпал нас градом пощечин, завывая в ушах. Разговор не вязался. Наконец, мало-помалу, каждый стал разгружаться, строя нехитрые догадки и предположения. Через полчаса говорили уже о дочери миллионера, замученной жестоким отцом. Мы, люди реки, можем прилично фантазировать, потому что живем на просторе и вечно полны небом, отраженным в реке! Мы разговаривали негромкими голосами, невольно оглядываясь в ту сторону,

где, скрытое близким мраком, лежало молодое тело погибшей, и мне все время казалось, что бледное, замкнутое лицо ее присутствует среди нас. На душе было невесело.

Прихлебывая мутный чай, Женжиль заявил:

— Если временно человек рехнулся, он способен на все. Вот и все, нечего тут и голову ломать.

— Дурак, — спокойно возразил Керн. — Разве это так просто? Я знал умного человека с ясной головой и с душой тверже, чем стальной рельс, но человек этот добровольно погиб.

— Раскис, — презрительно проворчал Благир. — Лопаются и стальные рельсы.

— Ты слушай, — сказал Керн. — Он не раскис, но производил вычисления. Складывал, умножал, делил и вычитал свою жизнь. Должно быть, действительно выходил нуль. Он служил шкипером на пассажирском катере, что ходит по городу, и служил десять лет.

Однажды я встречаю на пристани целую кучу народа — все кричат, ругаются. Спрашиваю: в чем дело? — Да вот, — говорит мне высокий старик в цилиндре, а сам весь дрожит от злости, — совершено уголовное преступление. Мы, говорит, ехали все тихо и смирно, каждый по своему делу, в разные концы города на катере № 31 (где и

служил тот шкипер, про которого я рассказываю). Подплыли к этой пристани, — отдали причал, вдруг шкипер отходит от колеса и заявляет: — Господа, не будете ли так добры очистить судно? — Почему? — Да так, говорит, надоело, говорит, мне возить разный сброд, идите, господа, вон. Возил я вас десять лет, а теперь у меня нет для этого подходящего настроения. — Кинулись на него, а он вынул револьвер и молча посмеивается. Спорить было немыслимо. Мы вышли, и, прежде чем успели позвать полицию, он прыгнул в машину, крикнул что-то, и машинист вышел на берег, без шапки, бледный. Мы к нему — в чем дело? — Не знаю, говорит, с ним что-то неладное.

Тогда, — продолжают мне дальше рассказывать, — Грубер (а шкипера звали Грубер) встал у штурвала и полным ходом стал удаляться вниз, к морю. Далеко уплыл он, катер стал маленький, как скорлупка, и смотрим — взвился на нем флаг. И менее чем через четверть часа отправился в погоню катер речной полиции.

Керн остановился и посмотрел на нас взглядом, выражавшим Груберу если не одобрение, то сочувствие. Потом продолжал: — Я ушел с пристани, потому что делать на ней мне более было нечего, а подробности и конец истории

узнал вечером.

В тот день на море был сильный шторм, катер Грубера летел полным ходом, и полицейские, гнавшиеся за ним, пришли в смятение, потому что Грубер плыл не останавливаясь, в бурную морскую даль, и нельзя было решить, что он намерен сделать. Расстояние между обоими катерами становилось все меньше (полицейские жгли уголь вовсю, и их судно все-таки шло быстрее), но сокращалось чересчур медленно, а волнение становилось опасным. Тогда стали стрелять из дальнобойных кольтовских магазинок, целясь прямо по катеру.

Погоня и стрельба продолжались еще некоторое время, как вдруг гнавшиеся за Грубером, к великому своему удивлению, заметили, что он поворачивает. Через минуту это сделалось несомненным; тогда решили, что Грубер боится пуль и решил сдаться. Перешли на малый ход, остановились почти.

Грубер же действительно повернул катер и быстро приближался к преследующим. Скоро уже можно было видеть его — он стоял без шапки и улыбался. Тягостная была эта улыбка, но тогда не знали еще, что задумал безумец, презревший силу людей.

— Здорово! — прокричал он, когда расстояние между ними и им сократилось на половину человеческого голоса. — Я сейчас буду борт о борт с вами, но прежде позвольте сказать мне несколько слов.

Ответом ему было молчание — остановились и ждали.

— Десять лет, — продолжал Грубер, — я получал от компании каждый месяц сто долларов и жил скверно. Я управлял машиной, построенной человеческими руками для того, чтобы всевозможные ненужные мне субъекты переезжали с моей помощью из одного места в другое. Но мне ведь это не нужно, да и машина тоже, пожалуй, лишняя.

Не хочу я изображать сказку про белого бычка — возить для того, чтобы ждать, и ждать, чтобы возить. Изобретите для этого усовершенствованную машину.

А я захотел сегодня, как человек, имеющий право располагать собой и своим временем, выплыть в море — первый раз за десять лет.

Еще много говорил он, — много говорил потому, что не было дано ему силы тремя или четырьмя словами вывернуть себя наизнанку.

Наверно, страдал он сильно от этого.

— Подите к черту! — в заключение сказал он, оскалив зубы. Волны бросали оба катера из стороны в сторону. Тогда Грубер дал полный ход, ударил носом своего парохода в борт врага, и оба пошли ко дну.

После этой истории спасся всего один — кочегар из речной полиции, да и то бедняге пришлось держаться на спасательном круге, пока его не заметили с берега…

Керн смолк. Начинало светать, ветер смирился. Костер гас, в бледном свете зари огонь его казался призрачным и бессильным.

— Пойдемте к лодкам, — предложил я, — прошла ночь, а ветер переменил направление.

Мы встали, продрогшие и сырые от росы, разминая окоченевшие члены.

Керн и Благир понесли весла, а я с Женжилем подошли к мертвой девушке.

Первый луч солнца выскользнул из-за далеких холмов, коснулся ее лица, и стало оно немного живым, но все-таки безнадежно угасшим и замкнутым в своей тайне. Возмущение подымалось в моей душе, так жалко было эту милую красоту тела и молодости. Вероятно, я чувствовал бы себя не лучше, если бы смотрел на труп ребенка, раздавленного фургоном.

Женжиль, обдумав что-то, нагнулся. Я скоро понял его намерение. Действительно, он стал шарить в карманах юбки. Все оказалось в порядке, то есть нашлось письмо, смоченное и скомканное.

— Прочти-ка, Миас, — сказал он, протягивая бумажку мне.

— «Хочу умереть. Рита», — прочел я и сунул бумажку за пазуху.

— Сама хотела, — глубокомысленно произнес Женжиль.

— Несите, эй! — крикнул Благир.

Мы перенесли труп в лодку и, выплыв на середину, долго разговаривали об упрямцах, предпочитающих скорее разбить об стенку голову, чем помириться с существованием различных преград. Затем стали грести молча, потому что мертвый или живой — человек темен и ничего не скажет, да, может быть, это и хорошо.

А я все не мог оторваться от милого и близкого теперь почему-то лица утопленницы. Вдруг возглас, полный отчаяния, прервал мои размышления:

— Да ведь я чайник забыл!

Это вскричал Керн. Вот это было действительно непонятно, потому что он и в самом деле забыл его. Но при его положительном и трезвом харак-

тере можно держать пари, что более с ним таких фактов не повторится.

Медвежья охота
I

Помещик Старкун трижды напомнил своим знакомым, что вдовому, старику скучно сидеть одному в имении, занесенном снегом. Мало кто отозвался на его письма. Большинство, помножив в уме деревенскую тишину на отсутствие напитков и развлечений, осталось в тени. Старкун наконец догадался, в чем дело, и, вытребовав из соседней деревни медвежатника Кира, заказал ему медвежью берлогу. На другой же день Кир, отрывая жесткими пальцами сосульки с заледеневших бороды и усов, стоял перед Старкуном и докладывал, что берлога есть. Тем временем другой мужик, сметливый и лукавый, отправился в Петроград с несколькими записками и привез оттуда два больших таинственных ящика, в которых, когда их поворачивали, что-то булькало.

Вооруженный, таким образом, двумя хорошими развлечениями, Старкун снова разослал письма приятелям, и вот, опаздывая, ссорясь, облизываясь и препираясь, собралась и выехала наконец из Петрограда солидная компания охот-

ников и любителей кутерьмы, среди которых был Константин Максимович Кенин, молодой человек с пылким воображением, неразделенной любовью и страстью к приключениям. Кенин служил в посольстве.

Накануне выезда к Старкуну Кенин зашел в дом 44-6 по Фонтанке — нелепый, старый, но самый очаровательный для него дом в столице, где жила «она». Мария Ивановна Братцева, девушка двадцати лет, немного полная, крепкая, высокого роста, с одним из тех красивых и пустых лиц, какие большей частью неотразимы для молодых, сильных и здоровых мужчин. Ее глаза были почти бесцветны, брови высоки и малы, но простая, свежая линия профиля, мягкий на взгляд, свежий и крупный детски-задорный подбородок страстно тянули Кенина к ней как к женщине. Братцева носила галстуки мужского покроя, белокурые с желтизной волосы свертывала пышным затылочным узлом, говорила веским, спокойным, грудным голосом, смеялась раскатисто; в ее присутствии Кенин испытывал томление и тихую любовную злобу.

— Так что же, — сказал Кенин после одной из пауз, обрывая разговор о будущем кинематографа, — значит, у вас ко мне любви нет?

— Конечно, нет. Я ведь вам говорила… — Братцева взяла теплый платок, хотя в комнате было жарко, закутала плечи и пересела в другой угол, рассматривая Кенина внимательными, немигающими глазами. — Послушайте, какая любовь в двадцатом веке, — прибавила она, — и вам, и мне нужно работать, делать жизнь.

— Как же вы хотите делать? — натянуто спросил Кенин.

— Да… так… Как выгоднее, удобнее, вкуснее… что ли. — Братцева рассмеялась и вдруг стала серьезной, сказав грустно: — Я, кажется, и любить не могу совсем; я по характеру — одиночка, и связывать себя не хочу.

«Я, по-видимому, и неудобен, и невыгоден, и невкусен, — подумал с раздражением Кенин. — Эта странная новая порода женщин и дразнит, и тянет, и… гневит… Молода, красива, служит в банке, с мужчинами на равную ногу и ждет какого-то случая…» — Вслух он сказал неуверенным, напряженным голосом:

— Я мучительно люблю вас…

— Ну, это пройдет… Киньте мне из коробки конфетку.

Кенин бросил, но неудачно, и Братцева несколько секунд шарила позади стула; затем, усевшись

снова основательно и удобно, спросила:

— Вы долго пробудете на охоте?

— Дня два… не больше.

— Возьмите меня. — Она выпрямилась и благосклонно блеснула глазами. — Я, надеюсь, не помешаю вам?

— Что вы! — обрадовался и смешался Кенин. — Это так хорошо… с удовольствием… конечно, едем!.. Все, что хотите.

— С одним условием: если медведя застрелите вы — он мой.

— Оба ваши, Мария Ивановна, — я и медведь.

— Нет, пока что медведь. — Она так неопределенно вытянула эту фразу, что Кенин взволновался и радостно насторожился. — Где же мы встретимся и когда?

— Можно на вокзале… — задумчиво сказал Кенин и тихо прибавил: — Или у меня…

— Зачем же мне делать крюк? — наивно осведомилась Братцева. — Когда идет поезд?

— Одиннадцать с четвертью.

— Ну и хорошо, я приду к поезду.

— И не забудьте потеплее одеться. Кстати, дам, кроме вас, больше не будет.

— Так и должно быть, — сказала Братцева. — Один медведь — одной даме. Но только убить

его должны вы.

— Да, — кратко и решительно подтвердил Кенин, чувствуя небывалый прилив уверенности, — но вы… и зачем вам нужен медведь?

— В таком подарке есть что-то значительное, оригинальное… мертвый медведь у моих ног, — нет, это стоит потерять сутки! — Она подумала и прибавила: — Говорят, шкура в отделке ценится в полтораста рублей.

— Какая отделка, — сказал Кенин и, посмотрев на часы, стал прощаться. Было полчаса первого. Почтительно и любовно поцеловав маленькую, но твердую, незаметно ускользающую руку девушки, Кенин, веселый и размечтавшийся, поехал домой. Медведь казался ему первым этапом в светлое будущее.

II

С часа ночи до пяти часов утра Кенин не спал, расхаживая по своей маленькой, холостой квартире и стараясь опередить воображением будущую охоту с ее милым ободряющим присутствием любимой женщины. Кенин курил папиросу за папиросой. Больше всего изумляло и радовало Кенина неожиданное решение

Братцевой ехать с ним. «Это может быть милый женский каприз… а может… ее начинает бессознательно тянуть ко мне». Он не знал еще, что женщин, подобных Братцевой, инстинктивно влечет большая мужская компания, где в силу собственной холодности они чувствуют себя свободно, повелительно.

Хотя Кенин никогда не только не стрелял по медведю, но даже не видел его свободным, в родной лесной обстановке, он все же достаточно читал и слышал об этом звере и даже видел на кинематографических экранах подлинные медвежьи охоты. Поэтому, пришпорив фантазию, Кенин ясно увидел лес, снег, медведя, выстрел и агонию зверя. Все это рисовал он себе так: белая, утренняя, морозная тишина, палец на спуске, сердцебиение, самообладание; вдруг раздвигаются кусты, и страшная голова с оскаленными зубами рычит в десяти шагах, громовой выстрел — только один; пуля пробивает череп зверя меж глаз, и снова все тихо, конвульсивно содрогающийся труп миши лежит, зарыв голову в снег, а Кенин, спокойно закурив папиросу, трубит в рожок некий фантастический сигнал: «Тру-ту-ту-туту-тру-у!», трубит весело, коротко и пронзительно; а дальше начинался апофеоз, в

котором сияющее, морозно-румяное лицо Братцевой играло главную роль.

Усталый и накурившийся до одурения, Кенин наконец лег спать, предварительно полюбовавшись еще раз солидным американским штуцером-магазинкой, взятым у знакомого, и прицелившись раз пятнадцать в безответную ножку стула.

На другой день, в вагоне, бок о бок с Марией Ивановной, в кругу усатых, красноносых, неуловимо бахвальных лиц (выехали исключительно, кроме Кенина с Братцевой, пьяницы и охотники), Кенин почувствовал себя очень бывалым, почти американским стрелком и не уступал другим в детски хвастливых рассказах. Он, правда, мог говорить только о болотной и мелкой лесной дичи, но говорил так самолюбиво и много, что его наконец стали бесцеремонно перебивать. Часто он обращался к Братцевой, стараясь, не обращая внимания других, ввернуть тонкий интимный намек вроде: «А я все думаю»… «Мое настроение зависит от будущего»… «Мне весело, потому что»… — пауза, долгий, влажно-бараний взгляд, улыбка и заключение: «Потому что я вообще люблю… ездить».

Он не замечал, как спутники, взглядывая на

него, подталкивают друг друга коленками и локтями, но Братцева была наблюдательнее. Взяв тон мило напросившейся, но поэтому и осторожно скромной в дальнейшем, хотя ревниво чувствительной к собственному достоинству особы, она спустя недолгое время стала центром и возбудителем общего внимания. Две бутылки коньяку, взятые на дорогу, совсем подняли настроение, а когда в сумерках не освещенного еще вагона хриплый баритон купца Кикина заявил: «А вот этого медведя, братцы, Марью Ивановну, заполевать куда бы почтеннее!» — девушка раскатисто засмеялась. Кенин посмотрел на нее ревниво и грустно.

III

Утром другого дня, проснувшись в жарко натопленной, большой, закиданной окурками и пробками комнате, Кенин смутно припомнил гул вчерашней попойки. Гости бушевали и пели, но удержались чудом в едва не лопнувшей рамке приличия. Мария Ивановна все время пересаживалась подальше от Кенина, громко бормотавшего пьяную любовную чепуху. Она одинаково ровной, задорной и разговорчивой

сумела быть решительно со всеми, не исключая лысого, пузатого Старкуна, умильно целовавшего гостей в щеки и носы и щедро проливавшего водку по тарелкам и пиджакам. Кенин бешено ревновал Братцеву, посылая ей многозначительные, мрачные взгляды.

Кенин проснулся сам; было еще темно, но егерь Михаиле, человек строгой наружности, со свечой в руке командующим голосом будил остальных:

— Зря спите, господа; вставать надо, выезжать надо!

Через час собрались в столовой; завтрак на скорую руку — рюмка-другая на похмелье, синеющие, а затем голубеющие окна рассвета, стук ружей, щелканье осматриваемых курков — все это показалось Кенину живописным и необычным. К влюбленности его примешивалось сладкое ожидание опасности и успеха. В свете лунного зимнего утра спустилась вниз и Марья Ивановна; яркое, свежее лицо ее весело осматривало пустыми глазами компанию и обстановку.

— Ура, царица охоты, Марья Ивановна! — закричал Кенин, когда Братцева сказала, что она тоже поедет, ссылаясь на скуку ожидания в усадьбе. Кенин сказал: — Благословите, Марья Ивановна. За вашим медведем отправляется раб

ваш в страшные дебри Амазонки.

— Ну, смотрите же! — Она так мило подставила ему руку для поцелуя, что Кенин растаял и шепнул:

— За что мучаете? — Но Братцева, как бы не слышав, ушла одеваться.

IV

Кенину на жеребьевке выпал хороший «номер». Он стал на дальнем краю небольшой круглой поляны с двумя идущими влево и вправо от нее глубокими просветами. В такое широкое поле зрения медведь мог попасть весьма удачно для выстрела. Кенин осматривался, хотел закурить, но вспомнил, что это запрещено, и стал ждать. Сердце его билось с приличной быстротой, какая хотя и не говорит о трусости, но указывает все же на нервное томление и тревогу. Всюду, куда хватал взгляд, — царил снег. Белые пушистые лапы елей гнулись к земле, загромождая ясный, как вымытое стекло, воздух пышными узорами белизны; розовые и голубые искры дрожали в нем; снег внизу, теневой, казался прозрачно-синим, а солнечный — серебряной парчой с золотыми блестками. Анемично-бледное, ясное, холодное

небо покрывало лес.

Впереди Кенина сердито и звонко лаяли невидимые собаки, припадая к берлоге. Кенин думал о медведе и Братцевой: «А если медведь загрызет меня, я больше не увижу ее». И он вспомнил, как ехал сегодня с ней в санях по лесной дороге и какой неотразимо желанной была она в своих белых — шапочке, кавказском башлыке и толстых, смешных валенках. Потом представился ему тяжелый сон зверя в темной берлоге, налитые кровью глаза собак, их вздыбившаяся, наэлектризованная яростным нетерпением шерсть… Лай собак стал еще хриплее, азартнее и громче. Кенин, не отрываясь, щупал глазами снежную полянку с ее боковыми просветами, как вдруг на противоположном ее конце из заросли можжевельника взлетел клуб снежной сухой пыли, и неуклюжее, темное, лохматое туловище, от которого шел пар, как от горячего теста, ворча и сопя, кинулось к месту, где стоял Кенин. Четыре сибирских лайки с налету рвали ноги и бока зверя. Медведь, проворно кружась волчком, старался расшибить лапой собак, но, промахиваясь, несся дальше. Кенин, стискивая дрожащими руками ружье, целился в медведя вообще — все охотничьи наставления о прицеле под лопатку, в

лопатку, затылок и лоб разом, дружно покинули его память. Медведь был шагах в тридцати от Кенина, он выстрелил и спешно повернул рычаг штуцера.

Почти одновременно с гулким толчком выстрела медведь сунулся головой в снег; передняя половина его тела так и осталась неподвижной, в то время как зад и задние лапы, оседая, конвульсивно тряслись. Собаки отскочили, припали к снегу и бросились на врага снова.

— Ура-а! — неистово, дико закричал Кенин, понимая сквозь экстаз и трепет удачи, что с этого момента герой дня — он, Кенин. Спотыкаясь, побежал он к медведю, крича на рвущих зверя собак: «Кшшш! Пошли вон!»... — словно гнал мух. У ног его, продавив наст, лежала спиной вверх бурая туша; некоторое время Кенин ничего не видел и не понимал, кроме медведя.

Собравшиеся на выстрел и крик охотники шумной кучей окружили Кенина: «Везет новичкам». «Как раз в сердце попадено». «Нелепый выстрел». «Лепый — нелепый, а наша взяла», — слышал он как во сне, но через несколько минут волнение улеглось, и Кенин увидел торжествующее, веселое лицо Братцевой. Она тоже пришла на выстрел и крики из оставленных неподалеку

саней, где соскучилась ждать.

— Мой Миша? — спросила она.

— Ваш, — сказал Кенин, все еще чуть не плача от радости.

— Какой большой. — Она присела, сняла перчатку и стала гладить теплый, как бы еще живой мех. Багровая густая кровь попала на ее пальцы; слегка гримасничая, Братцева спокойно вытерла руку о шерсть медведя и выпрямилась.

— Продайте медведя, барышня! — молитвенно возопил Кикин. — Сто рублей сейчас выложу!

Она посмотрела на него и что-то сообразила…

— Мало, — крикнула Братцева, — тут четыре окорока, господин купец, да шкура, да жир!

— Что вы, Марья Ивановна, — хихикая, суетился Кикин, — медведь худой, паршивый! Это уж я для вас сто даю.

Кенин изумленно смотрел на Братцеву. Она искренне деловито горячилась, доказывая, что медведь стоит двести, словно всю жизнь торговала медведями. Голос ее стал пронзительным и лукавым.

Сошлись на ста семидесяти пяти, и Кикин тут же отсчитал деньги; девушка, аккуратно свернув их, сунула за воротник платья; брови ее были при этом задумчиво сдвинуты, а губы плотно сжаты.

«Как говорится, охулки на руку ты не положишь!» — с неприязнью подумал Кенин. Ему казалось, что он стал смешон в глазах всех, так как его подарок продавался тут же, при нем. Кенин грустно посмотрел на медведя. Большой, смелый, умный и ловкий зверь погиб от (и действительно!) шальной пули, ради семи четвертных, выторгованных хитрой, практической и холодной особой женского пола.

«Прости нас, — мысленно сказал Кенин медведю, вспомнив читанное где-то обращение дикарей к убитому зверю, — за то, что мы убили тебя!» И он вспомнил еще маленькие, справедливо-злые глаза царя русских лесов, когда он, отбиваясь от собак, бежал к смерти.

— Зачем вы сделали это? — спросил Кенин Братцеву, когда они возвращались к саням.

— Но это же предрассудок, Кенин! — возразила она. — Не все ли равно — лежит ваш подарок у меня в кармане или под ногами — ковром?

— Так-то так… — холодно сказал Кенин. Чувствуя, что эта девушка уже далекая и чужая ему, он в последний раз посмотрел на нее сбоку взглядом мужчины, и… сильное, голое, страстное желание вдруг отозвалось в его груди сильным, томным сердцебиением. Но и тени влюблен-

ности не было уже в этой последней вспышке. Рассерженный и смущенный, Кенин нагнулся, схватил горсть снега и сунул его за ворот полушубка. Колючие, ледяные струйки потекли по спине. Вскоре показалась лесная дорога, возки и лошади.

— Вот теперь хорошо выпить, господа медвежатники! — крикнул, возясь около кулька, Старкун, и Кенин весело, всем сердцем, освобожденным от случайной любви, согласился с ним.

Юрий Казаков. Северный дневник

1

Пишу в носовом кубрике при свете ламп и зеленоватых потолочных иллюминаторов. Мы выходим сейчас из устья реки Мезени в море. В этой узкой горловине небольшие морские покатые волны сжимаются, дробятся, шлепают по скулам нашего сейнера, и кубрик заметно потряхивает…

Этот рейс у сейнера как бы ненастоящий: вместо рыбы и грузов везут только нас, везут из Мезени в Койду — большое поморское село, за сто десять километров. Сейнер только что разгрузился в Мезени, почти половина команды поэтому осталась на берегу, осталась и повариха, прибрать некому, да и не хочется, по-видимому, не то настроение — хочется поговорить, выпить, поспорить, показать и объяснить нам как можно больше.

Хорошо писать под разговоры, под гомон быстрой северной речи, в табачном дыму, в запахе рыбы, острого рассола… Можно слушать и не слушать, можно бросить недописанную фразу на полдороге, чтобы прислушаться к другой, можно захлопнуть тетрадь, выпить водки и самому

взяться за горячий спор, почему банка Окдена называется банкой Окдена…

Когда-то в детстве знал я одного человека странной, темной тогда для меня судьбы. Был он сух, костист и как-то пронзительно, часто до неприятности даже, остер, стремителен. Черные глаза его во хмелю горели фанатическим огнем человека, потрясаемого дивными воспоминаниями. И ничего не помню из его слов, помню только, что не давал он никому слова молвить, кричал, стучал маленьким костистым кулачком и открыто презирал всех. А презирал потому, что прошел и проехал когда-то от Пинеги до Мезени.

«От Пинеги до Мезени! — говорил он шепотом, зажмуривался и крепко стукал кулачком. — А? Эх ты!.. Понимаешь ты это? От Пинеги до Мезени прошел я весь Север!»

С тех пор эти два места казались мне мифически удаленными от всего нашего, человеческого. Разные другие места, города и деревни были как-то понятны мне, они были где-то рядом со мной, но вот Мезень… Даже позже, когда я учился в школе и мог в подробности рассмотреть на карте эти места, они все равно представлялись мне недостижимыми.

И вот несколько дней назад на пароходе

«Юшар» мы пришли в Мезень, и ходу было всего два дня от Архангельска…

Весь июль стояла на Севере противоестественная жара. В Двине купались ночью. В Нарьян-Маре ненцы заболевали от жары. Где-то на огромных массивах за Полярным кругом горели леса и тундра. Солнце, едва склонившись за горизонт, тотчас восходило с обновленной страстью. И весь день потом заливало робкую землю нестерпимым светом.

В один из таких ослепительных полдней пароход «Юшар» — старый, узкий, домашний — отвалил от пристани в Архангельске и пошел вниз по Двине, к Белому морю. Все в этой нашей поездке было знойным, ленивым, южным. Белое море было прозрачно и спокойно, как спокойны бывают вечерами наши деревенские прудки. Пароход вспарывал, раскидывал на стороны белоснежные хлопья воды. Перед нами и вокруг нас было два неба — вверху и внизу, и трудно было найти линию горизонта…

Время шло, вот исполнилось восемь, вот десять, вот одиннадцать… А небо все так же сияло, и море сияло, и становилось еще продолжительней, дальше и ниже, а мы — на высоком носу, раскидывавшем ледяные хлопья пены, как бы все

повышались, повышались и вроде летели уже — туда, где за горизонтом стояло невидимое нам, но видимое небу, и морю, и спящим птицам солнце.

А справа от нас то уходил за горизонт, то приближался, восставал мрачный пустынный берег с ниспадающими в море тяжелыми каменными вертикальными складками. И от воды дышало иногда таким глубинным, таким тысячелетним холодом, что сразу на память приходили готовые, «законвертованные» речные суда, баржи — десятки, сотни, которые должны идти через Ледовитый океан в Обь и Енисей и которые стояли на рейде в Архангельске, потому что лед в океане еще не разошелся. Север, Север!..

Так встретило нас Белое море, Полярный круг, остров Моржовец, в виду которого простояли мы чуть не полсуток, дожидаясь прилива, чтобы идти в Мезень с приливной водой. А ночная Мезень встретила нас футбольным матчем…

А едва «Юшар» бросил якорь против Каменки, от пристани отвалил и полным ходом пошел к нам буксирный катер. Он причалил с левого борта, в него сразу стали прыгать моряки с чемоданчиками…

А еще через два дня мы поднимаемся на борт сейнера «Белужье», который должен доставить

нас в Койду. И едва всходим мы на сейнер, как нас охватывает устойчивый, свежий, сильный запах рыбы. Царство леса, в котором мы были до сих пор, кончилось, мы вступаем в царство рыбы и моря…

Начинается внезапный крупный и короткий дождь, закуска засовывается под брезент, покрытый рыбьей чешуей, мы прячемся в рубку, и настроение еще лучше: дождь перед выходом в море — добрая примета. Сразу все исчезает, закрывается, зачеркивается сплошными нитями воды, смутно виден только нос впереди, мокрые черные мачты, снасти, видна залитая палуба со вскакивающими и лопающимися пузырями.

Дождь проходит, уволакивается в сторону Мезени, берега реки раздвигаются, по носу начинаются короткие частые шлепки, мы снова на палубе, закуска опять на трюме, еще блестящем от сырости, и палуба чиста. Чисты, блестят все снасти, а ветер свежеет, ветер говорит, напоминает нам о неотступном Севере — зной, марево, дымка от пожарищ остались на берегу. Море по цвету такое же, как все моря в мире, только еще нежней, еще слабей, и оно здесь всегда прохладно, потому что тут проходит Полярный круг, потому что тут вместилище всего свирепого и ледяного.

Мы сопротивляемся Северу, но недолго… Через час мы уже надеваем рубахи и пожимаемся от ветра, а потом и вовсе бежим в душный, тесный, но теплый кубрик…

Капитана звать Георгием Артемьевичем Поташевым. Плавает он с четырнадцати лет, а теперь ему тридцать один. Семнадцать лет на море, семнадцать лет чувствовать под ногами проседающую палубу — немалый срок! Образование у капитана небольшое — семь классов, затем архангельская мореходная школа юнг, потом мореходный учебно-курсовой комбинат по повышению квалификации…

Свой сейнер Поташев называет МРТ, то есть малым рыболовным траулером. На сейнере этом и в самом деле есть траловое приспособление. Водоизмещение сейнера двести тонн, двигатель стопятидесятисильный. Команда состоит из восьми человек: капитан и помощник, первый и второй механики, боцман, радист, матрос и кок. Капитан тут же добавляет, что по штату на его МРТ положено одиннадцать человек, а их всего восемь, с работой они справляются хорошо, и, следовательно, с этой стороны они коллектив ударный.

С мая почти до половины июля «Белужье»

промышляет у Канина Носа, ловит акул на ярус. Ярус — длинный прочный канат, который выметывается в воду и устанавливается на буях. К основному канату прикреплено несколько сот коротких поводков с большими крюками. Крюки наживляются тюленьим салом.

В позапрошлом году старик хозяин рассказывал мне в Нижней Золотице о том, как промышлял он на Мурмане в тридцатых годах. Поморы выходили в океан за тридцать верст в шняке — иначе «ела»[31] — и выкидывали ярус на треску до девяти верст длиной. Выкидывали и ждали «воду», то есть от прилива до отлива или, наоборот, от отлива до прилива. За один раз вылавливали до двухсот пудов трески. Народу при таком способе ловли гибло много, так как погода на Мурмане неустойчива, часто налетают шторма, шняк же открытый, без палубы, легко заливался. Иногда, по словам старика, после шторма на берег выносило до сорока рукавиц с одной руки, то есть до сорока жертв. Утонувших считали по рукавицам…

Помимо ловли акул, «Белужье» выходит еще в Баренцево море на лов трески тралом. База его в

---

[31] Примечания: 31
Норвежское. *–Прим. автора.*

Мезени, но когда ловят в Баренцевом море, рыбу сдают в Мурманск…

Наверху свежий, прохладный ветер по-прежнему, но волны совсем нет, зато нет и того зеркального спокойствия, в котором мы шли из Архангельска на «Юшаре».

Мы еще бродим некоторое время по палубе, но первое оживление спало, смотреть не на что, кругом море, вода, солнце высоко, небо светлое, ровное, горизонт чист, изредка покажется далекая точка лесовоза или тральщика…

Я пытаюсь представить себе жизнь моряка, для которого такой вот легкий приятный рейс, относительная свобода и отдых — редкость. Я думаю, что такие ясные, чистые небеса и море, обилие света, ночное солнце — только три месяца в году. А в остальное время ночи, как и у нас, черные и даже более черные, более холодные и ветреные.

Белое море мелко. Я видел штурманскую карту этих мест: обычная глубина двадцать пять — сорок метров, не больше, чем глубина Северной Двины в устье. Видел я и шторма здешние — свирепые, но мелководные. Мне говорили, что в Атлантике, в Ледовитом океане волна гораздо выше, огромнее и круглее. И может быть, океанскому лайнеру здешний шторм нипочем…

Но ведь здешние моряки не ходят на океанских лайнерах! Они работают на крохотных суденышках — на шхунах, мотоботах, сейнерах, на малых рыболовных траулерах. Как же бьет море эти суденышки и какими мужественными должны быть все эти люди!..

Я вспоминаю шторм, который разразился у этих берегов, когда я два года назад жил на тоне возле Вепревского маяка. Был конец сентября, дни стояли тягостно спокойные, прозрачные, берег был красен и лилов от осеннего леса, от обилия брусники. Тихая штилевая погода была тем более невероятна и непонятна, что давно наступила пора штормов. Шторма должны были быть, но их не было. Каждый вечер вызванивала внизу по песку и камням шелковая волна, каждый вечер солнце садилось в море, а не в тучи, и было при этом клюквенного цвета, потом высыпали звезды, ветер был горний, слабый и теплый. Но рыбаки беспокоились и на ночь обязательно вырывали тайники.

И вот в полночь однажды заполыхало молчаливое северное сияние, в полночь грянуло с неба обилие фантастического света, все засветилось, озарилось красным, лимонным и зеленым огнем.

— К шторму! — в один голос сказали рыбаки. И в ту же ночь пал шторм.

Ночь наполнилась ревом и воем. Телефонные провода визжали. Свет маяка был страшен. Избушка наша вздрагивала: казалось, кто-то злобный и сильный беспрерывно тряс ее снаружи. Вот выписки из моего тогдашнего дневника, привожу их без изменения:

«Днем. Снова ходил по берегу. Накат страшный, мутно-бело-желтый. На песке кучами лежит пена. Она дрожит от ветра, похожа на желе, на воздушный желтоватый крем.

Ветром от нее отрывает комки, с молниеносной быстротой катит по песку.

Песчаный берег от наката стал горбатым. Волна, разбившись внизу, медленно всползает на горб, переваливает его и растекается большими лужами. В лужах отражается свет от зеленоголубой полосы над горизонтом под мутными тучами, они одни ярки, стеклянно чисты и гладки на всем темном. В море свет не отражается, оно грязно-лохматое.

Очень скучно. Рыбаки плетут сети. Настроение у них плохое, поминутно ругаются матом. Под окном на земле, прижатый бревнами, лежит черный просмоленный перемет, и, когда боковым

зрением замечаешь, как он шевелится, бьется от ветра, кажется — это тень, чья-то нервная тень.

Под вечер. Ветер усилился необычайно. Шторм двенадцать баллов. Трудно выйти за дверь. Провода уже не стонут, не звенят, а визжат, все повышая тон, и неизвестно, где он оборвется, хватает за душу.

С маяка днем еще заметили оторвавшийся от буксира лихтер. Буксир ничем не мог помочь и ушел. Лихтер выбросил оба якоря, чтобы его не снесло на кошки. Но и с двумя якорями его проволокло уже несколько миль.

Море в бинокль ужасно, даже на горизонте видны беспрестанно встающие горбы. И по-прежнему чист, но уже смугло ал горизонт — неширокая полоса под синевато-коричневым, в тучах, небом. По этому смуглому, розовому поднимаются в необыкновенной дали из-за горизонта холодные пепельные облака фантастических грозных очертаний.

Избу продувает, и мы беспрерывно топим печку. Быстро темнеет. Сегодня буду спать на верхних нарах, под потолком.

Я не писал еще о маяке. Маяк здесь с проблесковым огнем. Вращающаяся установка с чередующимся зеленым и красным огнем. Лучи света

захватывают и часть берега, так как сектор маяка градусов двести пятнадцать — двести двадцать. Принято считать, да я и сам видел, что на море свет маяка успокаивает, придает бодрости и т. д. — значит, кто-то помнит о тебе, посылая во тьму свет. Это, так сказать, моральное его действие, помимо чисто технического, навигационного.

Здесь же, на берегу, совсем не то ощущение. Когда видишь мертвый зеленый свет, лучом бегущий по лесистым угорьям, когда видишь вырастающие на секунду из тьмы мертвые, неестественные, как при свете беззвучной молнии, деревья и потом, когда луч, глянув и тебе в глаза, перескакивает на море и, как меч, бежит по волнам, по водяной пыли, — делается неприятно, неуютно, жутко. Хочется скорей в избу. И тут же, вслед за зеленым, в глаза тебе заглядывает на мгновение сияющее красное око — луч его еще призрачнее, еще невещественнее. И так всю ночь кругами ходят немые лучи и по очереди устремляются в бушующее море…»

Взволнованный воспоминаниями, я поднимаюсь в рубку, чтобы спросить, как переносит шторм этот сейнер.

— О! — говорят мне оживленно. — Волны выше рубки идут!

— Неужели выше? — сомневаюсь я.

— Выше, выше! А после шторма палуба гола, волна не шутит, волна что ни есть на палубе — все смоет, как ни крепи. Считай, одни снасти и остаются.

— Ну, а подолгу ли длятся шторма?

— А когда как. Смотря по тому, какой ветер. Ветер худой, шалоник, норд-вест то есть, так долго — неделю или помене. Ну а горний ветер, южный значит, тот полегче, тот поприятней будет…

Миновав банку Окдена, Воронов маяк, мы бросаем якорь против Койды, далеко в море…

Но зайти в Койду — значит задержаться там до следующего прилива, то есть до утра, тогда как капитан имеет твердый приказ, который нам и показывает: «Взять корреспондентов, с отливом выйти в море, доставить корреспондентов в Койду и с той же водой вернуться»…

Только мы так решили, как показываются одновременно две доры. Одна сверху, то есть от реки, другая снизу — со стороны моря. Та, которая идет со стороны моря, оказывается ближе к нам, но подвигается почему-то быстрее вторая. Мы все стоим на палубе, смотрим на ту и другую, передавая из рук в руки бинокль, и гадаем, почему та, которая мористее, подвигается медленнее.

— А она плот буксирует, лес в колхоз тянет, — спокойно замечает лоцман. Он теперь в зимней шапке, потрезвевший, молчаливый и даже вялый какой-то.

Опять смотрим в бинокль.

— Не лес, а карбас сзади чем-то груженный сильно! — поправляют лоцмана. Тот равнодушно закуривает.

Между тем вторая дора с зеленой будкой быстро приближается, подходит к нам с левого борта, но ей машут руками, чтобы обошла: на левом борту лежит шлюпка, неловко будет спускаться. Дора обходит с кормы и стукается о правый борт.

Боцман Миша, будто не он только что страстно хотел попасть в Койду на сейнере, суетится, собирает всю команду, выстраивает на палубе, мы снимаем моряков на кинопленку, прощаемся, прыгаем в дору.

Отвалив, разворачиваемся, машем шляпами, руками, платками, нам отвечают… Сейнер, к которому мы попривыкли и который казался нам уже порядочным судном, едва мы отошли, сразу тушуется, превращается в маленькое суденышко, так что даже удивительно, как на таком можно бороздить моря и выходить в Атлантику…

Пока мы прощались, пока пересаживались в

дору, другая, та, что шла с моря, обогнала нас и теперь поплевывает дымком и паром впереди. Лоцман был прав: на буксире у нее два плота, поэтому она так медленно идет…

Потом мы обходим их, вырываемся вперед, успокаиваемся, усаживаемся поудобнее, пониже, хоронясь за бортом от холодного ветерка.

Солнце садится. Садится оно медленно и все краснеет, краснеет… Оно окружено облаками, которые багровы, прозрачны, с огненными краями и напоминают вздыбившиеся волосы рыжей женщины. По мере того как садится солнце, море темнеет, становится ультрамариновым, почти черным. Мрачный голый берег тянется справа от нас, вытягивая сзади черные мысы все дальше в море, все ближе подбираясь к низкому шару солнца, — мы входим в залив, в устье реки Койды.

Время десять, потом четверть одиннадцатого, потом половина, потом без двадцати… Солнце, кажется, остановилось, а берег за нами крадется все дальше в море, вот-вот закроет солнце, и нам хочется, чтобы оно скорее село. Но оно все не садится, и берег наконец закрывает его, и мы видим теперь только черную плоскую полосу берега под зеленовато-алым небом и облака — внизу огневые, ярко-красные, выше — желтей и совсем

высокие серебристые облачка, которые будут так стоять всю ночь, не теряя своего белого цвета.

Смотрю вперед и вижу, что противоположный правый берег бухты приблизился, красно освещен и так же ровен, плосок, как и задний, — вода мутнеет, мы входим в реку.

Еще полчаса ходу, и вот показывается то, что мигом выводит нас из оцепенения. Показываются первые сизые постройки, высокие амбары на берегу, очень редкие, одинокие, со съездами, по которым можно вкатывать бочки и даже въезжать на телеге на второй этаж. Возле амбаров стоят свежеотесанные желтоватые колья от ставных неводов. Колья высокие, метра три с половиной, составлены в пирамиды и напоминают издали индейские вигвамы.

Дома, избы серые и черные от времени, с белыми наличниками окон в два этажа, все чаще. На отмелом берегу видны уже следы людей и коров, уже чернеют первые вытащенные на берег карбасы, а впереди видна церковь без креста, частота построек, деревянные тротуары, изгороди, перечеркивающие все это зеленое и серое, глухие длинные бревенчатые стены складов и домов, виден причал, бот возле причала, доры, моторки на якорях — все повернутые носом против течения.

А на берегу дикий, громадный, неожиданный здесь крест — покосившийся, поддерживаемый только проволокой, натянутой от земли к телефонному столбу…

Мы в Койде.

2

Избы в Койде стоят, как корабли на покое. Все они повернуты окнами на юг, на лето, все длинны и высоки, с глухими стенами по бокам, с полукруглыми воротами сзади наверху, с бревенчатыми подъемами, которые называют здесь съездами.

В этих домах пахнет прошлым веком — старым деревом, старой одеждой, многолетней пылью… Почти все они выстроены семьдесят — сто лет назад, некоторые еще древнее, но все стоят, и крепко, и сносу им нет.

В домах пахнет еще морем: рыбой, сухими водорослями, старыми сетями, сапогами, сшитыми из тюленьей кожи.

Убранство большинства домов старинное: широкие деревянные кровати, шкафы, сделанные прадедом или привезенные из Норвегии, такие же старые стулья и лавки, древние медные рукомойники, древние фаянсовые тарелки, покрытые густой сетью трещин.

Но есть и новый стиль: обилие вышивок, никелированные кровати с горкой подушек, диваны, зеркала на стенах, комоды, крашеные полы в

половиках, приемники и открытки, приколотые где только возможно.

В этой деревне вот уже лет триста или четыреста живут поморы «койдена», как они сами себя называют. И жизнь каждого из них столь же сложна, наполнена трудом, разнообразными занятиями, мыслями и чувствами, как вообще жизнь любого человека на земле. Жизнь этих людей поэтична в самом изначальном значении этого слова…

Три года назад тоже на Белом море — только на Летнем берегу — жил я на тоне у рыбаков. Раз в два или три дня на солнечной светлоте берега, на грани воды и земли, появлялась одинокая фигурка женщины. Приближалась она медленно. Следы этой женщины, если посмотреть потом, были частыми и усталыми. Она волочила ноги и ступала нетвердо. Следы скоро заравнивало водой, а старуха молча, хмуро, отдав почту рыбакам, уходила дальше и скоро скрывалась за голубым крутым мысом. Ходила она из Лопшеньги в Летний Наволок. Расстояние между этими деревнями было тридцать пять километров.

Жизнь человека полна подвигов, и это слово очень полюбилось нашим литераторам. Но странно, я никогда не слыхал его от людей, творящих

эти самые подвиги. Они никогда не рассказывали как о подвиге о своей трудной работе, полной иногда смертельных опасностей…

Туман… Он волнами идет с моря, и где лето, где тепло, куда девалась июльская истома? Будто кто-то там, на Севере, наклонил слегка исполинскую чашу с холодом, и холод полился, потек по островам, по морю, по тундре…

Из клуба расходятся люди. Они разговаривают, перекликаются негромко, и голоса их, усиленные полночной тишиной, отдаются от деревянных стен. Лошади со звонким топотом табунками бегают по мосткам — рыжие лошади, которые всю ночь пасутся по деревне, скубут траву, трутся о потрескивающие изгороди…

Отлив. Река ушла, обнажив широкие отмели и острова из желтого песка. Мотобот у причала лежит на боку на суше. Карбасы и моторки, стоявшие в прилив на якорях, теперь все лежат на дне.

Реки здесь странные. Шесть часов они текут в море. Следующие шесть часов под напором прилива вода идет вспять. Приливы здесь высокие, до четырех метров в полнолуние, и приливная вода заходит в реку на десятки километров. Вода в реке в это время соленая…

3

Колхоз держит коров своих на отгонном пастбище, километрах в пятидесяти вверх по реке. Мы собрались поехать туда, и вот часов около двенадцати ночи приходит к нам председатель Воронухин, одетый по-дорожному, в телогрейке и сапогах, приходит сказать, что моторка уже готова, вода поднимается и надо трогаться…

Берега ровные, далекие, плоские, без единого деревца. Моторка по течению, идущему с моря, бежит шибко, переходя по фарватеру от одного берега к другому, выплескивая на песчаные отмели позади постоянный жгут ходовой волны. Река скоро сужается, берега повышаются, делаются обрывистыми, начинают обрастать кустами и карликовыми березами.

Ночь облачна и поэтому пасмурна, без блеска, без яркости. Вчера весь вечер нагоняло с моря туман, туман разошелся, а облака пришли прочно, обложили небо, раза два принимался накрапывать дождь, но так и не раззадорился.

Чайки спят на песке под обрывами. Треск моторки будит их. Сквозь сон они слышат что-то мешающее им, и это что-то все близится, бли-

зится, и вот уж невыносимо больше спать, надо открывать глаза. Они открывают, видят рядом моторку, неподвижных в ней людей, разнимают крылья и неохотно летят в сторону моря, где тихо…

В лодке пахнет горючим, ящиками, брезентом, и мне вспоминается Архангельск, каким он предстал нам, каким уже отошел от нас, потонув в знойных ослепительно дымных миражах.

Каждый город многолик, точно так же и Архангельск, и каким ни назови его — задумчивым, молчаливым, странным, светлым, деревянным, — все будет не так, неточно.

В Архангельске я бывал не один раз, летом и осенью, при всякой погоде, и каждый раз показывался он мне своей новой, незнакомой стороной, хоть каждый раз видел я его мельком, стремясь куда-то вдаль, в свои палестины, которые, как я думал, открыть предназначено было мне.

Архангельск в ту пору представлялся мне воротами, началом великих и загадочных дорог, ведущих Бог знает куда. Будто именно в Архангельске проходила та вещая черта, которая отделяла все знакомое, испытанное от необычайного, известного нам, людям средней России, только по былинам, по сказам. И каждый раз в

Архангельске испытывал я глухое мощное и постоянное волнение при мысли об обилии дорог, открывавшихся передо мною.

В номере гостиницы слышал я днем и ночью пароходные гудки и рокот моторов на аэродроме на той стороне Двины, видел над крышами домов верхушки мачт лесовозов, шхун, пассажирских пароходов, траулеров… Я смотрел на карту Архангельской области, и названия островов, рек, сел, становищ завораживали меня — куда поехать?

Можно поехать в Кую или в Зимнюю Золотицу. Или в Лопшеньгу. В Пушлахту, на остров Жижгин или на Соловецкие острова. Или, может быть, в Кандалакшу? А дальше к северу названия становились еще заманчивей: остров Моржовец, Мегра, Чижа, Шойна, Канин Нос, Чешская губа и мыс Святой Нос, остров Колгуев, Топседа и острова Гуляевские Кошки!..

Так каждый раз приходил ко мне Архангельск на короткий миг морским причалом, бортом парохода, громом лебедок, зевами трюмов, прощальной суетой на палубе, прощальным же долгим гудком…

Белая ночь перешла в рассвет. Может быть, и солнце встало, но его не видно за тучами.

Очень тихо, только росистая трава хрустит под

нашими сапогами и кедами. Мы все сразу закуриваем, прохаживаемся среди розового иван-чая, который нам по пояс. Река неподвижна, моторка приткнулась к берегу. И берега неподвижны. Так редко это видишь — этот рассветный час в лесу, на реке.

Вот пролетели кулики над рекой. Вот сделали два круга над нами утки, и был слышен звук от их крыльев. Как они ловят здесь границу ночи и дня?

Вон стоит избушка — пустая. Здесь, говорят, жил рыбак, ловил хариусов в реке. И я думаю уже, как он на рассвете в такой тишине по росе шел вниз с удочками. И постукивал в лодке, перекладывая удочки и весла, и как тихо ехал потом на перекат, как тихо опускал в воду якорь и налаживал потом свои удочки. А небо разгоралось, и хариусы начинали брать. И он вытаскивал их одного за другим, и они, побившись, засыпали у него в лодке.

А потом он возвращался и топил печь. Дым шел из трубы, вон из той самой трубы, и если ветерок нажимал сверху, то дым сваливался с крыши и уходил в лес. В лесу тогда далеко пахло березовым дымом, и это нюхал лось где-нибудь у себя в чаще…

Последние взгляды кругом, последнее наслаждение тишиной, и мы опять в лодке, опять трещит мотор, окружающее сразу испуганно уходит от нас, и можно снова вспоминать Архангельск.

На рыбокомбинате нам не повезло. Разгрузка рыбы кончилась, рыба прошла обработку, была вымыта, засолена, забита в бочки, укачена на склад…

И опять нам открыта Двина, вернее, кусок ее, нечто вроде затона, набитого траулерами. Черные, бокастые, со вздернутыми тупыми носами и круглыми кормами, они стоят так тесно, так родственно-крепко прижавшись друг к другу, что мачты и снасти их переплелись в нечто туманное, заштрихованное, и кажется, что по всем этим траулерам можно ходить, перешагивая с одного на другой…

Об Архангельске можно писать бесконечно. Он разнообразен и контрастен. Он стар, но по существу строиться начинает только сейчас. Есть города, для которых все в прошлом. У Архангельска — все в будущем.

Много ли веку у дерева? Деревянный дом стоит пятьдесят — сто лет. Потом на его месте строят новый, и этот новый часто совсем не похож на

старый. Я видел снимки Архангельска середины прошлого века, с жадностью старался отыскать на них знакомые мне улицы, знакомые дома — и не мог.

Как понять душу города?

Можно свернуть с улицы Павлина Виноградова, пойти по любому переулку и через двести метров очутиться как бы в глубокой провинции и в прошлом веке. Деревянные тротуары, между досок лезет трава, возле ступенек крылец цветут одуванчики, заборы заваливаются внутрь или наружу. Дома — одноэтажные и двухэтажные, с высокими крышами, с наружными лестницами, напоминающими трапы; и в этих домах, в их фигурных башенках со шпилями, с петушками, в их антресолях, в маленьких окошечках есть что-то милое, давно забытое, чуть ли не голландское. А во дворах — трава, и колодцы, и старые ивы, и мостки, и сараи…

Можно сидеть в белую ночь на таком дворике под ивой за врытым в землю старым столом, пить чай из самовара, лениво брать из вазочки прозрачный мед, вздыхать, покуривать — и о внешней шумной жизни напоминать вам будут разве что гудки пароходов на реке да звук садящихся и взлетающих за Двиной самолетов.

Можно выйти поздним вечером к Двине у центра города, и тогда — о! тогда поражаешься сиреневому цвету огромной массы воды, обилию света, нисходящего на город с океана, с норд-веста, и всему северному горизонту, являющему собой широчайший световой экран, прорезанный кое-где только тугими завитками черного дыма из пароходных и заводских труб.

Это перед глазами. А за спиной — пространства площадей и скверов, фронтоны каменных громад с колоннами, здания почтамта, пароходства, театра — все как бы незавершенное, как бы остановившееся на минуту, — начало, истоки какого-то невиданного ансамбля, который когда-нибудь будет закончен, и тогда всем явится новая Северная Пальмира…

Но лучше всего смотреть на Архангельск днем со стороны Двины. Четыре часа ездили мы на катере по Двине — от Исакогорки до Соломбалы, четыре часа город шумел и двигался перед нами, поворачиваясь к нам самыми оживленными своими сторонами.

Мы увидели титанические шевеления портовых кранов у причалов Бакарицы, мы увидели океанские суда с красными ватерлиниями, стоявшие под погрузкой. Мы прошли мимо

Арктического причала, который громоздился грузами для всего побережья Белого моря и Ледовитого океана, для всех становищ, сел, факторий, радиостанций, маяков, зимовок и на котором было упаковано и готово в далекий путь все — от каких-нибудь пяти килограммов пороха для промыслового охотника в верховьях Енисея до тракторов и локомобилей.

Причальные стенки, затоны, доки, корабельные кладбища, склады, лесозаводы, огромные и прозрачные опорные мачты на берегах и опоры для строящегося железнодорожного моста через Двину, уходящие под воду на десятки метров и возносящиеся к небу, буксиры, в разные концы тянущие баржи, шхуны и мотоботы, выложенные камнем набережные и тундровые острова, судоремонтный завод и корабли возле него с кровавыми пятнами грунтовки на бортах, многочисленные рукава и речки, втекающие в Двину и разделяющие ее на дельту, наконец, десятки иностранных кораблей, высоких и низких, стройных и пузатых, современных и старых, скученных на якорях в Корабельном рукаве, напоминающих издали эскадру, флот, беспрерывный шум и стук погрузки или выкатки леса на берег, бесчисленные лесотаски, биржи сырья…

Таким предстал для нас Архангельск, и это было его главное, основное лицо, это была панорама города, который начинает жить и у которого все впереди…

4

Опять белая ночь без теней, без звуков — она мучительно непонятна, хотя и бродишь душой где-то на пороге тайны ее, и кажется, что вот-вот все поймешь, все откроешь и тогда спадет бремя с души.

Все спят на стане — кто в доме, кто в сенях под пологом. Перед сном долго возились, бегали из дома в сени ребята, мяли под пологом девушек, те, задыхаясь от смеха, тузили сопящих ребят, полог колебался: ребята крепились, но не выдерживали и гоготали: га-га-га!..

Первый раз мне вдруг в тягость стал этот беспрерывный матовый свет и страстно захотелось настоящей черной ночи. На улице тлели остатки костра, я вышел, подсел к фиолетовым углям, подбросил еловых лапок, чтобы пустить дымок на комаров, закурил и внезапно вспомнил свой приезд на Зимний берег в позапрошлом году.

Черный борт парохода со спущенным трапом казался в ту ночь огромным, как стена дома. Внизу была толчея карбасов, мотодор и катеров. Ветер холодный, но слабый, волна спокойная и медленная. Мы то проваливались в пучину, то

вздымались к самым иллюминаторам, горящим во тьме желтым светом.

Все было готово, тюки и ящики спущены, чемоданы свалены в нос, катер наш наполнился и первым отошел со стуком мотора во тьму. Берегов не было видно.

Мы шли, покачиваясь, осыпаясь иногда водяной пылью из-под скул катера, десять, и пятнадцать, и двадцать минут. Потом я спросил:

— Далеко ли до берега?

— Километра два, — помолчав, отозвались мне. Один раз мотор внезапно смолк, и пока моторист, поминутно дуя на руки, возился с ним, мы беззвучно качались под слабым светом луны, и ближайшие к нам волны слабо поблескивали своими гранями.

Мотор заработал, и мы опять пошли, с шипением разваливая волны, как вдруг море, и катер, и лица людей осветились мрачным гранатовым светом. Я поднял глаза — все небо охвачено было ужасным космическим светом. Только в зените зиял над нами черный провал, все остальное от горизонта до горизонта сияло, перекатывалось валами беспрестанно меняющихся цветов…

Мы качались в совершенной тишине, пароход был еле виден. За бортом от прикосновения к

катеру вспыхивали в глубине зелено-синие пятна величиной с блюдце и медленно отходили в сторону, вытягиваясь и постепенно потухая.

Наверху был уже настоящий пожар. Сияние превратилось в тысячи лучей, распухающих и утончающихся, с невероятной скоростью передвигающихся по небу, образующих грозный нимб вокруг черного провала в зените. Луну окружал зловещий ореол, свет звезд был красен и мутен.

Мотор опять начал стучать, и это как бы расколдовало нас, все начали двигаться, говорить.

— К холоду, к холоду, — то и дело повторяли в катере.

Через минут десять вошли мы в устье реки, обозначенное во тьме слабыми мигалками, сияние ослабло, но еще перекатывалось, меня пробирал озноб, и я почти видел, как из арктической черноты шел на нас густой холод.

Но вот морской запах, к котором я успел привыкнуть, сменился береговым. Запахло деревом, землей, сеном и деревней. По правому берегу начали показываться какие-то темные постройки. Потом впереди вырисовалось еще более темное скопление загадочных зданий, и мы подошли к причалу. В нос сразу крепко и остро ударил запах смолы от скучившихся карбасов, на причале

переступали, переговаривались люди, невидимые во тьме. Ударил по нам слабый красный свет электрического фонарика, раздались радостные приветствия, десятки рук потянулись к нам, стали принимать чемоданы, узлы, тюки, ящики, стали помогать выбираться на причал женщинам…

Вылез и я, осмотрелся, заметил сурово-высокую стену амбара на сваях, подступившего к самой воде, и еще какие-то дома с поветями, с крутыми бревенчатыми съездами…

Северного сияния больше не было, зато какие выступили звезды, какой дымный, огромный был Млечный Путь, какая белая луна, какая темнота и какие тени по земле, по мосткам от амбаров, от изгородей!

Первая ночь в незнакомой деревне… Так была богата она радостными предвкушениями и так черна, так черна!

5

...Небо заволочено тучами, река петляет, ветер дует то навстречу, то в корму, то с бортов. Снова на винт наматываются водоросли, мотор глушат, моторист засучивает рукав, лезет под корму очищать винт, а у председателя, который опять сидит на руле, появляется смущенная улыбка. Тишина обступает нас в эти короткие минуты, лодка беззвучно плавится по течению.

Ночь по цвету глухая, много облаков, и все серые, темные, низкие. Только кое-где на северо-западе и на севере в тучах разрывы. И в эти разрывы видны высочайшие облака, отделенные от нижних огромной голубой массой воздуха. Они озарены солнцем, которое стоит сейчас неглубоко за горизонтом. И уже в разрывах между теми облаками на неимоверной высоте сияет нежное голубовато-розовое небо.

Я смотрю на эти ослепительные пятна вдали и вверху, одни дающие свет земле и воде, и мне чудится в них что-то непорочно чистое, снежное, как бы Северный полюс, предел всего, что есть на земле, прозрачный солнечный чертог, что-то необыкновенно отдаленное от меня, от моих мыс-

лей и чувств, то, к чему мне надо идти всю жизнь и чего, может быть, так никогда и не достигнуть.

6

Мы уезжаем из Койды. День, как нарочно, отменно хорош, солнце светит в полную силу, с моря дует легкий ветер, идет прилив, река наливается, мутнеет и тужеет…

Опять плывут мимо, теперь уже в обратном порядке, избы, склады, колья для неводов, карбасы, кресты на кладбищенском бугре… Тянется по обеим сторонам низкий и ровный, будто срезанный сверху ножом, берег, все раздаваясь в стороны, открывая постепенно взгляду море.

Нам нужно пройти морем тридцать пять километров до Малой Кедовки, оттуда — берегом четыре километра до Большой Кедовки, где нас должна ждать машина. Приливы и отливы чередуются здесь каждые шесть часов, и вот во время отлива по песчаному берегу уходит машина с рыбоприемного пункта.

Погода установилась окончательно, ветер нам ходовой — веток, и помогает еще сильнейшее в этих местах отливное течение. В Мезенской губе вообще очень сильные приливы и отливы — до четырех метров. Рейсовые пароходы простаивают по многу часов возле острова Моржовец,

так как идти против течения в Мезень — значит сжечь лишних тонн тридцать угля.

Море гладко, на горизонте какой-то лесовоз, мотор наш мягко постукивает, поплевывает паром, капитан сидит в своей будочке, а мы устроились на спутанных канатах на носу, теснясь из-за маленького карбаса, который вытащили на борт перед отходом.

Часа через три мотор стих, капитан плюхнул в воду якорь, на крошечном карбасике нас свезли по очереди на берег, дора вновь застучала и пошла обратно, а мы остались одни на пустом влажном и ровном песке, обнаженном отливом.

Вода, бывшая там, где мы идем какой-нибудь час назад, заровняла, загладила все следы, и кажется — мы первые люди на этом диком берегу, пустынной полосой тянущемся в обе стороны. Одни чайки взлетают при нашем приближении, начинают кругами сопровождать нас, зловеще крича, скашивая на нас круглые головки с длинными клювами.

На широкой полосе песка показывается на горизонте точка, быстро растет и через минуту превращается в мчащуюся автомашину-грузовичок. Грузовичок останавливается, мы радостно забираемся в кузов, машина делает широкий

разворот и мчится назад, в сторону Майды.

С гулом и свистом пролетаем мы мимо голых кольев от ставных неводов, мимо пустых тонь, перескакиваем через оставшиеся после отлива лужи, через ручейки, часто забирая то налево, то направо, наискось по всему огромному пространству отмелого берега.

Справа — море с темными полосами обнажившихся кошек, с чайками, грузно сидящими и лениво взлетающими. Слева — берег, все повышающийся, обрывистый, голый, с угрюмыми стариковскими складками, с белыми пятнами лепящихся на обрывах цветов, похожих отдаленно на одуванчики.

Скорость великолепная, ход гладкий, как по хорошему шоссе, — движение стремительно и необычно, неожиданно здесь, на Белом море. И в то время, как машина, минуя мысы, тони, колья от неводов, несется все вперед, оставляя сзади черный резкий след на металлической влажности песка, невольно начинаешь думать о горькой нужде всех берегов Белого моря в хорошей, настоящей, асфальтированной дороге.

Главная особенность всех этих мест — отсутствие быстрой и удобной дорожной связи с центром. Можно жить в ста километрах от

Архангельска и чувствовать себя совершенно отрезанным от всего остального мира. Сообщение морем крайне ненадежно и непостоянно. В шторм пароходы не останавливаются, не приворачивают, как говорят здесь, и карбасы в море не выходят. Едущим в какую-нибудь деревню на Зимнем берегу приходится делать иногда по три конца, то есть идти до Мезени и оттуда опять до своего места. Если же шторм продолжается, то приходится ехать до Архангельска, а из Архангельска со следующим рейсом опять в свою деревню.

Нужно еще учесть, что море спокойно месяца три в году. В остальное время — весной и осенью — погода неустойчива, а шторма здесь затяжные, по неделям и более.

Вот выписки из моего дневника осенью 1958 года:

«*7 сентября.* Вчера и сегодня на море шторм. Ходил вчера по берегу, мело песок, как поземку. Мутное море, низкое осеннее небо — больше ничего. Ветер Ю-З. Не знаю, сколько баллов, но сильный. Вечером вчера усилился чрезвычайно, бил в стену дома, где я живу. Стекла звякали, трясся пол и стол, лампа мигала…

8 сентября. Сегодня погода разошлась, солнце,

но ветер не утих, и море по-прежнему бушует. С утра на тони должны были идти доры, но не пошли, и я опять в деревне.

10 сентября. Рано утром шел сильный снег и потом град. Рыбаки томятся дома, председатель хмурый — несколько дней уже нет никакой связи с тонями, ни карбасы, ни доры не ходят. Прошел из Мезени пароход. Два катера было попытались к нему выбраться, но дошли только до устья реки. Говорят, смотреть страшно. Все люди вернулись, будут ждать следующего рейса через неделю.

19 сентября. Пароход опять прошел мимо, по деревне стон стоит, и я решил идти в Архангельск пешком. Но на море еще волнение, и доры не выходят, уехать нельзя, а мне нужно доехать на доре до тони Спасской (20 километров) и оттуда уже продолжать путь пешком, чтобы в первый же день дойти до Зимнегорского маяка.

20 сентября. Я все еще в деревне, погода не устанавливается, доры не ходят. Заведующий рыбоприемным пунктом сказал, что, мол, если взводень опадет, то доры пойдут, а не опадет — и не пойдут. А если неделю не опадет?

— Ну дак что ж, и неделю не пойдут…

На рыбоприемном пункте чисто и тихо. Давно никто не доставлял сюда рыбу».

Итак — дорога! Из-за отсутствия дорог жизнь теплится здесь только по берегу моря. В глубь материка никто никогда не ходил из-за болот, а дорог нет. Громадное количество леса на материке гибнет напрасно, перестаивает, засыхает, падает и гниет. В лесах громаднейшие буреломы, через которые трудно перелезть, прорвавшийся из Двины лес и выброшенный морем по берегам тоже большей частью пропадает. В лучшем случае им пользуются местные колхозы. Да и то — собрать и отбуксировать его на дорах очень трудно и сложно.

Уже на Оке, перебирая литературу о Севере, я наткнулся на интересную книгу А. Жилинского «Крайний Север» (1919), выдержкой из которой я и закончу свои заметки о дороге:

«Бездорожье — первая главнейшая причина неорганизованности Канинско-Чешских промыслов и ничтожности их современных уловов в сравнении с имеющимися рыбными запасами. Если проследить затраты промышленника на проезд и другие расходы, сопряженные с промыслами при настоящих условиях, то получается, что на дорогу уходит значительная часть заработка промышленника, а одновременно ему приходится претерпевать бесчисленные мытарства.

Необходимо безотлагательно оборудовать новый прямой путь от Мезени до Архангельска параллельно Зимнему берегу Белого моря. Протяжение этого пути достигает всего 200 верст, взамен ныне существующего кружного неблагоустроенного пути около 500 верст. Об устройстве нового пути Мезень Архангельск население Мезенского и Печорского уездов тщетно ходатайствует уже около тридцати лет. В 1906 году этот путь был даже временно открыт для движения, однако вскоре по нему прекратилось всякое движение, вследствие полной неблагоустроенности. Путь до сих пор остается заброшенным. Между тем он будет иметь огромное значение в жизни всего промыслового Севера: пройдет по местности, покрытой прекрасным лесом, бесчисленными рыбными озерами и вполне пригодной для успешного заселения, даст возможность скорой и дешевой доставки по нему к железным дорогам всевозможных продуктов северных промыслов на внутренние рынки…»

7

Ничего здесь нет нашего, среднерусского…

Но переведешь взгляд дальше, и уже звучит деревянная музыка Севера, видишь изломанные линии изгородей, бегущих вверх и вниз, дворы, бани, дома, расположенные ниже и выше, под разными углами к тебе, старые, сизые — и новые, с висящим из пазов мхом, деревянные гати-мостовые и дощатые мостики в проулках, а дальше к горизонту — невысокая пустынная гряда холмов, почти плоская тундровая равнина и река, странно текущая вспять в часы прилива.

И пахнет здесь иначе — пахнет карбасами, просмоленными их бортами, пахнет сетями, и песком, и мохом, и рыбой, и тюленьей кожей… И о наших соловьях, землянике, о пыльных текучих дорогах, о яблоках и вишнях знают здесь только по песням.

Что-то здесь присутствует, какая-то сила в этих домах, и людях, и этой природе, которая делает Север ни на что не похожим, — древность ли живет здесь и властвует над всяким приезжим, или века, которые здесь как бы и не текли, новгородская ли жизнь, которая у нас давно прожита

и забыта, а здесь отдается еще, как эхо, или белые ночи и море, раскинувшееся за холмами?..

8

«Поход сей представляет человеческому взору огромное, величественное и преузорчатое зрелище. Зрители с высочайших корабельных мачт не могут вооруженным оком достигнуть пределов пространства сребровидным сельдяным блеском покрытой поверхности моря. Они описывают сие пространство не иначе, как пространство десятков миль, густотой сельдей наполненное. Сие стадо, во-первых, окружается и со всех сторон перемешивается макрелями, сайдой, пикшуями, тресками, семгами, палтусами и многими других родов плотоядными, одна другую теснящими и сверх поверхности моря обнаруживающимися рыбами. Оная окружная черта рыб знатной широты полосу составляет. Но к умножению пространства смешиваются с нею по окружности звери водно-земные: дельфины, акулы, белухи, фин-рыба, косатки, кошелоты и другие из родов китовых. Оные огромные чудовища в смятение приводятся от собственных их мучителей, толпами их преследующих — пильщиков, палашников, единорогов и тому подобных. При таком смятении водной стихии увеличивают пред-

ставление сего зрелища со стороны атмосферы тучи морских птиц, весь сельдяной ход покрывающих. Они, плавая по воздуху и на воде или ходя по густоте сих рыб, беспрестанно их пожирают и между тем разногласным своим криком провозглашают торжественность сего похода. Сверх сего множества видимых в воздухе птиц сгущается оный водяными столпами, кои киты беспрестанно выпрыгивают до значительной высоты, делают сей воздух от преломления солнечных лучей радужно блестящим и дымящимся, а совокупно от усильного шипения и обратного сих водоизвержений и обратного на поверхность моря падения, буйно шумящим. Стенание китов нестерпимым терзанием, от их мучителей им причиняемым, подобное подземному, томному, но весьма слышному реву, также звуки ударения хвостов их о поверхность моря, сими животными от остервенения производимые, представляют сии шумы странными и воздух в колебание производящими. Сей величественный сельдяной поход, каковым его вообразить возможно, представляет напротив того странный театр поглощения, пожрения и мучения, на котором несметным множеством и более всех сельди истребляются».

Так картинно пишет старинный очевидец о рыбе и «водно-земных» на Белом море. О семге он упомянул мимоходом, зачислив ее в число прочих, окружающих сельдяные стада, хотя рыба эта особенная, главная на Белом море, ставшая, так сказать, гербом, девизом всего Русского Севера.

Семга — великолепная, крупная и мощная рыба с темной спиной, серебристыми боками и белым животом. Ловят ее на Белом море только у берегов при помощи ставных неводов или тайников.

Не знаю, правду ли говорил мне старик Пахолов, у которого я жил некоторое время на тоне, но тайну «походов» семги он объяснял очень просто. Семга стоит в ямах, на дне моря, в водорослях, там и кормится. Но в водорослях живут клопы — особые паразиты, которые вцепляются семге под плавники и начинают мучить. Тогда семга идет к берегу и тут, двигаясь вдоль берега, трется о песок, освобождаясь от паразитов. На пути ее хода и ставятся тайники и невода.

Иногда на помощь рыбакам приходит белуха. Я видел этого зверя; он на секунду показывает из воды белую спину — выстает — и снова ныряет. Он охотится за семгой, и она, спасаясь от него, скорее заходит в тайник…

Что же делать, картину, описанную старинным

очевидцем и повествующую о великих сельдяных походах, давно уже никто не наблюдал…

Узнав, что в восемь будет полный отлив и что звеньевой Илья Иванович Титов будет осматривать невод на тоне Майдице, мы в пять выходим из Майды.

Жарко. Ветер — от полуночника к северу. Деревня лежит на берегу реки в низине, отделенная от моря грядой невысоких дюн — угорий, как их тут называют. Песок, торф, кочки, лакированные жесткие кустики брусники и кустики побольше, с узкими, с серебристой изнанкой, листьями — карликовая ива…

Долго поднимаемся тропой с дюны на дюну и выходим наконец к обрыву. А когда выходим, видим под собой широкую быструю реку с отмелями и ровным течением, дальше влево светлые песчаные косы с выкинутым лесом, а еще дальше море — пустынное, синее и спокойное.

Спустившись к реке, мы однотонно идем потом по ее берегу, который все левеет, левеет, пока не превращается уж в берег морской.

Отлив. Всюду слюдяно блестят мелкие лужи, песок гофрированный со следами чаек, море шипит где-то далеко, и там над чем-то вьются чайки, присаживаются и опять взлетают.

Направо, над морем, горизонт чист и блестящ от солнца. Налево, за обрывистым песчаным берегом, километрах в тридцати отсюда горят леса, и дым, похожий на облака, медленно восходит к небу и, как и облака, имеет разные оттенки — от рыжего до голубого.

Титов — пожилой, небритый, худощавый, с изможденным лицом, но почему-то довольный — встречает нас у своей тони. А тоня его — маленькая избушка о двух окнах: одно на море, другое вдоль берега, на юг. Рядом с тоней избушка еще меньше, такая, что, кажется, и повернуться в ней негде. И уже подле той избушки стоит высоко вознесенный, покосившийся восьмиконечный крест, каких множество я видел по берегам Белого моря. Загадку их никак не мог я разгадать и думал сначала, что это могилы утонувших и отданных морем в этом месте, потом — что это нечто вроде церкви, не пням же было молиться во время долгих сидений на тонях! — но Титов тут же объяснил мне дело:

— А это, малой, в старину отцы-ти наши да деды, как пойдут, значит, зверя промышлять, только на Бога и полагаются. Такая уж добыча раньше была — в море да на льдине, да еще ветер падет горний, на Бога одна и надежа… Так где

вынесет на берег с добычей, со зверем то есть, там, по обещанию, и крест поставят, вот и здесь поставили и часовенку сладили — вон видишь, избушечка, а у нас в ей ледник сейчас.

От самой почти тони в море уходит гряда кольев с сетью на них, и уже в море, метрах в ста от границы песка и воды, что-то сложное, заштрихованное многими сетями — самый невод. Нам сразу хочется и осмотреть его, но Титов зовет в дом.

— Рано еще, — говорит он, радостно подмигивая. — Пойдемте в избу, поговорим, побеседуем, а как вода западет, так и самый наш час придет, никуда не денется…

В избе чисто, хорошая печка, кипит чайник, а на стол накрывает милая рыбачка, с грустной, приятной улыбкой слушает наши вопросы, ходит, прихрамывая, по избе, достает стаканы, режет хлеб, усаживает нас. Зовут ее славно: Пульхерия Еремеевна Котцова. Вообще здесь в ходу имена, которых у нас и не встретишь: Анфия, Ульяна, Евлампий, Зосима…

— Как у вас тут ветры называют? — спрашиваю я для начала.

— А вот слушай! — Титов прихлебывает пуншик, двигается по лавке и закуривает. Кофейные

глаза его радостно блестят. — Вот, скажем, так, начнем с севера. Север — он так и будет север. Это ветер дикой, с океана, холодный и порато сильный! Дальше идет полуношник, это тебе будет северо-восток. Этот тоже дикой, еще, пожалуй, похуже севера. Пойдем дальше. Дальше будет веток, восток значит. А еще обедник — этот как бы юго-восток. Эти ветра ничего, хорошие… Дальше будет летний, южный, с гор идет, волон у нас возля берега почти не дает, этот тоже ничего. Шалоник, юго-запад, тот днем дует, ночью стихает, так и знай! Запад — он и по-нашему запад. Ну и последний тебе ветер — побережник, как бы сказать, северо-запад. Тот дикой, холодный и взводень большой роет, худой ветер!

Он приподнимается и долго глядит в окно на море, на невод, на садящееся солнце.

— Солнце красно с вечера, рыбаку бояться нечего, — привычно складно бормочет он. — Солнце красно поутру, рыбаку не по нутру. Вот как у нас! Чего тебе еще рассказать?..

Некоторое время мы молчим, потом я напоминаю Титову про рыбу, про семгу, о которой я хоть и знаю уже немного, но хочу еще послушать.

— А! — говорит Титов. — Ну, слушай… Вода у нас кроткая. В Койде вода плохая, быстрая, сувои

страшенные, а у нас тут кроткая. В большие воды, то есть в полнолуние, бывает так метра три с половиной. А в новолуние и на убыли — тогда называются малые воды, метра на два. Вон видишь невод-от? На шесть часов он под водой находится, и в эти шесть часов заходит в него рыба, да бывает, и зверь заходит. А потом невод-от обсыхает, рыба-ти вся на песке оказывается, мы ее и обираем. Понял?..

Ты небось думаешь — семга и семга... А вот и нет! Ей много разных сортов, и по-разному она ходит. Первый поход ей начинается с начала июня, и называется она залетка — это семга крупная, сильная, жиловатая. С десятого июня и до Прокофьева дня, то есть до двадцать первого июля, идет все межень, мелкая семга. С Прокофьева до первого Спасу, то есть по-теперешнему до четырнадцатого августа, может идти, но не каждый год, такая семга — черная рыба. Эта уже будет покрупнее межени. А со Спасу и до конца октября, пока лед не появится, идет осенняя семга, самая крупная и постоянная, и это называется главный поход. Понял?

Он опять берет бинокль, смотрит пристально в окно и вдруг кричит:

— Роется рыба-ти, роется!

Кто в сапогах, кто босиком, высыпаем мы на берег и почти бежим вдоль перемета на кольях к неводу. Солнце садится, воды по щиколотку, она вся гладкая, уснувшая, вдали только за кошками ворошатся мелкие гребешки, да в неводе что-то бьется, поднимая брызги, молниеносно мечется из конца в конец…

Попалось на этот раз много горбуши и несколько крупных семг. Семги стоят спокойно, как бы недоуменно, и только, когда наклонишься к ней, она мощным ударом хвоста окатывает тебя с головы до ног и отпрыгивает на несколько метров. Зато что творится с горбушами! Они пересекают по многу раз небольшое пространство невода, вздымая темными спинами каскады переламывающейся воды, они обезумели от ужаса и отчаяния, бьются и кидаются на сеть…

Оглушенную рыбу сносят и складывают на носилки и в корзину, я снимаю еще и это, потом рыбаки нагружаются, мы им помогаем, и все вместе, согнувшись, вылезаем через горло невода наружу. Пока я снимал, а рыбаки били, вода совсем ушла, и мы теперь на обсохшем дне, кругом валяются ракушки, клочки водорослей, пряно и сильно пахнет потаенностью, и солнце стало еще ниже и краснее.

С носилок шлепается на песок семга, мы останавливаемся, и Титов, пользуясь передышкой, слегка запыхиваясь, объясняет мне устройство невода:

— Эвон видишь, сам берег-от? От берега на кольях идет прямо в море стенка, по-нашему завязка, бережная завязка. Понял? Идет она к самому неводному горлу, видишь?..

Он затаптывает окурок и смотрит на горбушу.

— Горбуша у нас новая рыба, первый год ловится. Эта рыба глупая, походов у ней нету, так дуром и валит. Вкусная рыба, да вот пока не позволяют ее сдавать — и плана на ее нету, — велят выпускать.

— Чего же не выпускаете? — спрашиваю.

— Так и выпускаем, когда много ее зайдет. А когда мало, так для себя берем, да и то если какая побьется или хомут себе сделает (долгое время помучится в ячее сети), куда ж ее выпускать, все одно погибнет…

Рыбу несут на ледник, мы приходим в дом. Пульхерия Еремеевна ставит на печку уху, окна слегка отпотевают, мы снова сидим за столом, Титов потягивает свой пуншик, отдыхает. Солнце уже коснулось горизонта и красно, красно… Чайки поднимаются над пустым неводом, держатся

некоторое время неподвижно на раскинутых крыльях и тяжело садятся на колья.

Титов начинает рассказывать о зверобойке. Он уже опьянел немного, говорит, говорит, а солнце садится… Я беру бинокль и выхожу на берег. Вправо и влево бесконечная песчаная широкая полоса, резко подчеркнутая отодвинутым к обрыву плавником, сухим, светлым, обглоданным морем. Многие бревна стоят торчком, как после сотворения земли, и на них любят отдыхать чайки.

Навожу бинокль на солнце — оно мрачно-красное и, срезанное наполовину горизонтом, похоже на громадную каплю раскаленного жидкого металла. Капнула капля, расплылась по морю, дрожит и потихоньку тонет, окутываясь красными облаками.

Приходят мне на память рассказы о зеленом луче, ярко блистающем будто бы иногда в последнюю секунду, когда солнце совсем уходит, и я терпеливо жду — не увижу ли? Жду десять минут, пятнадцать, двадцать…

Звенят комары, молча, без крика, летят чайки, темные на красном небе, садятся на дальнюю кошку и замирают там — засыпают, наверное?

Начался прилив. Волны шумят значительно

ближе, и в неводе опять вода, скоро она совсем покроет его, и там, где теперь песок и я, ночью будут ходить семги, натыкаться на сеть, идти вдоль нее в сторону моря, стараясь ее обогнуть, и будут попадать в горло невода и кружиться, кружиться там, бессильно и настойчиво, в поисках выхода, пока вода снова не спадет и не придут рыбаки и не станут их бить и класть в корзину.

Солнце наконец садится. Долго и мертво мерцает оно последней искрой, верхним своим окончанием, и я все смотрю на него в бинокль, даже руки начинают дрожать, — и эта последняя искра коричневеет и гаснет. Остается одно остывающее небо на том месте, гряда прозрачных облаков и широкая краснота. Остается космический свет над головой, остается белая ночь с тишиной, с безветрием, со слабым ропотом волн приближающегося моря.

Я иду в избу. Все полегли на лежанках, накрылись чем-то, хотят заснуть, но не спят еще. А у светлого окна сидит Титов с уже остывшим пуншиком и, завидев меня, начинает опять говорить про зверя и этим самым как бы и про свою жизнь, прошедшую на этом берегу.

— Тюлень, — бормочет он сонно. — Тюлень… тюлень… Первый тюлень, который родился, ди-

те, на ладошке поместится, — это тебе зеленец. Зеленец это… зеленец…

А потом он белеет, шкурка-то белеет, и называется тогда белек, тоже маленький, белек-то, а глаза как луковица, большие да черные дак…

А потом белая шерсть сходит, показывается черная, а так еще вроде серая она, шерсть-ти, серая, и называм мы его хохляк… Хохляк, сказать тебе…

Потом пятнышки идут по ней, по тюлешке-ти, и это у нас серка, серочка… И это все происходит на первый год круговращенья.

А на другой год он, тюлень-ти, большой-большо-о-ой… И называется серун… А? Ха-ха-ха… Серун… А на третий свой год самый настоящий лысун. Понял ты? Не серун — лысу-ун! Лысун, а самка — утельга. Утельга…

Длится ночь, давно спит Пульхерия Еремеевна, и милое во сне у нее лицо, давно спят все, дальние кошки заливаются водой, и чайки, совсем черные на светлом, сонно поднимаются, и летят к нам, и рассаживаются на обрывистом берегу, на торчком стоящих бревнах, и снова засыпают…

Утром опять солнце, опять мелеет море и уходит, обнажая песчаный берег и невод. И в неводе снова плеск и шум, солнечные брызги, и среди

брызг и плеска — рыбаки в мокрых одеждах, с мокрыми палками в руках. И бьют, бьют, чекушат, усыпляют рыбу, стаскивают в корзины, на носилки…

Лошадь привычно трогает, идет рысью по песку, возчик так же привычно кричит что-то непонятное, смотрит поверх дуги в море, вперед на берег, на небо, на все, что перед его глазами, двухколесная тележка бодро катится, отбрасывая короткую тень, превращается постепенно в точку, пока совсем не скрывается за поворотом.

А Титов на прощание говорит, что где-то здесь, между Койдой и Майдой, будут строить аэродром и начнут потом прилетать и опускаться тяжелые брюхастые самолеты, и семгу — не соленую, а свежую — будут отправлять на самолетах в Москву и Ленинград.

Представляя себе эту будущую картину быстроты, садящиеся и взлетающие взревывающие самолеты, мы уходим с тони и опять идем по пустому берегу, поглядывая на две четкие колеи и четкие следы копыт, оставленные уехавшей лошадью.

9

Редки деревни на Белом море, и каждая резко отлична от другой расположением своим и народом. Одни стоят, выбежавши, на самом берегу моря, другие, спрятавшись за увалами — возле реки. Одни больше, другие меньше, погрязнее и почище, повыше домами и пониже… И народ в одних поприветливее, несловоохотливей, в других поравнодушней, как бы попривычней к приезжим.

И каждый раз, входя в новую, неизвестную тебе деревню, глядишь во все глаза, слушаешь и нюхаешь, подмечаешь все мелочи, архитектуру, выражение народа, населяющего этот уголок, напитываешься сразу, все принимаешь к сердцу, чтобы потом вечером равнодушно лечь спать или, наоборот, выйти и ходить, ходить в надежде снова очароваться и с охотой говорить с хозяевами или с соседями, которые зайдут, с удовольствием слушать их, вникать в их жизнь и по возможности понятнее объяснять им свою и зачем ты здесь появился…

В Майду входили мы вечером, и едва увидели ее из-за холмов, еще от моря, едва сапоги наши

зазвенели по бревенчатым настилам и мостикам, едва вошли мы в первую улицу, как были покорены спокойствием и уютом, излучаемым этой деревней, и уже радостно переглядывались… А нас на первом деревянном перекрестке поджидала группа народу, вглядывалась в нас, а когда мы подошли, все наперебой стали спрашивать, как доехали и не видели ли того-то и не везли ли на машине таких-то вещей. И, поговорив, наглядевшись на нас, стали показывать, как найти заместителя председателя, и советовать, у кого бы лучше остановиться, и говорить нам: «Ну, спасибо, вот спасибо-то!», будто мы Бог весть каких радостей и подарков навезли им.

Мы пошли далее по улице, по бревнам, и они музыкально, как ксилофон, звучали под нашими шагами, а по сторонам были изгороди, и огороды, и дома, и прекрасный клуб наверху, и радио играло на столбе возле клуба, был теплый розовый вечер, и раздавались частые удары топоров в разных местах — в деревне строили два или три дома, а новые дома всегда веселят сердце.

…Нас тотчас окружили ребятишки — тоже особенные какие-то в этой деревне, огромноглазые, со слабым золотистым загаром на тонких ликах.

Бурков скоро вернулся и сказал, что идти можно

и что лучше всего остановиться нам у Евлампия Александровича Котцова.

Прекрасный это и старый был дом! В нежилой половине его, служащей как бы преддверием повети, сложены были сырые кирпичи и навалены кучи сухого мха и пахло почему-то очень отчетливо сиренью. Мы вошли направо, в кухню, и застали чаепитие в разгаре. При нашем появлении встала с места и хорошо на нас посмотрела женщина средних лет, а в дальнем конце стола сидел высокий прямой старик и тоже смотрел, улыбаясь, как мы снимаем рюкзаки…

10

Где-то в тундре, где-то за горизонтом, за озерами, за карликовыми лесами живут ненцы. Где-то там ходят стада оленей и стоят берестяные чумы. Они стоят в безмолвии, среди озер и ручьев, под светлым ночным небом. И когда ненцы, мурлыкая слабыми голосами песню, уплывают в ночь на озера за рыбой, то, наверное, выходят их провожать собаки и сидят потом на берегу и, насторожив уши, смотрят и нюхают…

В тундре можно исчезнуть. Она ровна и беспредельна. И мы под жарким, удушающим солнцем идем по ней, как по Африке. Горят леса в стокилометровой дали, и дым от пожаров растекается по всей равнине, по мху и по рекам, переваливает невысокие угорья вдоль берега моря, и простирается дальше в море, и, кажется мне, уходит к полюсу.

Мы идем в голубоватом, струящемся мареве по блеклой тундре, по сухому, хрустящему под ногой мху, мимо мертвых озер с торфяными берегами. Мы входим в низкий лес. Это не наш веселый шумящий лес, это что-то низкое, покорное, окаменевшее. Такие деревья бывают в театральной

бутафорской, ими подчеркивают сумеречность и дикость какой-нибудь мифической преисподней. Здесь стволы их еще скручены в узлы и пригнуты к земле. Мучения и вековые пытки видны в каждом утолщении и в каждом изгибе.

Скорей, скорей пройти это гиблое место! И души наши напрягаются, ноги спешат, глухо стукают по корням, еле прикрытым мхом. И когда мы покидаем лес и выходим на прежнюю моховую равнину, нам делается немного легче.

Попадается много вереска — островками растет он, плотен и жесток, и цветет сиреневым дымом. Кочки покрыты красным, желтым и синим — везде морошка, черника и голубика, и мы постепенно разбредаемся, нагнувшись, забываем даже, куда и зачем идем, рвем морошку, сок которой янтарен и напоминает по вкусу слегка прокисший сок абрикосов.

Потом сходимся и снова бредем вперед, к дымчатому горизонту, изнемогая от жары, странной в тундре. Показываются крикливые розовоперстые чайки, зло кружат над нами, отлетая к озеру и возвращаясь с новой яростью. Мы идем по линии их полета и выходим на берег.

Проводники наши, шурша кустами, скрываются, идут искать карбас, который должен где-то

здесь быть. Через полчаса мы слышим голоса, скрип весел, показывается карбас и пристает…

И вот мы плывем по немереному озеру. День понемногу гаснет, по небу, над дальними угорьями, разливается красноватая заря. Мы удаляемся от нее, пересекая озеро, и, когда оглядываемся, видим небо чернильного цвета над еле возвышающимся далеким плоским берегом. А когда подплываем к нему, видим, что он каменный. И камни его как бы уложены человеком — один на один, в длинный ряд. Чем ближе мы к нему, тем он страшнее, а под ним чернота, и вода кругом черная. На берегу растет кустарник, но, приглядевшись, видим мы не кустарник, видим опять березовый лес, и белые обнаженные корни берез висят над водой, как щупальца спрутов.

Проводники наши приглядываются, совещаются, и мы пристаем среди кустов. Прямо от берега уходит едва заметная долинка. Отсюда нужно тащить карбас по узкому каменному перешейку… Подкладываем катки и тащим, упираясь напряженными ногами в мох, под которым слышен камень. А когда вытаскиваем карбас к другому озеру, замечаем на берегу рюжу.

— Ненецкая рюжа, — говорит один из ребят-проводников.

— Ихняя, — подтверждает другой.

В этой рюже видится мне внезапно призрак деятельности, сосредоточенной в древнейших занятиях человека — в скотоводстве, в рыболовстве, в охоте. И эта тундра, озера, прибрежные камни, дальние угорья, покрытые кое-где лесом, сразу перестают казаться мне дикими. На самом деле они полны присутствием человека, присутствием тихим, малозаметным, но постоянным.

Не знаю отчего, но меня охватывает вдруг острый приступ застарелой тоски — тоски по жизни в лесу, по грубой, изначальной работе, по охоте…

Мы спускаем карбас, забираемся в него, булькая и всплескивая сапогами по воде, и между камней, выстающих из желтоватой глубины, потихоньку отходим от берега. Огибая каменистый мыс, мы выходим в озеро, и нам постепенно открывается его громадная пустынная протяженность.

— Вон чумы!

Мы вздрагиваем, поворачиваемся, напрягаем глаза и видим на далеком темном берегу три чума, три невысоких конуса, чуть светлее по тону, чем берег.

Время уже за десять, солнце село, светло. Огромное озеро, стоящее чуть не вровень с низкими берегами, пустынно. Пустынны и далекие берега.

Но на одном из них, на самом дальнем и темном, показались и не скрываются, не пропадают три чума — вместилище загадочной для нас жизни, которую не увидишь нигде, кроме как здесь.

Не сон ли это? Потому что тихо кругом и сумеречно, и вода омертвела, и берега стоят — вон зубчики леса! — так же, как стояли во времена скрытников. И на берега эти смотрели, может быть, плывя в такой час и предчувствуя конец пути, древние бегуны, ищущие землю обетованную, и, наверное, шапки снимали и крестились, радостно думая, что дальше уж незачем идти, да и некуда… Мельком взглядываю я на своих, спутников — и у них странные лица, и они смущены и взволнованы. Даже проводники наши — и те как бы ждут чего-то.

— А-а-а-а… — проносится вдруг над озером крик. Он так слаб и невнятен, что сразу ощущается безмерность расстояний в этой пустыне. Мы поднимаем весла и слушаем, не повторится ли крик, не поймем ли мы чего-нибудь. Каплет с весел вода. Иногда вздрогнет весло в руке, и тогда скрипнет колышек. Поднесет кто-нибудь бинокль к глазам, и прошуршит рукав куртки…

Опять гребем, журчит под носом, поплескивает под веслами вода. По носу карбаса сумереч-

ное восточное небо, чумы все ближе, и, когда в перерывах между гребками оглядываешься, замечаешь между чумами фигурки людей. Они вырастают внезапно и опять пропадают, будто люди лежали, а потом поднялись и снова легли. И горят два невидимых нам костерка, только дымки тонкими струйками поднимаются вверх — сперва вертикально, потом сваливаются. И еще дымок пожиже, попрозрачнее из среднего чума.

Карбас наш с шорохом цепляет за дно, мы выскакиваем в воду, тянем его на песчаный берег, истоптанный копытами оленей. На нас смотрят издали, как мы выносим вещи и разминаемся. Сбегаются, окружают нас и, поворчав немного, начинают вилять и ласкаться собаки. Пушистые остроухие собаки — старые и совсем щенята еще с розовыми носами. Так, окруженные собаками, мимо погребков, вырытых в обрыве и обложенных торфом, поднимаемся мы к чумам, к ненцам, которые сидят и чинят нарты. Пахнет дымом костров и рыбой.

— Здравствуйте!

— Нгань дорово! Здравствуйте!

Мы присаживаемся около ненцев, кто на нарты, кто просто на корточки. Вокруг нас садятся и ложатся собаки.

Вот чумы, и вот ненцы. И мы сидим на нартах, и дым костров набегает на нас. Теперь только смотреть, ведь завтра мы уедем и, кто знает, увидим ли еще все это. И мы смотрим, потому что светло и все видно.

Аркадий Вылко не похож на ненца. Длинно и смугло-матово у него лицо, широки глаза, длинны и мохнаты опущенные ресницы. Нос его высок, с горбинкой, и редки белесые сквозящие усы и борода. В своем головном уборе, напоминающем красноармейский шлем, только гладкий, с отверстием для лица и надетом от комаров, похож он на бедуина, на индейца. И сидит, чуть улыбаясь, вольно и покойно, и покуривает, смотря в землю, и молчит, будто знает что-то возвышающее его надо всеми.

А Петр Вылко — брат его — крепко сбит, низок и слегка кривоног. Стремителен и хищен он в движениях, резок и горяч и весь будто налит черной огненной кровью, опален и прокопчен. Голос его громок, и слышны в нем звериные нотки, когда кричит он вдруг на собаку:

— Гин![32]

И втягивает потом с давящимся звуком воз-

---

[32] Примечания: 32
Пошла прочь! *–Прим. автора.*

дух…

Потихоньку отхожу я от нарт и оглядываюсь. Вон озеро, теперь лиловатое. У берега застыл черным кривым клинком наш карбас, а рядом карбас ненцев. Собаки провожают меня. Щенки, если на них посмотреть пристально, сразу ложатся на спину, и пузики у них цвета неспелой клюквы.

Вон чумы, составленные из длинных кольев и обтянутые, обшитые вываренной берестой. Вокруг чумов нарты — длинные и легкие, с полозьями, будто покрытыми лаком снизу, и некоторые уже упакованы и обвязаны веревками: ненцы готовятся к перекочевке. Возле нарт, раздувая жарким дыханием пыль, лежат больные олени. Они все темно-коричневого цвета, беззащитные, с длинными печальными глазами и бархатными рогами.

Между нарт валяются еще во множестве ржавые капканы. Их выварят зимой в хвойном настое и будут закапывать в пушистый снег, и огненная, зеленоглазая лисица, насмерть защелкнутая кривыми скобами, будет прыгать кругом, поднимая хвостом снежную колючую пыль…

На горизонте, из-за угорьев, показывается широкоплоское пятно, немного бурее по цвету, чем тундра. Оно шевелится, вытягивается и сжима-

ется. Оно растекается шевелящейся полосой по всему горизонту. Это олени.

Они ждут своего часа.

Запряженные по четыре в нарту, они помчатся, хрюкая, в снежную беспредельность. Над ними будет вздыматься тонкий хлыстообразный хорей, а нарты с грузом или с людьми будут обсыпаться снегом, наклоняться и переваливаться на сугробах. Много тысяч километров предстоит пробежать этим оленям, и многие дали обволокут их и заглянут им в глаза. А другие упадут под ножом, и кровь их напитает мох, мясо их сварится в чуме, и много малиц и унтов наделают зимой из их шкур.

Но это исполнится не сейчас. А теперь они свободны и ходят в тундре, окуная ноздри в мох, и могли бы уйти совсем, далеко от людей, на север, к океану. Они могли бы стать дикими, чтобы мчаться по угорьям и замирать на вершинах, озирая пустыню. Но чумы держат их, человек зовет их, и зов этот во сто крат сильнее зова тундры. Олени придут к людям и станут нюхать дым костров. Они идут. Шевелящееся, невнятное пятно все ближе…

И между нарт, между собак и лежащих оленей мы идем к чуму Вылки. Нагибаемся и входим по

очереди и сразу начинаем разуваться на мягких шкурах, снимать куртки и свитера. В чуме сумерки и верхний свет. В чуме гудит железная печь, рыба благоухает на ней, и чайник кипит, и труба вздымается к дыре наверху, к той дыре, в которую когда-то выходил дым от очага, а теперь льется свет белой ночи…

Садимся пить чай на мягкие шкуры за низкий столик. Жена Вылки, как в хорошем доме, накрывает на стол. За нашими спинами подушки. Рыба вкусна. Чай душист и крепок. Главный разговор, как у московских таксистов, — про погоду. Но здесь погода не просто приятная или неприятная, здесь она, как и у рыбаков на море, определяет ход жизни.

Больше месяца в тундре жара. Мох высох. Олени болеют копыткой, тощают и вот-вот начнут падать. В тундре нет тени и некуда деться от солнца. Даже ночью над лежащим оленьим стадом поднимается пыль от дыхания…

Печка остывает, хозяева вежливо позевывают. Нам стелют шкуры у стены, кладут подушки, опускают полог от комаров. Ноги советуют спрятать под пушистое собачье одеяло. Хозяева устраивают себе точно такую же спальню на другой стороне чума…

Ночью я просыпаюсь от глухого топота и хрюканья. Чумы окружены оленями. Медленно, но неуклонно двигались они сюда из тундры и вот пришли и легли — тысяча оленей, темных и белых.

И еще раз я просыпаюсь под утро от волнения за стенами чума, которое передалось и мне. Топот так силен, что дрожит торфяная земля, и слышно сквозь этот топот, как бархатно сталкиваются рога взволнованных чем-то оленей. Что с ними? Приснился ли всем сразу страшный сон? Или подошли близко волки?

Третий раз я просыпаюсь от солнца, дымным косым столбом бьющего в распахнутый чум, и от крика снаружи. Ненцы ходят среди оленей, расталкивают их, осматривают им копыта. Трещит и наполняет все вокруг жаром затопленная печь. Низенький столик вынесен наружу, готовится общее утреннее чаепитие. В глазах рябит от множества оленей вокруг, от множества огромных блестящих черных глаз. Ах, как измучены эти олени, как впали их бока, какой нервный ток пробегает по ним, когда кусают их оводы! Рога их разнообразны — от простых шишечек, покрытых черным пухом, у молодых, до великолепных, со многими отростками, у стариков. Внизу свет-

ло-буро-черная шевелящаяся масса тел, а выше неоглядное переплетение рогов, будто карликовый лес.

Уже нет вчерашней некоторой таинственности, при свете солнца все обыкновенно, понятно и будто давно знакомо.

Будто мы много раз бывали у ненцев, жили с ними, слышали каждый день хрюканье оленей, говорили о пастбищах, о кочевках, о падеже и проценте сохранения молодняка.

Садимся пить чай. Пьем, обливаясь потом, на жаре, под солнцем, и чем больше пьем, тем больше хочется…

Через десять минут четверка оленей запряжена в нарты. Вылко стоит с хореем, выжидательно смотрит на нас.

— Пускай! — кричим мы.

Вылко падает в нарты, олени рвутся, нарты со свистом летят по мху, ненцы хохочут. Вылко потягивает оленей хореем, направляя по громадной дуге, нарты подскакивают на кочках, Вылко, выбросив ноги в стороны, балансирует, отталкиваясь пятками от земли, скрывается вдали за стадом. Потом показывается опять и летит уже к нам — олени легко перебирают ногами, рога их закинуты к спине, ноздри раздуты. Они ослепи-

тельно белы под солнцем, как снежное чудо.

А еще часа через два мы прощаемся, нас зовут в гости зимой, выходят вместе с нами на берег, мы налегаем на карбас, сталкиваем его в воду, вскакиваем, умащиваемся на веслах… Поднятые руки, невнятные крики, напутствия — и опять мерные взмахи, журчание воды, свежий ветерок, а ненцы, и олени, и чумы отдаляются, отдаляются, и с этим ничего не поделаешь.

Целый день потом мы гребем по озеру, купаемся, бредем тундрой, рвем морошку и чернику, проходим опять мхами, болотцами, карликовым лесом — все время лицом к солнцу, к морю. Даль между тем затягивается дымкой, мы думаем о пожаре в лесах, но это не пожар, это наползает с моря туман, заволакивает солнце и дышит холодом. А к вечеру приползают и тучи, и ночью уже идет дождь, значит, конец душной муке! И мы все время вспоминаем ненцев и оленей, воображая их радость дождю.

11

Мы на высоком угорье, почти отвесно обрывающемся в море, возле деревни Ручьи ждем парохода в Архангельск.

Внизу над нами рыбоприемный пункт, река, окруженная кошками, широко впадающая в море. На реке, возле склада, приткнулась мотодора, тоже дожидающаяся парохода.

Парохода все нет, мы спускаемся вниз, некоторое время говорим с капитаном доры, с рыбмастером — милой женщиной, глядящей на нас широкими светлыми глазами, пьем чай с морошкой, опять выходим на песок. Солнце, теплый день, чайки летают во множестве, вдали на море посверкивают снежными спинами играющие белухи.

Потом рыбмастер ведет нас на холодильник показать свое хозяйство. Зажигаем по свечке, как при входе в катакомбы, и, загораживая рукой трепещущие огоньки, входим во мрак и холод кажущегося бесконечным помещения. Внизу лед, на нем положены доски, а справа и слева от прохода врыты в лед большие чаны с рассолом. В густом прозрачном рассоле светятся жаберными

крышками и боками семги. Мы приподнимаем одну, она холодна и тверда, как дерево, черный глаз ее загадочно смотрит на нас.

Вот куда свозят со всех тоней выловленную рыбу. Вот где зреет она в тишине, в темноте, как вино, наливаясь вкусом и ароматом. Вот где кончаются ее «походы» — и, как и у зерна, у вина, у дерева, отсюда начинается новая ее дорога к людям.

Наши лица бледно озарены свечами, нам становится холодно, и мы выходим на солнце. Мы видели, как ловят рыбу, мы слушали бесконечные разговоры о ней по всему берегу, во всех колхозах. Как на юге говорят: «Хлеб, хлеб!», так здесь говорят: «Семга, семга!» И вот теперь мы увидали конец одной цепи и начало другой. Круг замкнулся. Вон в мотодоре стоят две громадные забитые бочки, каждая килограммов по четыреста. Они уже не здесь — они там, в новой дороге, они проштемпелеваны, записаны в ведомости, как бы отрешены уже от рыбаков, от берега, и через какой-нибудь час…

Я поднимаюсь опять на угорье и шарю биноклем по горизонту. На десятки миль хватает глаз, но парохода все не видно. Зато я замечаю вдруг то, чего не видел раньше, — какую-то призрачную

голубую холмистую полоску на горизонте. Берег ли это? Далекий остров? Или облака? Я всматриваюсь до боли в глазах, но не могу решить. Тогда я запоминаю форму этой холмистой полоски, похожей на идущие, поднимающиеся из-за горизонта синие тучи, и на время отвлекаюсь. Минут двадцать я рассматриваю по очереди белух, выстающих далеко в море, и чаек, парящих близко, почти на одном уровне со мной. Потом снова взглядываю на загадочную полоску. Нет! Форма холмов не изменилась. Значит, это не облака…

Я начинаю спускаться вниз, время от времени останавливаясь и взглядывая на синюю полоску. На нее почему-то очень хочется смотреть.

— Видна ли какая-нибудь земля с горы? — спрашиваю я внизу.

— А! — говорят мне. — Так то Кольский полуостров, Терский берег…

— Далеко ли до него?

— Километров восемьдесят, тут у нас само узко место на море…

Так вот что я видел, Кольский полуостров!

Пароход показывается неожиданно. Когда мы замечаем его, он уже близко — белое пятнышко. Капитан мотодоры оживляется, по длинной доске перебираемся мы на палубу, якорь поднимают,

мотор тарахтит, последний раз оглядываем мы северный берег, людей, здание рыбоприемного пункта и выходим в море навстречу пароходу.

Мы подошли к его черной стене с носа, нам спустили веревочный трап, мы взобрались на палубу, стали рассеянно смотреть, как снизу, из мотодоры, подвывающая лебедка вытягивала в веревочной сетке бочки с семгой…

Затем и пароход двинулся, и Ручьи потонули в туманной дали. Скоро миновали мы Инцы, Зимнюю Золотицу, а потом настала светлая ночь, и море было спокойно…

Пришла пора прощаться и с Архангельском. Что-то случилось с ним, пока мы скитались по северным краям. Он как-то погас, заосенял, хоть и светило еще августовское солнце. Набережные его стали пустынны — никто уж не купался. И березы в скверах будто покрылись рыжими веснушками. И пахло иначе — пряный запах лета исчез, уступив место другому, тянущему и горьковатому запаху осени.

Зато все так же мощно дышала река, и все, что было на ней: пристани, корабли, катера, подъемные краны, лесозаводы… И опоры строящегося моста стали как будто повыше…

Поздно вечером надели мы последний раз свои

рюкзаки и последний раз ступили на палубу парохода, перевозящего пассажиров на левую сторону Двины, к поезду. Пароход сипло и торопливо свистнул, забурлил винтом и стал отходить. Через минуту нам опять открылась панорама громадного северного порта, масса зданий, и дымов, и труб, и судов на Двине. Вода была спокойна и сумеречна. Горели красные, белые и зеленые огни на бакенах, на бортах и кормах судов. Рубиново светили в недоступной высоте авиамаяки на прозрачных опорных башнях по обеим сторонам Двины. И надо всем этим — над городом, над рекой, над судами — тихо сияла низкая пурпурная луна, которую видели мы первый раз за все свое долгое путешествие по Северу.

Начав свои записи в июле, на сейнере, при выходе из Мезени, заканчиваю я их осенью на Оке…

Осень теперь и на Белом море. Но там она иная — ледяная и жестокая. Там мигают теперь во тьме огни маяков и с устрашающей силой дуют «север» и «полуношник». Там в редкие дни идет снег, и на море появляется первый лед. Мистически вспыхивают там по ночам безмолвные северные сияния. Суда в море кренятся так, что катятся моряки по палубам. И многих смывает за борт,

и тогда летят в черное небо тревожные ракеты, пляшет по волнам дымный свет прожектора и долго вздымается и опадает на проклятом месте осиротелое судно. Там рыбаки на берегу вваливаются в избу насквозь мокрые, с заколеневшими сизыми руками и никак не могут отогреться, слушая, как под окнами ревет море.

И вот вечерами в теплом доме на Оке я вспоминаю Север…

Я жалею, что о многом не написал, многое пропустил, быть может, очень важное. Я хочу снова попасть туда. Потому что Север только начинает жить, его пора только настает. И мы застанем эту пору, при нас она грянет и процветет со всей силой, доступной нашей эпохе.

1960

Павел Кренев. Беляк и Пятнышко
Повесть

Девочка Аня Матвеева приехала в заполярный город Мурманск. Приехала она на поезде, конечно же, не одна: кто бы отпустил ее — подростка в дальнюю дорогу без надежного сопровождения? Время военное, лихое, в разоренной беспощадной войной стране всякое случалось на дорогах. Бывало, что и взрослые люди пропадали не за понюх табаку, попав ненароком в какую-нибудь случайную дорожную заваруху. А тут деревенская девчонка, нигде еще не бывавшая сиротинка-безотцовщина. Ее облапошить — любому жигану в радость, раз плюнуть.

Стоял месяц март 1945 года. Война шла уже к завершенью. Смертельный ее вихрь, покружив над российским северо-западом, разметав деревни, спалив лес, унесся на запад и крушил теперь города Польши и Германии, коверкал людские судьбы и везде оставлял после себя только выжженную землю и незаживающие язвы неизбывного человеческого горя.

В почти совсем разрушенный и малолюдный

Мурманск Аня приехала через притихшую и обугленную Карелию. Весь этот город, раскиданный по черным, опаленным пожарами сопкам, всего полгода назад сотрясался от взрывов снарядов и бомб и был теперь похож на погашенный гигантский костер с еще теплыми, раскиданными по земле головешками — недогоревшими остатками бывших человеческих жилищ. Ане показалось, что прямо через город проехал тяжелый, гигантский, размером до небесной выси, сокрушительный каток лютой войны. Проехал и раздавил все, что жило в нем раньше.

На улицах, посыпанных углями и пеплом, почти не было людей. Только кое-где сновали, подгоняемые резкими командами охранников, безликие, худые фигуры, одетые в серые лохмотья — силуэты немецких пленных. Разрушив город, они теперь его восстанавливали.

Но мурманский морской порт работал. Он снабжал возрождающийся город, корабли и воинские части всем необходимым, через него переправлялись в глубину России товары ленд-лиза, отсюда уходили на рыбный и зверобойный промысел суда морского пароходства.

Аня приехала с бригадой зверобоев. Ей самой, ее маме и их родне — дедушке Илье — стоило

больших хлопот, чтобы она попала в эту бригаду. Входило в нее всего-то пятнадцать человек, а желающих участвовать в зверобойном отряде от деревни набралось человек двадцать пять. На колхозном собрании долго судили-рядили, привередливо обсуждали каждую кандидатуру. Это потому, что зверобои испокон веку хорошо зарабатывают, а всякая семья хочет, чтобы и в их дом пришла копеечка.

— Почему эт Аньку зуйком посылать? — допытывались односельчане, — лучше парня какого. У ей силенок не хватит шкуры по льду таскать да туши. Парня надо!

Аня с мамой сидели среди односельчан, волновались. Мать рвалась выступить и сказать хоть пару слов, да понимала: бесполезное это занятие. И слушать не станут, знамо дело — мамка за дочку хлопочет. Хуже только будет. Но сказал веское слово дед Илья, уважаемый в деревне человек.

— Я вам так скажу, селяне, эта девка мужика хорошего стоит. Я в прошлом годе сиживал с ей на Никольской тоне, дак знаю. И на веслах гребет в погодушку, и кашеварит не хуже наших женочек. Труженица она, надо брать ее.

Сопротивлялись некоторые. Выступала Калинична, самая напористая деревенская крикунья:

— Ты, Илья, хоть и рыбак самолучший, а не прав ты! Родню свою ташшишь. А другим ведь тоже надо рублик да другой заработать.

Дед Илья был родным дядей Аниной матери — братом ее отца, и крыть ему было нечем. Так бы, наверно, и заклевали девочку и не поехала бы она на зверобойку, но слово взял председатель колхоза Майзеров. А его мнение, чего уж там, самое авторитетное:

— Тут надо по-хорошему, по-человечески подойти. Все же знаем, что у Анны нашей Матвеевой год назад похоронка на отца пришла и она, девочка эта, младших братишек своих вытягивает. Как взрослая женщина работает в колхозе все лето, во все каникулы. Мать у нее с туберкулезом — это всем известно, а Анна всего-то в седьмом классе, вы же знаете. Надо бы помочь семье этой.

Председатель, сидя в президиуме, опустил голову, спрятал покрасневшие глаза, помолчал. Потом рывком голову поднял и уже с улыбкой сказал притихшему залу:

— А кроме того, надо бы поддержать будущего нашего зоотехника. Матвеева Анна летом будет поступать в сельхозтехникум по нашей путевке, а потом, значит, к нам и вернется, в наш колхоз.

Все дружно захлопали, и Аню включили в

бригаду, которая отправлялась на промысел гренландского тюленя в район Зимнего берега Белого моря.

В мурманском порту бригада погрузилась на транспортное судно «Лена». Этот гигантский трофейный корабль на период тюленьей охоты специально переоборудовался для перевозки промысловиков, тюленьего сала, мяса и шкур. Один из трюмов предназначался для жизни в нем людей. Там стояли застеленные койки, тумбочки, столы. Питание в большой кают-компании организовывалось по очереди, побригадно.

Ане на судне понравилось все. После деревенской обыденности, где на море плавают всего лишь карбасы и все давно уже кажется однообразным, здесь была другая жизнь.

На палубе работали матросы. Они перематывали и перекладывали канаты, приводили в порядок корабельный такелаж, шаркали по доскам длинными березовыми «голиками», смазывали мазутом черные стальные лебедочные тросы. Аня смотрела и думала: наверно, лебедкам предстоит большая работа, вот они о них и заботятся.

Она стояла на палубе, прислонившись к борту. Ей было холодно, потому что корабль шел по

морю, а на море всегда ветра. Голова ее была укутана в старый шерстяной, но в общем теплый платок, тельце прикрывал поношенный мамин свитер и видавшая виды мамина же фуфайка. Холодный восточный ветер продувал насквозь всю эту одежду, но Ане совсем не хотелось спускаться в трюм. Ей нравилось разглядывать летящих за кораблем чаек и далекий берег, тянущийся бесконечной неровной полосой за правым бортом. На нем, словно тупые зубья огромного чудища, высились полярные сопки, выкрашенные в белый и коричневый цвет. Между темным берегом и серо-синим морем постоянной белой полосой пролегал прибрежный лед. От него в море отплывали отколовшиеся льдины. Словно белые пароходики, отправившиеся искать приходящую из-за синя-моря Красную весну. На некоторых таких пароходиках посиживали вальяжные пассажиры — тюлени. Они плыли на льдинах и грели свои толстые бока на солнышке. Они уплывали из надоевшего холода навстречу весне… Ане совсем не хотелось в трюм.

— Эй, пассажирка, ты чего тут зябнешь? — Аню кто-то окликнул. — Вот помрешь, тогда будешь знать.

На трапе, ведущем к капитанскому мостику,

стоял и улыбался всей своей веснушчатой физиономией какой-то молоденький морячок. Фуражка у него красовалась на голове набекрень, а козырек закрывал правый глаз. Аня сразу решила, что так могут носить фуражки только хулиганы, хвастуны и вообще несерьезные, а может быть, и нахальные люди. И она ответила так, как и должна была ответить скромная деревенская девушка, отличница и комсомолка.

— А вам-то какое до меня дело? Хочу и стою.

Морячок, видно, не знал, что и сказать. Он маленько опешил: только выскочил из каюты и сразу замерз, а тут стоит какая-то ненормальная, видно, что продрогла вся, да еще и хамит:

— Да ты же в самом деле заболеешь. А у тебя работа впереди. Не на курорт ведь отправилась.

Аня понимала, что он прав, что давно пора идти в тепло, но не могла же она вот так сразу, по команде этого хвастунишки, взять и куда-то бежать. Она только фыркнула и отвернулась, стала смотреть на небо и на чаек.

— Ладно, — примирительно произнес морячок, — вижу я, что ты решила закончить свою молодую жизнь самоубийством. Но я лично не считаю, что это правильно. Комсомольцы должны умирать ради чего-то, например, за Родину. А

просто так нельзя. Комсомольский устав это не разрешает.

Аня еще раз фыркнула и спросила:

— Откуда вы знаете, что я комсомолка?

— Да по тебе сразу видно. Ты же ненормальная. Комсомольцы все такие.

— И вы тоже такой?

— И я такой же.

Он попереминался, поежился, и вдруг заявил:

— Я знаешь чего решил?

Аня промолчала. Она не могла и не хотела долго разговаривать с посторонним незнакомым человеком, какая в конце концов разница, чего он там решил?

— Я буду стоять здесь, пока ты не уйдешь с палубы в тепло. Умру вместе с тобой.

И он втянул голову в куртку, как будто ему стало ужасно холодно и что он в самом деле приготовился к самому худшему. В глазах его возникла решимость. Аня понимала: шуточная, конечно. Потом он сказал:

— Мне как-то неудобно стоять рядом с тобой одетым, когда ты мерзнешь. Хочешь, я отдам тебе свою куртку, она теплая.

Быстрым и уверенным движением он сбросил с себя форменную куртку и набросил на Анины

плечи.

— Так будет лучше, — сказал он.

Аня не знала, что и сказать, не знала, как реагировать. Все это было впервые… Но парень явно не был бесстыжим нахалом.

— А вообще, — сказал он, — давай знакомиться. Меня зовут Михаил Плотников, я четвертый помощник капитана, штурман.

— Чего-то я сомневаюсь, — сказала Аня, — такие молодые штурманы разве бывают?

— Ну, зачем мне врать? — стал серьезно возражать Михаил. — Семь классов — это четырнадцать лет, затем мореходка три года, штурманский факультет — это семнадцать. Я год как работаю четвертым штурманом, и мне сейчас восемнадцать. Все реально.

В Ане шевельнулось какое-то чувство, похожее на уважение к этому живому веснушчатому парню в лихой фуражке.

— А меня зовут Анна, Аня Матвеева. Я учусь в седьмом классе.

— Наверно, отличница?

— Есть такое дело, но я этим не горжусь, просто так получается.

— А как же, дорогая моя, тебя отпустили на зверобойку? Уроки же идут. Ты что, отпетая про-

гульщица?

— Ничего, я наверстаю. Меня директор отпустила. Просто у меня в семье очень трудно сейчас. Мама болеет, работать не может.

— А отец на фронте?

— Мой папа погиб год назад на Карельском фронте.

Плотников покачал головой, помолчал. Он спустился по ступенькам на палубу, решительно взял Аню за руку и повел по лестнице вверх. Она не понимала, куда и зачем ее ведут, сопротивлялась.

— Слушай ты, комсомолка, голоднющая вся, замерзла совсем и еще упирается. Давай двигай! Мы тебя хоть отогреем немного.

Он привел ее в командную рубку, где находился капитан и его старший помощник. Там Аню накормили американской тушенкой и напоили чаем с печеньем. Тушенку Аня никогда в жизни не ела, и она показалась ей невероятно вкусной. Потом ей дали корабельный бинокль, и она долго разглядывала море, расстелившееся по бескрайним просторам вокруг корабля, небо и облака, летящих над водой чаек, белые льдины на темно-синей и свинцово-серой воде, далекий берег… Близость дальних предметов потрясла Аню, и

она все глядела и глядела в прохладные окуляры. А четвертый штурман Плотников стоял рядом и подсказывал, как надо пользоваться оптическим прибором по названию бинокль.

А потом, когда прошли опасное ледяное поле, капитан отдал штурвал старшему помощнику и долго беседовал с Аней о деревне, о колхозе, о поморской жизни. У него самого осталась дочка в Архангельске, он ее редко видел, потому что все время был в море, и видно, что сильно по ней скучал.

Плотников явно не хотел уходить из рубки, и капитан его прогнал. У четвертого помощника было много обязанностей в корабельном хозяйстве.

Аня, разморенная едой, теплом, добрым разговором с капитаном, уставшая от дороги и впечатлений сегодняшнего дня, уснула прямо в кресле. Капитан отнес ее на руках на топчан, стоящий в углу капитанской рубки, и накрыл своей шинелью. Так она провела первую свою ночь на зверобойном промысле.

Ранним утром следующего дня транспортное судно «Лена», ведомое ледоколом «Капитан Мелехов», преодолело горло Белого моря и вошло в морскую акваторию. Лежал недолгий путь к

лежкам гренландского тюленя, испокон веку расположенных в одних и тех же местах — напротив Зимнего берега Белого моря. Этот коренной полярный житель — гренландский тюлень извечно живет в холодных водах северных морей и Ледовитого океана. Из-за лютых штормов, разбивающих любые льды, там невозможно продолжать потомство, выращивать детенышей — их убьет океан. Поэтому Белое море, более спокойное и мелкое, загороженное со всех сторон сушей, гренландские тюлени рассматривают в качестве родильного дома для своих детенышей и собираются здесь каждую весну, чтобы продолжить свой тюлений род.

Кроме того, в Белом море очень долго не тают ледяные поля. На их кромках, около самой воды, самкам удобно рожать тюленят и нянчить их первое время. Потом тюленята очень быстро растут и становятся самостоятельными. Рядом с самками всегда много взрослых самцов. Они почему-то всегда воюют друг с другом и постоянно дерутся. Так создаются лежки — места скопления тюленей. Здесь всегда стоит рев дерущихся бойцов.

Судно «Лена» пришвартовалось прямо к ледяной кромке, к краю огромного ледяного поля, упирающегося дальним своим концом прямо в

Зимний берег. Примерно в километре от места швартовки вдоль края льда чернела толстая полоса тюленьей лежки.

Все шесть бригад зверобоев, представителей колхозов всех беломорских берегов, каждая по двенадцать — пятнадцать человек, сошли на лед.

Бригадир коллектива от колхоза «Промысловик» Петр Зосимов по-военному построил своих колхозников, разделил на группы и всех проинструктировал. Сержант в отставке, на войне он был тяжело ранен осколками вражеской мины в лицо и в легкое и поэтому говорил плохо, с трудом выговаривал слова, задыхался. К такой его манере все привыкли еще в деревне, и поэтому его речь была для всех понятна.

— Задачи у нас простые, — сказал он, — добыть и сдать на транспортное судно как можно больше морского зверя. От этого зависит общий заработок. Устраиваем соревнование: стрелок, занявший первое место, сверх зарплаты получает премию, равную заработку. Кто окажется на последнем месте, тот в следующий сезон на зверобойку не поедет. Всем понятно?

— Поня-ятно, — заголосили зверобои.

— Имейте также ввиду, что среди колхозных

бригад организовано социалистическое соревнование. Лучшие бригады будут отмечены грамотами профсоюза области. Это большая честь для нашего колхоза и для нас с вами. Надо бы побороться, товарищи, за эту высокую награду. Согласны, товарищи?

— Со-о-гласны! — прогудела бригада, и все пошли по своим местам. Речь бригадира, короткая и понятная, всем понравилась. Работа началась.

Стрелки от колхозных бригад заняли выделенные им сектора и пошли вперед к тюленьей лежке. Все они были вооружены трехлинейными винтовками системы Мосина калибра 7,62 мм и тяжелыми дубинами. Приблизившись к лежбищу метров на двести, они сбавили ход, стали ступать медленно, а затем пошли вовсе внаклонку, крадучись. Шли так, пока наблюдавшие за ними самцы не стали один за другим скользить по снегу и нырять со льда в море. До стаи оставалось 50–60 метров. Стрелки все как один попадали на лед, подползли к ближайшим ледяным ропакам и, положив на ледяные выступы свои винтовки, открыли по тюленям бешеную стрельбу.

Стреляли не по головам, а по силуэтам. Так надежнее: легче прицеливаться, а разрывная пуля, выпущенная из мосинской трехлинейки, облада-

ет страшной начальной скоростью и, попав даже просто в корпус, не оставляет никакому живому существу шансов на выживание.

Отстреляв по двадцать патронов (по четыре обоймы), стрелки поднялись, подхватили винтовки и дубины и побежали к тюленьему стаду. Основная часть близлежащих тюленей была неподвижна. Звери лежали, уткнув морды, в окровавленный снег, некоторые валялись на боку, безвольно опустив на живот ласты и откинув назад головы.

Часть билась в предсмертных судорогах, и стрелки к ним не подходили: зачем тратить патроны и силы, если зверь сам скоро подохнет.

Но многие тюлени с окровавленными боками, раненые, но еще живые, кидались с окровавленными, разъяренными пастями, полными острых клыкастых зубов, на людей, и стрелки или убивали их в упор из винтовок, или глушили дубинами.

Забой гренландских тюленей — дело очень кровавое. Стрелки шаг за шагом продвигались вперед среди мертвых тюленьих туш, не оставляя за собой ничего живого. Под ноги им часто попадались тюленьи детеныши — бельки — доверчивые, любознательные существа, одетые в

белоснежные шкурки с черными бусинками глаз. Но на этой зверобойной компании плана по их добыче и сдаче не было, и стрелки не обращали на них внимания, а уж совсем докучливых просто отпинывали в стороны.

Но лежка гренландского тюленя и широкая, и длинная. Она протянулась вдоль морской кромки на километры. И вот группа других стрелков, «отработавших» свою территорию, обходит справа и идет вперед к еще не отстрелянному зверю. И там начинается новая бойня.

И повсюду посреди ослепительно белого снега в красных от крови полыньях лежат туши убитых и раненых тюленей, и растекаются от них кровавые ручейки, раскрашивая все новую снежную белизну в ярко-алый цвет.

И повсюду ходят люди с дубинами и винтовками, и над всем ледяным пространством далеко вширь и высоко в небо разносится предсмертный рев убиваемых людьми животных.

Сразу за стрелками идут и принимаются за свою работу обелевщики, свежеватели тюленьих туш. Каждый подходит к убитому зверю и своим острым ножичком разделяет его на две части — на шкуру с приросшим к ней толстым слоем жира и на мясо. И уж потом в работу включаются

волочильщики. Их задача — подтащить мясо и шкуры к месту погрузки на транспортное судно.

Те и другие ходят по красной жиже — по насыщенному кровью снегу.

Аня еще в деревне была назначена волочильщицей. Ей, как и другим, выдали стальные крючья. Здесь в обиходе их называли гаками. Вообще Аня скоро убедилась, что в зверобойном деле много специальных терминов, странных, словно иноземных, слов. Здесь тюленьи ласты называют катарами, ледяные торосы именуют ропаками, а стальной трос — это финш. Здесь тюленью тушу называют рауком, ошкуривание тюленя — обелевкой, а роды самки тюленя — это вам совсем и не роды, а говорят: утельга ощенилась. Аня недоумевала: тюленята — это же не щенки. Почему тогда «ощенилась»?

Она уже стояла на льду вместе с другими волочильщиками, крутила в руках свой тяжелый гак, примерялась, как станет подцеплять им шкуры убитых тюленей, как будет тащить их по льду. А как же, везде требуется сноровка.

Ее окликнула ледокольная повариха Варвара, с которой они познакомились еще в Мурманске. Оказалось, что та давно работает на судне, знает многих поморских рыбаков и зверобоев. Знала

она и отца Анны: тот не однажды бывал на тюленьем промысле до войны. Искренне опечалилась, когда узнала, что хороший человек погиб.

— Анечка, погоди маленько, я тебе сказать хочу. — И побежала по трапу к ней.

Подошла без накидки, без телогрейки, в одной кофтенке, мороз ей не мороз. Голова в тоненьком платочке. Отвела за локоток в сторонку.

— Предупредить хочу тебя, девка. Сейчас ты много кровушки увидишь. Сможешь — нет выдержать такое? Дело-то страшенно. Бывает, что которы и не выдерживают, назад убегают. Девки-то молоды особенно. Сидят потом в уголке, глаза прячут.

И она, наклонившись вперед, выгнула голову, вытаращила глаза, рассматривая Анино лицо.

Аня съежилась, она уже слыхала и в деревне, и на судне о том, что картина будет тяжелая. Но куда ей было деваться? Какими глазами придется ей смотреть на голодную семью, если она не привезет хоть немного деньжат? Она приехала на заработки, а деньги — это она хорошо знала с самого измальства — никто в карманы просто так не накладывает. Их все тяжким трудом зарабатывают.

— Я постараюсь, — сказала она просто и посмот-

рела поварихе в глаза, — мне надо денег домой привезти, у меня семья дома голодает. Куда мне теперь бежать отсюда?

Она пошмыгала носом и как будто даже приободрилась.

— Я, тетя Варя, видала, как овцу соседи резали. Не умерла же со страху, и сейчас, наверно, тоже не помру.

— Сравнила тоже, овцу-у, — едко передразнила ее повариха. — Тут не одна овца, там страхи Божии что учиняется, по кровушке вышагивать будешь, дева. Видала я ето дело коегодни… Форменны страхи Божии.

Она совсем скукожилась от холода, тяжело подпрыгнула пару раз на скрипучем снегу, заторопилась обратно в корабельное тепло.

— Ладно, девка, прозябла я чево-то, пойду-ко я.

Варвара резко развернулась, шагнула к ледокольному трапу, остановилась, повернулась опять к ней со скрещенными на груди руками, озябшая, со сморщенным лицом.

— Жалко мне тебя, Анька. Вот ведь как тебе приходится, сиротинке. Держись уж как-нибудь, Христа ради.

Скрюченная, вдруг сгорбившаяся то ли от холода, то ли от жалости, она шла по трапу наверх.

Что-то вытирала ладонью на своем лице.

Увиденное потрясло ее. И она подумала: это белое поле в огромных, кривых пятнах красного цвета, лужи крови с лежащими посреди них тушами тюленей, кучи из мяса, тюленьих внутренностей и лежащие повсеместно желтые пласты снятых шкур, еще дымящихся, будет приходить к ней во сне теперь постоянно, всю жизнь. Хмурые, деловые лица мужиков, несущих в руках окровавленные ножики, переходящих от туши к туше…

Аня отвернулась от этой чудовищной картины, подошла к ближайшему ледяному ропаку и тяжело на него села, наклонилась. Ее рвало на лед, она никак не могла откашляться.

Подошел бригадир Зосимов, сел рядом, обнял за плечи.

— Некогда нам с тобой рассиживать, Анна, надо план выполнять. Нельзя колхоз подводить.

И заторопился куда-то, ушел.

Анна Матвеева встала и пошла работать. У нее не было возможности опустить руки и уйти куда-нибудь от этого страшного места. Дома ее ждала семья, находящаяся в беде.

Любая поморская девочка, привыкшая к тяго-

там быта, к суровым условиям жизни на Севере, быстро ко всему приноравливается. На Аню обрушилось так много работы, что ей некогда было лить девичьи слезки. Поначалу она боялась оглядываться по сторонам, страшилась наступить ногой на что-нибудь мягкое и скользкое, но жизнь заставила быстро привыкнуть к новой обстановке. Надо было выполнять план!

Работа у Ани Матвеевой была несложная, но тяжелая. Главная хитрость заключалась в том, чтобы среди ропаков и снующих туда-сюда людей выследить, не потерять обелевщика: рядом с ним шкуры и туши, которые надо было подтащить к общим кучам всей бригады, к кромке льда, где стояло судно. Народу много, а искать своего постоянно перемещающегося обелевщика некогда: надо было поторапливаться. Выход нашел бригадир Зосимов. Раздобыли где-то красную материю и нитками закрепили красные полосы на шапках обелевщиков своей бригады. Теперь их было видно издалека, теперь зосимовская бригада напоминала боевой партизанский отряд.

Аня приноровилась работать с обелевщиком Леонидом Петровым. Молодой этот ухватистый парень был чем-то вроде автомата. Он со своим шкерочным ножичком подбегал к только

что подстреленному тюленю и полосовал его за несколько минут. И как будто не мерзли у него руки и не брала усталость. А лицо Леонида горело под стать красной повязке на шапке — такое же алое. От мороза, от азарта работы и просто от здоровья.

— Аню-ютка! — кричал он всякий раз радостно, когда очередная ноша была готова, и махал обеими руками, и ножик в его правой руке сверкал на солнышке также радостно.

Видно было, что Аня Матвеева ему нравилась, и она это понимала. Просто понимала, и все. В своей непростой жизни ей было некогда думать о чем-то постороннем, кроме учебы, младших братьев и матери, которые нуждались в ее помощи. Кроме того, Леонид был уже женат. Совсем недавно он сыграл свадьбу с хорошей деревенской девушкой Зиной Худяковой. Просто ветер у него в голове, у Леонида, не нагулялся он, вот и все.

Но сейчас была зверобойка, и обелевщик Петров радовался встречам с Аней Матвеевой и учил ее правильно таскать по льду рауков — тюленьи туши и тюленьи шкуры.

— Анечка, крюк надо цеплять сюда. Так волосы на шкуре будут лучше скользить по льду, и тебе будет легче ее волочь. Понятно?

— Понятно, понятно, — улыбалась Аня в ответ.

Иногда он распрямлял молодое гибкое тело, весело глядел ей в лицо и, видимо понарошку, сокрушенно выговаривал:

— Вот дурак я, дурак! Рано женился, дурак. Надо было мне тебя маленько подождать.

И неясно было, шутит Леонид или нет. Аня смеялась в ответ и старалась поскорее уйти подальше от этих шуточек.

На другой же день зверобойки на свидание с Аней с «Лены» удрал четвертый помощник Плотников. Он обрадовался встрече с ней, подарил свои теплые рукавицы, обшитые с внешней стороны брезентом.

— Это тебе от меня на долгую память. Носи на здоровье, — сказал, — чтобы больше не замерзала. — Лицо его в крупных веснушках было слегка обожжено весенним солнышком и крепко разрумянилось.

Аня ему тоже почему-то обрадовалась. И сама не понимала почему. Она до сих пор старалась не обращать внимания на мальчишек, и взрослых ребят тоже. Все они казались ей придурками, с которыми и разговаривать-то не о чем. А тут обрадовалась.

— Можно, я тебе помогу маленько? — спросил

он, сверкая восторженными глазами и поправляя рукава какой-то задрипанной куртки явно не со своего плеча. Аня хотела было поинтересоваться, откуда такая странная одежда, но Михаил вопрос опередил:

— Это я для маскировки надел, чтобы меня капитан не нашел.

— Можно, конечно можно, — отвечала Аня, пряча глаза и слегка отворачиваясь. Она хотела скрыть от Миши Плотникова свою радостную улыбку и свое смущение. Такие новые для нее…

Потом они вдвоем таскали по льду шкуры, держась за один крюк. И Миша Плотников о чем-то веселом болтал… А Аня ему поддакивала. Уже открыто улыбалась, а иногда даже смеялась. Им хорошо работалось вдвоем. Аня в тот день выполнила полторы рабочих нормы.

Капитан судна тем временем потерял своего четвертого помощника, но быстро нашел, догадавшись, где он может быть. Капитан взял медный свой мегафон и гаркнул в него в адрес Плотникова такие нужные слова, что того как ветром сдуло из зосимовской бригады.

Все же, убегая, он попросил Аню выйти вечером на палубу.

И она вышла. И они опять пили с ним чай в

кают-компании. И опять долго проболтали.

А когда прощались и стояли на палубе, Аня вдыхала всей грудью морозный морской воздух, вглядывалась в темное пространство ледяного поля и невольно думала о том, что в этой холодной темени на снегу ползают беззащитные, одинокие тюленьи детеныши — бельки, плачут, как маленькие щенята, и разыскивают своих матерей. И не могут найти, потому, что их отняли у них люди.

Такие мысли будоражили теперь и просто терзали ее сердце, и она, как и эти маленькие тюленята, была беззащитна перед своими думами, ведь все это было правдой. Но ей некуда было бежать от этого ледяного поля со множеством убитых тюленей и от своих мыслей тоже.

Однако, человек — существо безграничное в своем мировосприятии и в своих чувствах. Теперь, когда Аня видела четвертого помощника Плотникова, когда разговаривала с ним, в душе ее, в самом дальнем ее уголочке вдруг оживал и начинал шевелиться теплый комочек, который стал ее постоянно согревать. И она стала думать о нем и заботиться, чтобы он не остыл, а чтобы жил в ней, в Ане, всегда жил.

Трагедия самки гренландского тюленя — утель-

ги заключается в том, что она ни в коем случае не может бросить своего детеныша. Даже когда ей самой грозит смертельная опасность.

Если на ее маленькое дите посягает посторонний тюлень — неважно, самка это или самец, — она с лютым ревом бросается на обидчика и терзает его острыми зубами, пока тот не сдастся, не отступит.

Когда к детенышу или к ней самой подходит человек, утельга до последней минуты будет защищать себя и свое чадо, но не отступит, не убежит к спасительной морской кромке. Самка гренландского тюленя — раба и жертва материнского инстинкта, который люди называют материнской любовью.

В этом и заключается промысел морского зверя на тюленьих лежках. В то время как самец при первых выстрелах промысловиков, при первой же опасности бросает своих самок и детенышей и убегает со льда в море, утельга не может покинуть своего ребенка. Она остается с ним рядом до конца, и поэтому — она легкая добыча.

Вот она простая и неминучая правда: среди убитых на зверобойных промыслах гренландских тюленей практически нет самцов. Это все утельги.

Мясо и сало ее спасли в военное время от голодной смерти города Архангельск, Северодвинск и во многом блокадный Ленинград. Тот памятник в центре Архангельска стоит не зря.

Это памятник Утельге.

Это памятник всем тюленьим матерям, погибшим за то, чтобы жили люди. Их были многие сотни тысяч.

Я прошу горожан приходить к памятнику и возлагать к нему цветы.

Утельга это заслужила. Она совершила подвиг материнской верности.

Работа на льду продолжалась четверо суток. Это был срок фрахтовки поморскими колхозами транспортного судна «Лена» и ледокола «Капитан Мелехов». На больший срок эти суда не могли оставаться в распоряжении колхозов. У них было еще много других задач в акватории северных морей.

Вот и промелькнул последний рабочий день. Наступил последний вечер зверобойного промысла. Началась погрузка использовавшегося оборудования, саней, винтовок, топоров, веревок… Каждый проверял свое хозяйство, все ли поднято на судно, не забыто ли чего. Стояла суета, которая вечно стоит перед отправкой в дорогу.

Аня проверила все и свое, и чужое, она стояла на льду возле трапа, глядела на снующих туда-сюда людей, на огромный корабль. Была тяжелая работа, но уезжать не хотелось. Здесь останутся ее переживания, ее успехи в работе, первое в жизни зарождающееся серьезное чувство…

У каждого члена бригады было плановое задание. Свое она выполнила и перевыполнила. Она знала, что не подвела никого: ни себя, ни бригаду, ни колхоз. Этой осенью ей надо будет уезжать в город на учебу, и теперь Аня знала, что заработала достаточно денег, чтобы купить для себя обновы, что будет что надеть и она в новой одежде не будет выглядеть хуже других, и что теперь можно будет приобрести новые обувки для братишек, а то ходят в таком рванье… Не зря она съездила на эту зверобойку.

Уже под самый конец сборов бригадир Зосимов мимоходом сказал ей:

— Сбегай-ко, Аня, в бригадный урез. Чего-то у меня душа болит, все ли мы там собрали?

В бригадный урез — значит в дальний конец выделенного бригаде участка. Сказал, а сам аж трясется весь, зубы у него колотятся. Стукоток стоит такой, что и Ане слышно. Простыл он вчера крепко: пропотел в работе, а потом продрог, так

уж получилось, и теперь его всего корежит. Видно, что надо бы ему в тепле побыть да отогреться, а как тут уйдешь со льда, когда сборы и за всем нужен пригляд. И Аня побежала. А Зосимова окликнул с борта «Лены» боцман Новоселов — неунывающий, веселый, хлопотливый человек, которому до всего есть дело. Он Петра приметил в работе и зауважал.

— Петруша, а чего ты не в себе как будто? Белый весь, и качает тебя. Не прихворнул случаем, Петруша?

Зосимов только махнул рукой и признался:

— Худо мне в самом деле. Простыл вчерась. Скорей бы дело закончить, на ногах еле стою…

— Ты едри это, чево? Ты геройство свое брось показывать, не удивишь им никого. Один недавно так же выказывал тут, помер на обратном пути в дороге, гортань у него замерзла вся, не откачали. Так же хочешь?

Боцман, держась за круглую окантовку борта, потоптался, повертел головой туда-сюда, видно, размышлял, отважиться ли ему на решительный шаг, потом все же отважился, дернул головой и приказал:

— Давай-ко ты, Петя, шагай сюда ко мне. Я тебя лечить сейчас буду, быстро вылечу.

— Да у меня пока тут заботушка есть, всех обрядить бы надо.

— Уже обряжены все. Сам не видишь? Отходим через час. Сборов-то и не осталось уж. Сам на ногах не стоит, а тоже ему надо думать за всех, обряжальщик, едритя.

И он проводил Зосимова в свою каюту. Там заставил выпить стакан едва разбавленного спирта. Считай, без закуски, только кусочек хлеба и дал.

Уставшего, израненного на войне, задерганного в хлопотах и полуголодного, ослабленного сильной простудой Петра Зосимова от такой дозы крепко развезло. Так сильно, что он уснул мертвецким сном прямо в каюте боцмана.

Через пару часов Новоселов его кое-как разбудил и помог добраться до своей койки в трюме. Боцману ведь тоже надо было отдохнуть в своей каюте после трудового дня.

А Зосимов упал на свою койку и ушел в болезненное забытье.

Разве это расстояние — километр туда да километр обратно? Снега на льду уже почти нет, его выело пусть и не жаркое совсем, но довольно въедливое мартовское солнце. Под ногами плотный и гулкий лед. Туда-сюда можно обернуться

за двадцать минут.

Прибежав к дальней границе участка, Аня обомлела: вдоль всей трехсотметровой кромки моря повсеместно лежали тюленьи шкуры. Туш не было, а вот шкуры лежали. Вероятно, волочильщики, справившись с тушами, просто отвлеклись на другие дела, да позабыли, что не докончили свою работу…

Сейчас некогда было рядить, кто прав, кто виноват. Надо было срочно сволочить эти шкуры в одно место, в кучу, и начать переправлять их на судно. А там подключится вся бригада. Нельзя же бросить такое богатство.

Так она решила. И Аня взялась за дело. В первую очередь пошли в ход шкуры, лежащие подальше. И надо было делать все быстро, ведь она может задержать отправку судна и подвести не только свою бригаду, но и все колхозы и само судно, и капитана, такого доброго к ней человека.

Но перетащив бегом по льду первые пять шкур, она поняла, что уже сильно устала. Ладно, еще надо бы пять, и она отдохнет. Вот, наконец, она присела, чтобы хоть немного отдышаться. Но почти сразу вскочила: сколько можно отдыхать, ведь ее ждут люди, она всех задерживает! А у корабля все расписано по часам, его нельзя под-

водить!

И Аня опять бросилась таскать эти тяжеленные тюленьи шубы с толстым слоем сала каждая. Она волочила, волочила по льду стокилограммовые тяжести, эта деревенская девочка, пока не устала совершенно, пока совсем не выбилась из сил.

И она сказала себе: «Ладно, я чуточку отдохну, совсем чуточку, и пойду звать людей. Только чуточку...» Силы совсем ее оставили, но ведь не на лед же ложиться. Кое-как, с трудом унимая сильную дрожь в локтях, она подцепила крюком одну из шкур за край, протянула ее так, чтобы шкура лежала мехом кверху, и упала на нее. И потеряла сознание. Она очень устала, ученица седьмого класса Анна Матвеева.

Две недели назад, в начале марта, самка гренландского тюленя Утельга родила двоих малышей. Она долго, очень долго — целых одиннадцать с половиной месяцев — готовилась к этому важному для любой матери событию.

Жившие в ней зародыши все это время купались вместе с ней в водах Карского, Баренцева и Печерского морей, гонялись за косяками сайки, трески, мойвы и сельди около побережий Шпицбергена, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Утельга набирала жир, который потребуется

ей для рождения и вскармливания детей, для последующего сразу за этим нового принятия в себя зародыша, для начала очередного этапа материнства длиной в одиннадцать с половиной месяцев.

В начале марта Утельга вместе с самцом выбралась из воды на льдину, где уже собиралась колония из множества таких же тюленей. На этом месте вековечно, из года в год, из столетия в столетие живет, рычит и пищит гигантский «родильный дом», продолжающий существование так называемого «беломорского стада» гренландского тюленя численностью в сотни тысяч голов.

Над «родильным домом» с февраля по апрель вековечно гремит многоголосый гомон живущего здесь зверя: рев самцов, дерущихся друг с другом, грозный рык самок, защищающих своих детенышей, жалостливое повизгивание тюленят, схожее с плачем щенят, потерявших свою мамку.

Утельга выбрала место для своей лежки в заветерье от северного ветра — под наклоненной глыбой широкого ропака. Она несколько раз переваливалась с боку на бок, приминала снег, чтобы будущий ее ребенок не запутался в рыхлой замяти, не задохнулся.

Ей не пришлось долго ждать своих родов.

Спустя пару часов она уже облизывала мордочки двух сыночков. Их запах совпадал с ее собственным запахом, и она узнала бы своих детей среди миллионов других щенков.

Самка гренландского тюленя редко рожает двоих детенышей. Как правило, рядом с ней только один. Но сейчас их было двое. И как только утельга сорвала с них прозрачные родовые пленочки, сыночки ее, одетые в розовые шубки, поползли к ней под брюхо искать молочные соски. Их мамка повернулась на бок, откинула с помехи свои ласты, и щенятки быстро нашли то, что требовалось. Чмокая и урча, они бойко и деловито принялись сосать жирное тюленье молоко. А Утельга лежала на боку и жмурила глаза. Самец ее лежал поодаль, ревниво поглядывал на свою самку и тревожно порыкивал во все стороны. Наверно, он остерегался, чтобы другие самцы не напали и не разрушили его семью.

Детеныши росли быстро. Утроенные жизненные силы им дает необычайно жирное и питательное тюленье молоко. Уже вскоре с трудом поначалу ползающие «зеленцы» превратились в крепеньких белоснежных тугих бочоночков — бельков, которые начали заводить друг с другом и со своей мамой Утельгой боевые игры.

Дети были совершенно белоснежны, как и подобает всем белькам, но у одного из них над черным глазом выделялось серое пятнышко. Как будто на лбу у сыночка темнел еще один глаз. Утельга своим языком пыталась слизнуть эту темную точку. Но точка оставалась там, где и была.

Скоро уже, совсем скоро Утельга, повинуясь древнему инстинкту, должна была покинуть их, своих детей, и начать новую игру со своим самцом. Властная Природа требовала, чтобы она вновь зачала в себе новую жизнь и снова стала матерью.

На льдине, рядом с кромкой бесконечно синего моря, лежала со своими детенышами Утельга — самка гренландского тюленя Всходило над ней солнышко, разгорался и угасал закат, и висел над ее головой огромный черный небесный купол, утыканный хрусталиками ярких звездочек.

Трескались где-то льдины, и грохот этот пролетал над ее головой, над ее бельками, уносился к горизонту и исчезал в морской дали.

Иногда матери надоедало лежать долго без движения, и она отползала от своих щенков, двигалась к находящейся рядом морской кромке. Там она наклоняла голову в воду и соскальзывала со

льда в привычную для себя глубину. В погоне за быстрой сайкой она выгибала уставшее лежать в неподвижности тело, резвилась в родной стихии. Но это не могло продолжаться слишком долго, ведь она была матерью, через короткое время Природа звала ее обратно, на лед, где Утельгу ждали ее дети.

Иногда она приносила белькам из морских глубин каких-нибудь рыбок и стелила их перед их мордочками. Смотрите, детки мои, каких вкусных селедочек принесла вам ваша мама из морской глубины, — как бы говорила она. Но детки на ту пору еще не кушали рыбу. Они предпочитали всем деликатесам мамино молочко. С принесенной им рыбой они предпочитали играть и вырывать рыбок друг у друга из пасти.

Наигравшись, детеныши опять сосали материнское молоко и снова лежали с двух сторон у матери, прижавшись к теплым ее бокам, слабо при этом похоркивая и посвистывая во сне, то и дело ворочаясь и тихо урча что-то свое, детское. Утельга лежала на льдине рядом с детьми. Она выполняла извечный свой материнский долг.

Однажды утром дремлющую с детенышами Утельгу и лежащего рядом Лысуна — ее самца разбудили звуки выстрелов и гортанно-буль-

кающие, всегда страшные для тюленей голоса людей — их извечных врагов. Ее самец рявкнул и, подпрыгивая на сильных ластах, умчался к морской кромке. Раздался громкий всплеск. Это Лысун шлепнулся в воду и исчез в глубине.

Утельга не сдвинулась со своей лежки. Ее приковал ко льду материнский инстинкт, не позволяющий бросать детеныша в момент опасности. Пока ее ребенок — белек не наберет достаточный вес, чтобы начать самостоятельную жизнь и самому добывать себе корм, она будет находиться рядом с ним, какая бы угроза над ней ни повисла, пусть даже и угроза гибели. У Утельги было два детеныша, и, когда пришла к ней смертельная опасность, она их не бросила. Грохот выстрелов был все ближе и ближе. И когда человеческие шаги зазвучали совсем близко, Утельга высоко подняла голову. К ней шел коренастый человек с равнодушным красным лицом. Он нес в руках какие-то длинные предметы. Утельга поняла, что ее детям грозит смертельная опасность. Она приподнялась на ластах и ринулась на врага с оскаленной пастью, со всей материнской решимостью защитить своих детей. Коренастый человек равнодушно выругался и, почти не целясь, привычно, из-под локтя выстрелил Утельге

в голову.

Человек выполнял обычную свою рутинную работу.

За ним шел обелевщик с острым, как бритва, ножичком. Для него это была тоже самая обычная тюленья туша, которую надо было разделить на три положенные части. Он уже сбился со счета, которая на сегодняшний день. Кажется, где-то из третьего десятка. Два маленьких белька лежали поодаль и смотрели на людей черными маслинками широко открытых глаз. Все происходящее было для них добрым и счастливым, как их короткое детство, совсем не ведающее страха.

Стояла северная мартовская ночь, морозная и звездная. Ледокол «Капитан Мелехов» шел полным ходом курсом на Архангельск. Толстым и упрямым своим корпусом он проламывал смерзшуюся за холодную ночь шугу, долбил и отгонял прочь с дороги плавающие тут и там льдины. Ледокол расчищал путь транспортному судну «Лена», следующему в кильватере. Транспорт — крупнотоннажный трофейный корабль — был огромен, тяжел был и груз, лежащий в трюмах, но мощные немецкие дизеля давали хороший ход. И все шло по графику. В девять часов утра следующего дня «Лена» должна доставить свой груз в

порт «Экономия» Архангельского пароходства.

Пассажиры «Лены» — зверобои из поморских деревень — долго не спали. Все обсуждали удачный для всех деревень промысел. Все выполнили плановые задания, и все были довольны, что не подвели свои деревни, что будет прибыток в домах.

Русский мужичок не может без заначки. И вот стали из пестерьков, из мешочков доставаться сокровенные припасы: у кого бражка, у кого невесть что намешанное, но тоже с градусами, а у кого-то припрятана для такого случая золотая бутылочка драгоценной водочки.

— И — и, эх-х! — зазвенели песенки да прибауточки. Народ пережил тяжеленные военные времена. Многие из этих мужичков — раненые да покалеченные, списанные с войны по причине военной негодности, а в основном пожилые все люди, для которых прошел срок воевать. Но сейчас, на этом судне, их всех объединила удача хорошей добычи. И нет повода, чтобы не гульнуть, не пошуметь на радостях.

А женщины спали. Скажите, кто может быть практичнее русской женщины? Ни в жизни не найдете! И, если выпадает хоть одна минутка, свободная от детей, мужа или работы, русская

женщина вмиг засыпает. И это справедливо, потому, что женщина наша непомерно много работает.

Аня открыла глаза. Ее бил тяжелейший озноб. Все тело пронизывала ледяная дрожь. Мертвящий холод проник в каждую клеточку тела, лежащего на льду посреди морозной ночи, и тело перестало слушаться ее. Тряслись ноги и руки, громкой барабанной дробью стучали зубы. Замерз язык и холодил рот неподвижной льдинкой.

— Надо двигаться! Я ведь могу умереть! — Эта мысль пронзила Аню. — Надо попытаться подняться. Надо встать, встать!

И она начала подниматься. Но не хватило сил оторвать плечи от лежащей на льду шкуры. Плечи и руки будто были прибиты гвоздями к ледяной корке. Ей стало страшно. Потом она постаралась взять себя в руки. Поморская девочка, она слышала сотни историй о том, как люди погибали из-за того, что не смогли совладать со своим страхом в трудных ситуациях, будь то на море, на льду или в лесу. «За свою жизнь надо бороться до конца» — так учил ее отец. Так же говаривали опытные люди, бывавшие в разных переделках.

— Со страхом в море не суйся, — судят поморы, — он тебя в глубь и утянет!

Аня полежала, собралась с силами и стала раскачивать, приподнимать плечи ото льда попеременно. Тело стало совсем чужим, и каждое движение давалось ей с великим напряжением всех сил. Затем рывком перевалилась набок и поджала, подтянула к животу колени. Из этого положения ей легче было встать на четвереньки, а потом попытаться поднять и все тело.

На четвереньки она встала, покачала перед собой трясущиеся руки и поняла, что совсем не чувствует ни ладоней, ни пальцев. Их будто не было совсем. Аня стукнула кистями рук друг о друга, но ничего не почувствовала. Руки стали совсем чужими, будто деревянными.

Но ей надо, во что бы то ни стало надо встать на ноги и начать шагать, чтобы согреться, вобрать в себя тепло и оживить продрогшее тело.

Предприняв неимоверные усилия, Анна все же поднялась на ноги, медленно-медленно распрямила тело. Это трудно ей далось, потому что трясущиеся плечи необоримая сила водила из стороны в сторону.

Она попыталась сделать шаг.

Аня сделала его. Но шагнула она с превеликим трудом, потому что ноги ее совсем не слушались. На них невозможно было удержать равновесие.

Качаясь из стороны в сторону, она сделала два шага по окровавленному ледяному полю, но не устояла и упала на бок, сильно ударившись плечом и головой о лед. Впала на секунду в забытье, немного полежала, но скоро взяла себя в руки. Она осознала, что здесь, на голом льду, оставаться надолго нельзя, что тут она замерзнет очень быстро. Тогда, собрав остаток сил, Аня поднялась на колени и, опираясь на трясущиеся, непослушные руки, кое-как доползла до спасительной шкуры. Встала на коленях на ее край, потом повалилась набок и наконец тяжело перевалилась на спину. Аня понимала: так она сохранит в своем теле хоть на чуточку, но все же больше тепла.

И еще она поняла, что этой своей попыткой встать на ноги она потеряла последние силы.

Тело ее не двигалось, только судорожно тряслось от мертвящего холода. Одежда, мокрая от изнурительной работы, лежала на ней мерзлой коркой и совсем не согревала. Ноги были обуты в бахилки, совсем новые, старательно смастеренные дедушкой Ильей из хорошей кожи. Но и они за прошедший в беготне день по сырому льду тоже насквозь промокли и промерзли и сейчас стягивали ноги как тяжеленные колоды.

Она поняла, что нигде рядом нет людей, что

она одна.

Никто за ней не пришел, даже бригадир, который ее сюда направил. Наверно, что-то случилось… Не могли же ее бросить односельчане, хорошие все люди. Что-то случилось…

Кругом только ночь, мертвящие сполохи холодного северного сияния и еще мороз, сковавший тело. И одиночество посреди жуткого мерцающего света…

Ее клонило ко сну. Аня подумала: «Я, наверно, сейчас умру». Живущая на Севере, она уже много раз слышала, что людей, умирающих от холода, тянет ко сну.

Она лежала лицом вверх с трясущимся от страшного холода телом и глядела на звезды. Раньше она любила их разглядывать. Она знала, где Малая и Большая Медведицы, где Полярная звезда.

Сейчас Полярная звезда висела прямо над ней и мерцала ярким, равнодушным, мертвящим светом.

Аня Матвеева в самом деле умирала, и маленькому беззащитному ее сердцу оставалось стучать совсем недолго.

Четвертый помощник капитана Михаил Плотников спустился в пассажирский трюм и с

растерянными глазами начал шарить между коек. Он не дождался на палубе человека, с которым уже привык проводить вечера — Аню Матвееву, потерял терпение, заволновался и начал ее искать. Он не мог поверить, что девушка, которая так ему понравилась и которой он вроде бы тоже стал небезразличен, вдруг просто так, без объяснения причин, не захотела с ним знаться. Ведь он не дал для такого отношения никакого повода. Он уже знал, где расположена койка Ани, но, к своему изумлению, самой ее там не обнаружил. В голову само собой пролезли всякие глупые мысли: где она и с кем? Но Плотников их решительно отвергнул. И стал орать:

— Эй, вы что тут, обалдели все! Где Анна Матвеева из колхоза «Промысловик?»

Люди стали просыпаться и недовольничать. А обелевщица Парасья Житникова, крепкая и грузноватая женщина, с которой Михаил уже успел познакомиться, села на койку в длинной толстой сорочке, потрясла головой, чтобы стряхнуть сон, и пробурчала:

— Капитан, ты че тут орешь? Людей будишь.

— Публика, вы чего, охренели? Где Анна Матвеева из вашей бригады? — с искаженным лицом продолжал голосить Плотников.

— Как это где? — Парасья начала просыпаться. — Она с тобой должна быть. Болтаете вы с ней допоздна каждый вечер, знамо дело.

— Вот я здесь перед вами. А где Анна?

Проснулись все.

В самом деле, где она, Анна? Где? Народ заволновался.

— Да где она может быть? С нами же была. Все ее видели, с нами была.

— Когда была?

И вот на этот вопрос толком не ответил никто. Все вдруг осознали: последний раз видели ее на льду.

Бригадира Зосимова пришлось долго расталкивать. Он сидел, тряс головой и, наконец, вспомнил:

— Дак я же посылал ее на край участка проверить, не осталось ли там чего неприбранного.

Он округлил глаза, перекошенное, израненное лицо его задергалось в нервном тике. В глазах вспыхнул ужас.

— Разве она не вернулась?

И склонил резко голову. Плечи его скукожились, руками он схватился за столешницу, пальцы затряслись… Потом он схватил штаны, начал совать ногу в штанину, никак не мог попасть…

Охваченная тяжелым, мертвящим сном Аня едва почувствовала, как в левый бок ее ткнулось что-то мягкое и тяжеленькое, прижалось к ней и стало потихоньку греть. Потом она с трудом, как в тяжелом беспробудном сне, расслышала постанывания и всхлипывания. Так плачет проголодавшийся грудной ребенок, тянущийся к маминой груди. Этот кто-то прижимался к ней всем тельцем и как будто искал ласки и еды. От тельца веяло слабым, но глубоким теплом.

— Наверно, это мне так блазнится, — подумалось ей среди тяжелой полудремы, — но это значит, что я еще жива?

Ане захотелось повернуться к нему и понять: кто это? Но тело ее не слушалось.

И вот, надо же! С другого ее, правого бока тоже прильнуло что-то такое же плотное и упругое и тоже стало потихоньку согревать. До этого она боялась уснуть, боялась, что никогда больше не проснется. Теперь же, пусть и совсем немножко, но все же обогретая неизвестными живыми созданиями, она уснула, уже не опасаясь умереть во сне.

Ночью к ней пришел ее отец, Федор Севирьянович Матвеев. Пришел из ночного мрака со стороны моря. Он был без шапки, в линялой гим-

настерке, и ветер пошевеливал седые его волосы. Шел к ней и шаркал о лед каблуками кирзовых сапог. И это гулкое шарканье разносилось далеко над ледяным полем. Он подошел к дочери совсем близко, и от него повеяло бесконечно близким с детства, бесконечно родным отцовским запахом. В нем было намешано так много памятно-домашнего, что у Ани перехватило дыхание. И аромат дома, и сенокоса, и запахи морских водорослей, и всей деревни, и ароматный дух отцовских густых волос, в которые маленькая Аня любила прятать лицо, и многое другое родное, связанное с ее детской беззаботной жизнью, когда все были дома, были здоровы и когда не было войны.

Он сел на колени совсем рядом с ней, сел прямо на лед. На груди его висела медаль, а рядом с медалью виднелась дырочка, отчетливо сквозная, через которую Аня видела далекую маленькую звездочку, мерцающую на небе за отцовской спиной.

— Почему ты седой, папа? У тебя ведь были такие красивые черные волосы.

— Бой был тяжелый очень. Я в нем поседел. Людей много погибло.

— Зачем ты стоишь на коленях на льду? Ты ведь простудишь ноги! И без шапки! Ты же можешь

заболеть.

— Доченька моя, тебе тяжело сейчас, но я с тобой. Я все время с тобой, хочу, чтобы ты это знала.

Аня хотела протянуть руку к его лицу, но рука была непомерно тяжела…

— Мне не холодно, мне хорошо с тобой, доченька. Я попрошу, чтобы ты не умерла сейчас. Ты должна жить, чтобы выжили мои сыночки, твои братики, чтобы мама наша поправилась. Ты за меня в семье осталась, все на тебе… Думаю, меня послушают, я ведь погиб за матушку нашу, за Россию…

Он поклонился своей дочери низко-низко, коснулся лбом льда и словно растворился в воздухе.

Сквозь мрак ледяного сна услышала Аня, как ее зовет к себе родная деревня. Послышался ей перезвон весенних сосулек, свесившихся с летнего ската крыши, теньканье прозрачных капелек, падающих с них.

Ей промычала Зорька, любимая семейная корова, которая стоит в хлеву и ждет не дождется прихода настоящего тепла. Поднадоело Зорьке коротать длинную северную зиму в тесном стойле. Аня узнала ее призывное мычание.

Горланисто и отчетливо звонко пропели для

Ани крикливые свои песни деревенские петухи. Разбудили, наверно, всю деревню. Их голоса тоже давно знакомы Ане.

Она услышала лай соседского пса Буянка, своего любимца. Буянко, когда видит Аню, открыто ей радуется, весело взлаивает, растягивает в улыбке свою клыкастую пасть и несет ей изгрызенную до невозможности, но всегда одну и ту же палку и требует, чтобы Аня с ним поиграла. Та игру поддерживает и старается вырвать палку из Буянковой пасти. Пес старается тоже. Он страшно и люто рычит, будто жутко злится на Аню, вертит рыжей своей башкой и делает вид, что хочет палку отнять. Так они играют. Сейчас Буянко очень ждет Аню. Ждет и зовет.

Ждет ее и скворец, который каждый год селится в скворечнике, выструганном отцом и установленном на вершине телеграфного столба прямо напротив их крыльца. Анин отец, взгромоздив скворечник на столб в конце зимы, никак не мог дождаться, когда же прилетит скворец. Нервничал: к тому прилетели, к этому тоже, а у нас никто не селится.

Однажды утром отец разбудил Аню, крадучись подошел вместе с ней к окошку и завороженно громко прошептал:

— Гляди-ко, Анютка, гляди!

Прямо на крыше скворечника, выгнув в сказочной позе кверху голову, широко раскрыв клюв, растопырив крылья, щебетал дивные песни наконец-то прилетевший скворец. Аня помнит, как они с отцом сидели у окошка, ошеломленные, восторженные, радостные…

Сейчас до Ани вновь донеслась весенняя, зовущая ее домой песня того самого их с отцом скворца.

Где-то на краю деревни стучит и стучит топор. Это рубит баню вернувшийся домой без ноги Ефим Федотов, сорокалетний деревенский конюх. И стукоток этот доносится досюда, до этой холодной льдины.

А на самом морском берегу, на ледяной корке, у воды стоят трое: ее мама Наталья Александровна, и братишки Сашка с Сережкой. Они внимательно и пристально всматриваются в морскую даль и кричат в сумрачный, далекий простор, в голомень что-то родное и нежное. Аня не может разобрать их слова, но она понимает: они зовут ее домой.

Капитан «Лены» был опытным моряком. Когда судно было на переходе, он никогда не уходил в свою каюту, а спал прямо в капитанской руб-

ке. Вот и сейчас второй его помощник был у штурвала и вел корабль по Белому морю. Курс — Архангельск. А капитан отдыхал на топчане, как здесь недавно ночевала Анна Матвеева.

И тут в капитанскую рубку ворвались двое совершенно ошеломленных чем-то людей. А конкретно: четвертый штурман Михаил Плотников и какой-то взвинченный, косноязыкий мужик, как потом оказалось, колхозный бригадир Петр Зосимов.

— Человека бросили! — заорали они благим матом. — Человек на льду остался!

Капитан давно не просыпался в таком кошмаре. На него таращились два взбешенных, потерявших нормы приличия субъекта. Они стояли перед ним, еще не проснувшимся, и выкрикивали какие-то неслыханные в своей несуразности и невозможности слова.

— Мы человека бросили! Скорее всего она уже погибла!

И что-то еще, совершенно не укладывающееся в голове. Впрочем, такие слова в основном выкрикивал его помощник Плотников. Хороший парень, но тут прямо паникер какой-то.

Капитан сидел на топчане в кальсонах и в белой рубахе и совершенно ничего не мог понять.

Наконец он проснулся и сказал насколько мог спокойно:

— Миша, ты помолчи, прошу тебя.

И приказал Зосимову:

— А ты говори.

Зосимов с заплетающимся языком, как мог членораздельно, сказал, что на месте промысла случайно осталась член их бригады Анна Матвеева.

Капитан ничего не понимал:

— Как это случайно? Это можно молоток случайно забыть или там плоскогубцы, а тут человек.

— Бросили мы ее, бросили, вот и все! Погибает она там одна, мороз там! Девчонка же! — вопил Плотников.

Капитан вспомнил ее.

— Это та Матвеева, которая чай у нас пила?

— Та самая, та самая, — орал помощник, — спасать ее надо, срочно спасать! Возвращаться надо.

— Информация проверена? — спросил капитан, натягивая на кальсоны форменные брюки. — Тут нет никакой ошибки, товарищи?

— Да какая тут ошибка, человек погибает! Одна на льду, мороз, вы это понимаете? — продолжал кричать четвертый помощник.

— Витя, стоп машина! — твердо сказал капитан

старшему помощнику, стоящему у штурвала. — И вызови мне по рации «Мелехова».

Радиосовещание между капитанами транспортного судна «Лена» и «Капитан Мелехов» состоялось на траверзе поморской деревни Летний Наволок. Было решено «Мелехова» отправить обратно на поиски Анны Матвеевой. С этой целью на борт ледокола был пересажен бригадир зверобоев Петр Зосимов. А транспорт «Лена» со своим ценным грузом продолжил путь в Архангельск.

Четвертый штурман «Лены» Михаил Плотников всеми силами тоже рвался пересесть на «Капитана Мелехова». Его с трудом удержали. И, наклонившись через борт транспорта, он кричал вслед уходящему ледоколу:

— Передайте Ане, что я ее жду! Жду я ее!

Но ветер, волны и шуршание льда о борта судна заглушали его крик.

А уплывающий обратно отставной сержант, а ныне бригадир Петр Зосимов знал, что нельзя ему возвращаться в деревню без живой Ани Матвеевой, что деревня не простит ему, если с ней случится что-нибудь плохое. Он ведь старший, а это значит, что отвечает за все.

Медленно вылезающее из-за моря, из-за даль-

них льдов солнце, приподнявшись над горизонтом, из огромной своей полости вылило желто-красную краску на белый ледяной простор, на торосы.

Краска эта залила все бескрайнее синее морское пространство и белое безмолвие, бесконечно раскинувшееся вдоль побережья. И на схваченной ночным и утренним крепким морозом ледяной поверхности образовались миллиарды похожих на снежинки хрусталиков. Разбросанные на льду, они выстреливали в воздух, в пространство яркие разноцветные брызги солнечных лучиков. И лед на многие километры был похож на сказочно-роскошный, тончайшей работы дивный ковер, усыпанный драгоценными каменьями.

Аня открыла глаза. Первая пришедшая мысль была: «Я все еще жива».

Все тело было деревянным и почти не двигалось. Очень болели ступни и пальцы ног, страшно ныли колени, стали ледяными ладони. Гортань будто залило свинцом.

Она понимала: ее спасало то, что она лежала на тюленьей шкуре, которая не пропускает холод, идущий ото льда. Кроме того, по бокам к ней прижались и отдавали ей свое тепло какие-то живые существа.

Кто же это?

Аня с большим трудом повернула голову налево и обомлела: к ней прижался и, закрыв глаза, посапывал маленький тюлененок. Он был совершенно белый. Значит, возраст его около двух недель, — подумала она. Это белек. Скоро детеныш гренландского тюленя начнет покрываться серыми пятнами и станет именоваться хохлушей.

А что же присоседилось с другой стороны? Ане тяжело дался поворот головы на правую сторону — шея, перехваченная морозом, совсем не слушалась. Справа, тесно к ней прижавшись, спал богатырским сном другой тюлененок. Только не совсем белый. Этот уже начал свою перекраску: на его лбу выше глаза серело маленькое серое пятнышко.

Она поняла, что в кромешной темени они приняли ее за свою маму, прильнули к ней и укрылись под ее надежной защитой.

Аня совсем не знала, да и не могла знать, что шкура, на которой она лежала, была шкурой матери этих тюленят — Утельги. И что бельки пришли сюда на запах своей матери.

Она хотела сказать им что-нибудь ласковое, ободряющее, но горло ее замерзло. И рот, и губы

тоже не двигались. Тогда она стала говорить с ними. Беззвучно, про себя.

— Я теперь буду вашей мамой, дорогие мои дети, — говорила она, глядя полузамерзшими глазами в небо. — Во-первых, спасибо вам за то, что вы спасли мне жизнь. Я теперь буду вам благодарна всегда. Во-вторых, как любящая мама, я обязана дать вам имена. Ты, беленький, получишь красивое имя и будешь называться Беляком. — Тут она маленько подумала. — А ты, с пятнышком, получишь не менее красивое имя. Ты теперь будешь Пятнышком. Согласны, дети мои? Ну, чего вы сразу загалдели, заперебивали друг дружку? Вижу, что согласны. Вот и хорошо, вот и молодцы.

Аня попробовала пошевелить ногами. Ничего у нее не получилось.

— А теперь, в-третьих, — продолжила она разговор со своими малыми детками, — вы должны твердо знать, что я, ваша мама, никогда не дам вас в обиду. Я же вас люблю, как же я могу допустить, чтобы моих деток кто-то обижал…

Солнце приподнялось над горизонтом и обдало природу слабеньким, еле различимым теплом. Но уже легкое дуновение мартовского северного солнца вызвало испарину схваченной ночным

морозом ледяной поверхности, и над белым пространством повис холодный искрящийся туман. Воздух от этого стал еще более промозглым.

— Знаете, дети мои, чего я хотела бы больше всего на свете? — беззвучно разговаривала с Беляком и Пятнышком Аня. — Я очень хочу, чтобы выздоровела моя мама. Чтобы она играла опять со мной, пела своим замечательным голосом песни, чтобы ходила со мной в лес. А она только слабеет и слабеет. Это меня очень беспокоит, дети мои.

Из глаз ее вытекли слезы, но она их не вытерла со щек, потому что не смогла поднять одеревеневшие руки. И слезы хрустальными стеклышками застыли на ее щеках.

Тюленёнок, который был слева, зашевелился, и Аня с трудом повернула голову на своего Беляка. Тот лежал, держа мордочку у нее под мышкой, и глядел на ее лицо немигающими черными глазами, похожими на черные маслины.

— Ну вот, сыночек мой Беляк, ты проснулся и слушаешь мамин рассказ. Наверно, Пятнышко тоже не спит. Тогда не перебивайте меня и сидите тихо. А я буду с вами разговаривать.

— Еще я очень хочу, чтобы поскорее подросли мои братья. Они совсем меня не слушают, даже маму нашу слушают не всегда. Нам с ними трудно

справляться. Уж скорее бы они стали серьезными. А вы, сыночки мои, что на это скажете?

Аня попробовала пошевелить пальцами рук. И не поняла, получилось у нее это или нет, потому что пальцев она не чувствовала. В ее ладонях, как и в ступнях ног, стояла неизбывно-тяжелая боль.

И еще были вопросы, которые совсем недавно стали ее сильно волновать. Совсем беззвучно, не шевеля ни губами, ни языком, она высказывала своим детям наболевшие эти вопросы:

— Серьезно ли относится ко мне Михаил Плотников? Не шалапут ли он какой-нибудь, не бабник ли? Я так боюсь в нем ошибиться… Нравлюсь ли я ему? Или это все шуточки для него. В фуражечку вырядился, видите ли…

А он, сыночки мои, мне нравится, даже очень. А может быть, и больше того. Волнуюсь я и почему-то тревожусь. Не было со мной такого никогда…

А дети ее, Беляк и Пятнышко, ворочались у нее с двух сторон, прижимались к ней, хлопали своими черными глазками и что-то там попискивали, словно щенята рядом со своей мамкой.

Совсем закоченевшая Аня Матвеева не сомневалась, что люди к ней вернутся, что ее найдут. Еще ей хотелось, чтобы за ней пришел, чтобы нашел ее четвертый помощник капитана Михаил

Плотников. В своей фуражечке.

Она с трудом сдерживала смыкающиеся веки, но ей нельзя было спать, это она хорошо понимала.

Мысли ее вдруг ушли к Тому, Кого все чаще и чаще вспоминала ее мама. Она обращалась к нему обычно по ночам, когда все спали, и шепотом называла его то Господи, то Боженька. Мать упрашивала его пожалеть ее доченьку и ее сыночков. Просила, чтобы вернулся с войны муж, хотя на него пришла уже похоронка. «Но Ты верни его мне, верни, Господи, ведь я люблю его очень. Не нагляделась я на него, не надышалась. Хоть и прожили с ним изрядно, а все как один день. Не хватило мне… Да и семье-то как без отца, без кормильца? Не выжить ведь нам без него».

Еще она просила продлить ей хоть ненадолго жизнь. «Знаю я, — шептала она в ночную тишину, — что умру я скоро, лихоманка у меня неминучая, съела меня совсем, но Ты, Боженька, продли хоть на годик-другой денечки мои. Надо мне ребятишек своих поднять. Малы ведь совсем да глупы. Не в приют же их отдавать. А Анечке моей надо учиться. Она умница у меня, в школе успевает на «отлично». Но ведь избилась она совсем в трудах немилосердных. Девчонка еще малая, подросток,

а работает больше всех. Не надорваться бы ей… Помоги нам, Господи, помоги и помилуй».

И мама тихо плакала в подушку.

И Аня тоже плакала. Ей было нестерпимо жалко свою маму.

Сейчас, первый раз в своей жизни, она тоже стала думать о Боге.

«Я тебя совсем не знаю, Боженька, и не могу разобраться точно, есть Ты или нет на белом свете? Я ведь комсомолка, а наш комсомол не верит в Тебя. Но в Тебя верит моя мама, а ей я доверяю больше всех на свете».

Потом она подумала и белыми беззвучными губами сказала Богу со всей решимостью:

— Теперь я тоже буду жить с верой в Тебя, как моя мама. Так мне легче будет жить, я это точно знаю.

Аня попробовала пошевелиться. Движения не получилось. Тело совсем ее не слушалось. Только с боков ее подталкивали, пошевеливали ее тельце и отдавали часть своего тепла два живых существа, ее сыночки Беляк и Пятнышко.

«Я прошу Тебя, Боженька, выручи меня, помоги мне. Мне совсем не хочется умирать. Рано ведь еще. Я в жизни ничего не видела… Пусть за мной придут».

Силы совсем оставили ее. Она обратила к Боженьке последнюю свою мысль:

«И помоги сыночкам моим Беляку и Пятнышку. Они ведь тоже остались без матери».

И потеряла сознание.

Было десять часов восемнадцать минут утра. Стояло 15 марта 1945 года. Ледокол «Капитан Мелехов» причалил к ледовой кромке как раз в том месте, откуда вчера отходило транспортное судно «Лена». Бригадир зверобойной команды Петр Зосимов сам выбросил за борт и закрепил деревянный слип. Он буквально сбежал с трапа и быстрым шагом вперемежку с трусцой посеменил туда, куда вчера ушла отправленная им Анна Матвеева. За ним поспевал один из матросов ледокола Шостак, выделенный ему в помощь боцманом.

Зосимов торопился и изнывал от своей малой скорости. Но быстрее двигаться он не мог — мешала одышка. Дышать полной грудью не давало пробитое осколком легкое. Он страшно клял себя: как же, как же потерял он Аню? Не доглядел, вернулась ли она, зашла ли на борт? Сам послал, а не проверил, пришел ли человек обратно? Конечно, оправдание имеется: спешка, погрузка, суета, простуда эта… А он главный. За всем и за всеми

разве уследишь? Заботушки в такие минуты много… Но ведь сам же отправил девчонку! Сам! И фактически оставил ее одну. Считай, что бросил.

И когда шли на ледоколе, и сейчас его терзала, разворачивала ему душу еще одна зловредная мысль: что бы сказал ему в эту вот минуту Федор Матвеев, мастеровой мужик, уважаемый в колхозе человек, который еще в предвоенные годы учил его рыбодобыче и зверобойке и который лежит где-то в карельской земле? Отец Анны. Ничего хорошего он не сказал бы, а может быть, и рожу ему набил. И правильно бы сделал.

…Аня лежала на тюленьей шкуре неподвижная, с мертвенно-белым лицом и, показалось Зосимову, бездыханная.

Он рванулся к ней, прильнул к лицу, ко рту: дышит или нет? Нет, дыхания не слышно. Не дышит! Сердце тоже молчало. Эх ты, беда! Он понимал, он знал, что у умирающего на морозе человека дыхание как бы замирает, его трудно обнаружить, даже если человек еще дышит. И тогда он стал перед ее лицом на колени и сбоку уставился на едва открытый рот. Должен быть парок, если человек дышит.

Ничего не видно.

Зосимов замер, распахнул широко глаза, вгля-

делся в белые губы, в темную извилинку между ними… Ему показалось, что в какое-то мгновение между Аниных губ промелькнула полупрозрачная, тоненькая, невесомая полоска морозного пара.

Может и показалось, но в ожесточенно стучащем от волнения сердце его родилась крохотная нотка надежды, родилась и подала свой слабенький, но радостный голосочек. Она зазвучала, эта нотка.

И Зосимов скинул рукавицы, стал теплыми ладонями растирать лицо Ани, ее руки, ноги, тело.

— Жива ты, Аня, жива! Теперь не умрешь! Мы тебя выправим! Оживай, девочка, оживай! Ишь, помирать удумала! Рано тебе помирать! Ты сперва внучат нарожай Федору…

Он не говорил, а кричал. Наверно, подспудно ему казалось, что его крик может разбудить Анну Матвееву, отринуть от навалившегося непомерно тяжелого сна.

Он чего-то еще выговаривал, кричал, растирая Анино тельце. Пока его умоляющий вопль не разбил болезненные препоны, загородившие ее от живого мира, пока она в самом деле не услышала его спасительный крик и не открыла с трудом веки.

Только после этого обессилевший Зосимов перевалился набок и зашелся в судорожном кашле. Изо рта выплескивались маленькие капельки крови.

— Ничего, — хрипел он, — это легкое хандрит, едри его корень, пройдет оно, ничего.

Только теперь разглядел он, что его каблук на сапоге пытается в клочья разорвать белый маленький тюленёнок. Справиться с каблуком у него не хватало силенок, но он урчал, посвистывал и крепко с ним воевал.

— Ну ты, брат, даешь, — сказал бригадир, отталкивая тюленёнка другой ногой, — чем же я тебе насолил?

Со вторым тюленёнком, что был на другой стороне от лежащей на льду Ани, воевал матрос Шостак. Белоснежный малыш нападал на него и старался цапнуть за ногу.

— Эх, жалко я багра не взял, — возмущался тот, сейчас бы тюкнул, да и все.

— Не трогай их, — прохрипел ему Зосимов, — видишь, они нашу девочку обороняют. Они, наверно, спали рядом с ней, за мамку приняли. А тут мы пришлепали. Вот они и гонят нас от своей мамки.

— Такие клопы, а туда же, нападать, — возму-

щался и весело шумел Шостак и кое-как все же отодвинул тюленят в сторонку. Те сидели теперь в трех метрах от людей, помаргивали черными круглыми глазками, хоркали и посвистывали. Наверно, они возмущались человеческим нашествием на их обжитую территорию.

Аня лежала, открыв глаза, и молчала. Теперь ее оттирал Шостак. Наконец, она тяжело-тяжело повернула голову к Петру Зосимову и едва различимо ему улыбнулась.

— Ну, все, — расплылся в радости бригадир. — Стала улыбаться — теперь не помрет. Давай, матрос, понесем ее на судно.

Они ушли и унесли на руках Аню. А ее сыночки Беляк и Пятнышко сидели рядышком и глядели им вслед. И эта мама от них ушла.

Аня пролежала в больнице долго — целый месяц. С трудом восстанавливались сильно обмороженное лицо, руки, ноги, тяжело залечивалось сильнейшее двухстороннее воспаление легких.

Но какую хворь не одолеет юный крепкий организм!

И вот она, с перевязанными руками и ногами, уже выходит из палаты, прохаживается по больничным коридорам, воркует с нянечками и медсестрами.

Ее тут все уже знают, все именуют ее с ласковым уважением — Анечкой. Всем известно и об Анечкиных страшных приключениях. Все хотят с ней поговорить, познакомиться. И она — добрая душа — общается с людьми с открытым сердцем.

В крепких ее снах возникают перед ней картины страшной той ночи. И в укутанные бинтами ее ноги ложатся два белых ангелочка с черными глазками, ее сыночки Беляк и Пятнышко. Они снова прижимаются к ней теплыми бочками, от этого и ногам ее, и телу становится тепло-тепло. Аня давно уже знает, что ангелочков этих послал ей Тот, к Кому она обращалась за помощью, к Кому обращался и ее отец. Она знает, что помощь Его спасла ее.

А кисти рук, получившие сильнейшие обморожения, спасли от ампутации теплые варежки, подаренные четвертым помощником капитана транспортного судна «Лена» Михаилом Плотниковым. Об этом ей сказали врачи. Уже три раза прибегал к ней в больницу и он сам.

У судна «Лена», как и у любого задействованного в каботажных перевозках, короткие рейсы: снабжение поморских деревень и воинских частей всем необходимым, доставка и выброска геологических партий, перевозка грузов и специ-

алистов на Новую Землю и другие точки Белого и Баренцева морей, да мало ли чего еще потребуют нужды народного хозяйства. А возвращение — всегда в родной город, в порт приписки Архангельск. Этого возвращения Михаил с некоторых пор ждет особенно…

Когда он встречает Аню Матвееву, у всех возникает ощущение, что не может Михаил надышаться самим ее присутствием, тем, что она рядом. И люди всегда радуются его приходу, потому что этот парень всегда приносит с собой откровенный праздник любви. Скажите, кто не рад такому празднику?

Аня тоже его всегда ждет, очень ждет.

День выписки из больницы счастливо совпал с приходом «Лены» в родной порт.

Плотников ворвался в больницу с букетом гвоздик, возбужденный и счастливый оттого, что не опоздал. Аня ждала его в вестибюле. Сидела и ждала неизвестно чего и была уверена: он придет. И он пришел!

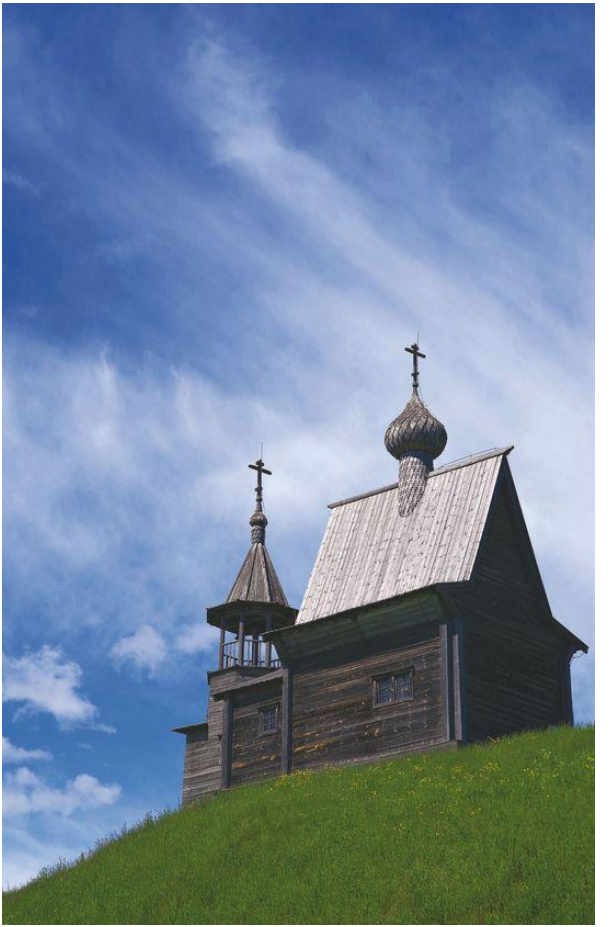
Потом они долго-долго, до самой ночи, просидели у маминой тети, Павлы Андреевны, живущей в Соломбале, говорили-говорили и не могли наговориться.

Мише нельзя было опаздывать на вахту, и он

умчался на свое судно. Аня на другое утро уехала в свою деревню.

Перед тем как расстаться, они обещали писать друг другу письма, и обещание свое сдержали. И подружились крепко-крепко. На всю жизнь.

Иллюстрации



Часовня Николая Чудотворца Кенозерский национальный парк. Дер. Вершинино.

Вторая пол. XVIII — первая пол. XIX в. Архангельская обл.



Комплекс деревянных церквей Лядинского погоста

С. Большие Лядины. Каргопольский р-н. Архангельская обл.



Колядовщики

Уфтюжское пос. Нюксенский р-н. Вологодская обл.



Дер. Пожарище. Вологодская обл.



Дом постройки 1880 г.
Дер. Кокшенская. Вологодская обл.



Дом жительницы деревни

Дер. Земцово. Никольский р-н. Вологодская обл.



Фрагмент расписного свода, называемого «небеса»

Часовня во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Кон. XVIII в.

Кенозерский национальный парк. Дер. Хвалинская. Архангельская обл.



Расписные «небеса» (деревянный свод)

Почезерский храмовый комплекс. XVIII в.

Кенозерский национальный парк. Дер. Филипповская. Архангельская обл.



«Небеса» из часовен Кенозерья, выставленные в «Рухлядном амбаре»

Кенозерский национальный парк. Архангельская обл.



Мыс Бесов Нос
Онежское озеро. Карелия



Дер. Погост. Архангельская обл.



Хоровод на Троицу у храма Троицы Живоначальной

Село Шелота. Вологодская обл.



На «качулях». Съезжий праздник на Троицкое заговенье

Дер. Пожарище. Вологодская обл.



Кижская регата
Остров Кижи. Онежское озеро. Карелия